



ИСТОРИЯ  
В РОМАНАХ

В. Авенариус

# ПОД НЕМЕЦКИМ ЯРМОМ



# Василий Петрович Авенариус

## Под немецким ярмом

Имя популярнейшего беллетриста Василия Петровича Авенариуса известно почти исключительно в детской литературе. Он не был писателем по профессии и работал над своими произведениями очень медленно. Практически все его сочинения, в частности исторические романы и повести, были приспособлены к чтению подростками; в них больше приключений и описаний быта, чем психологии действующих лиц. Авенариус так редко издавался в послереволюционной России, что его имя знают только историки и литературоведы. Между тем это умный и плодовитый автор, который имел полное представление о том, о чем пишет.

В данный том входят две исторические повести, составляющие дилогию "Под немецким ярмом": "Бироновщина" - о полутора годах царствования Анны Иоанновны, и "Два регентства", охватывающая полностью правление герцога Бирона и принцессы Анны Леопольдовны.

# Содержание

Бироновщина . . . . .	0007
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	0007
ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . .	0135
ЧАСТЬ III . . . . .	0266
Два регентства . . . . .	0401
Глава первая РЕГЕНТ БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕТ . . . . .	0401
Глава вторая ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ . . . . .	0414
Глава третья РЕГЕНТ БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ . . . . .	0426
Глава четвертая ПРЕЛЮДИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВАНТЮРЕ . . . . .	0435
Глава пятая РЕГЕНТА "УСЫПЛЯЮТ" . . . . .	0445
Глава шестая КАК ДОВЕРШИЛАСЬ АВАНТЮРА . . . . .	0454
Глава седьмая СВОЯ РУКА — ВЛАДЫКА . . . . .	0463
Глава восьмая СОКОЛ С МИРТОВОЙ И ГОЛУБЬ С МАСЛИЧНОЙ ВЕТКОЙ . . . . .	0479
Глава девятая ЧАШКА ЧАЮ У ЦЕСАРЕВНЫ . . . . .	0490
Глава десятая ГРОШ ЗА ЧЕЛОВЕКА . . . . .	0508
Глава одиннадцатая У СТАРИКА-ВОЗНИЧЕГО БРАЗДЫ УСКОЛЬЗАЮТ ИЗ РУК . . . . .	0515
Глава двенадцатая ОСТЕРМАНОВЩИНА . . . . .	0526
Глава тринадцатая СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ . . . . .	0543

Глава четырнадцатая ГЛАВА ИЗ РЫЦАРСКОГО РОМАНА . . . . .	0551
Глава пятнадцатая В ОБРУЧИ И В ГОРЕЛКИ . . . . .	0567
Глава шестнадцатая ДОИГРАЛАСЬ! . . . . .	0575
Глава семнадцатая ЕЩЕ ОДИН РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА, НО НЕ БЕЗ УПРЕКА . . . . .	0582
Глава восемнадцатая КАБЫ ВОЛЯ! . . . . .	0590
Глава девятнадцатая ДИПЛОМАТИЯ . . . . .	0602
Глава двадцатая ПРИЗРАК ЛИНАРОВЩИНЫ . . . . .	0614
Глава двадцать первая ЧЕТА ЛОМОНОСОВЫХ . . . . .	0626
Глава двадцать вторая ОТ РЫБАЧЬЕЙ ХИЖИНЫ ДО ХРАМА НАУК . . . . .	0633
Глава двадцать третья В ЧЕМ СЧАСТЬЕ . . . . .	0649
Глава двадцать четвертая ГЕРОЙ РЫЦАРСКОГО РОМАНА СХОДИТ СО СЦЕНЫ . . . . .	0660
Глава двадцать пятая СЛОНЫ ПЕРСИДСКОГО ШАХА . . . . .	0667
Глава двадцать шестая ЧЕТЫРЕ МАНИФЕСТА . . . . .	0677
Глава двадцать седьмая ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ . . . . .	0685
Глава двадцать восьмая ПЕРЕВОРОТ 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА . . . . .	0698
Глава двадцать девятая ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА . . . . .	0712

Глава тридцатая БОЛЬ ВРАЧА ИЩЕТ . . . . .	0719
Глава тридцать первая "НУ, ПОДУМАЙТЕ!" . . . . .	0727
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .	0741

# **Василий Авенариус Под немецким ярмом**

# Бироновщина

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I. Гофfreyлина и деревенская простота

Обменяв корону герцогини курляндской на всероссийский царский венец, императрица Анна Иоанновна первые два года своего царствования провела в Москве. 16 января 1732 года совершился торжественный въезд ее в Петербург, где она и оставалась уже затем до самой кончины. Но питая еще, должно быть, не совсем приезженные чувства к памяти своего Великого дяди, взявшего в свои мощные руки управление Россией еще при жизни ее отца, а его старшего, но хилого брата, она не пожелала жить в построенном Петром, на углу Зимней канавки и Миллионной, дворце (в настоящее время Императорский Эрмитаж) и предоставила его придворным музыкантам и служителям; для себя же предпочла подаренный юному императору Петру II адмиралом графом Апраксиным дом по соседству на берегу Невы (почти на том самом

месте, где стоит нынешний Зимний дворец) и, значительно его расширив, назвала "Новым Зимним дворцом".

Не любила Анна Иоанновна и Петергофа, этой летней резиденции Петра I, где, кроме большого каменного дворца с обширным парком и фонтанами, имелись к ее услугам еще два деревенских домика в голландском вкусе: Марли и Монплезир. Унаследовав от своего деда, царя Алексея Михайловича, страсть к охотничьей потехе, она ездила в Петергоф только осенью, чтобы охотиться, для чего в тамошнем зверинце содержались всегда «ауроксы» (зубры), медведи, кабаны, олени, дикие козы и зайцы.

Для летнего пребывания Императорского Двора в Петербурге хотя и имелся уже (существующий и поныне) петровский Летний дворец в Летнем саду, на берегу Фонтанки, но по своим не большим размерам и простой обстановке он не отвечал уже требованиям нового Двора; а потому там же, в Летнем саду, но лицом на Неву, был возведен "новый Летний дворец", настолько обширный, что в нем могли быть отведены особые помещения еще и



для любимой племянницы государыни, принцессы мекленбургской Анны Леопольдовны, а также и для всесильного герцога Бирона.

Одним июньским утром 1739 года весь новый Летний дворец был уже на ногах, а задернутые оконные занавеси в опочивальнях принцессы Анны и ее гофfreyлины, баронессы Юлианы Менгден, все еще не раздвигались: ведь и той, и другой было всего двадцать лет, а в такие годы утром дремлет так сладко!

Но вот каменные часы в приемной баронессы пробили половину девятого. Нежившая еще в постели, Юлиана нехотя протянула руку к колокольчику на ночном столике и позвонила камеристке Марте, помогавшей ей одеваться, а затем убиравшей ей и голову. Четверть часа спустя молодая фрейлина сидела перед туалетным зеркалом в пудермантеле с распущенными волосами, а Марта расчесывала их опытной рукой.

Родом Марта была эстонка из крепостных. Вынянчив маленькую баронессу в родовом имении Менгденов в Лифляндии, она, вместе с нею, переселилась и в Петербург, когда, по

смерти Юлианы, родной его брат, президент петербургской коммерц-коллегии, барон Карл-Людвиг Менгден, выписал к себе племянницу для оживления своего дома. Когда же затем Юлиана, расцветшая гордой красавицей, была пожалована в гоффрилины принцессы, — вместе с нею во дворец попала и ее верная Марта. По привилегии прежней няни, Марта и теперь еще позволяла себе в разговоре с своей госпожой касаться сокровенных ее тайн.

— Экая ведь краса! говорила она на родном своем языке, любовно проводя черепаховым, в золотой оправе, гребнем по пышным темнорусым волосам баронессы, — Вот бы увидеть хоть раз меньшому Шувалову, — совсем бы, поди, голову потерял.

— Не называй мне его, не называй! — прервала ее на том же языке Юлиана, и нежный румянец ее щек заалел ярче.

— Да почему не называть? — не унималась старая болтунья. — Слава Богу, кавалер из себя пригожий и ловкий, камер-юнкер цесаревны Елисаветы, пойдет, наверно, еще далеко...

— Пока он на стороне цесаревны, — ему

нет ходу.

— Так почему бы тебе, мой свет, не перемазать его на свою сторону?

— Да он и не нашей лютеранской веры, а православный...

— Попросить бы государыню, так, может, ему и разрешат перейти в лютеранство.

— Так вот он сам и перейдет!

— Да этакому шалому мужчине все ни по чем. При твоей красоте да при твоём уменьи обходиться с этими ветрогонами...

— Замолчи, замолчи!

— Я-то, пожалуй, замолчу, да сердца своего тебе не замолчать... Никак стучатся?

Легкий стук в дверь повторился. Камеристка пошла к двери и, приотворив ее, стала с кем-то шептаться.

— Ну, что там, Марта? — спросила нетерпеливо ее молодая госпожа. — Что им нужно?

Марта притворила опять дверь и доложила, что говорила с пажем; прибыла, вишь, из деревни сестрица покойной младшей фрейлины, баронессы Дези Врангель.

— Может подождать! — произнесла Юлиана, насупив брови.

— Но вызвана-то барышня ведь, кажись, по желанию самой принцессы?

— Гм... А где она? Внизу у швейцара?

— Нет, тут же в гостиной. Не лучше ли тебе ее все-таки принять?

— Хорошо; пускай войдет.

В комнату вошла робкими шагами девочка-подросток того переходного возраста, когда неуклюжая отроковица в какой-нибудь год времени превращается в грациозную молодую девушку. Простенькое траурное платье, сшитое, очевидно, деревенской мастерицей, было не в меру коротко, а соломенная шляпка с черными же лентами была старого фасона и сильно поношена. В довершение всего девочка сделала такой уморительный книксен, не зная, куда деть свои длинные руки, что не по годам степенная и холодная гофрейлина не могла удержаться от легкой улыбки.

— Доброго утра, дитя мое, — сказала она ей по-немецки и указала глазами на ближний стул: — садись. Я, как видишь, не совсем еще одета; но мы будем видеться с тобой теперь запросто всякий день, а потому стесняться

мне перед тобой было бы глупо.

— Еще бы не глупо, — согласилась девочка, присаживаясь на кончик стула; но, заметив, что улыбка исчезла вдруг с лица фрейлины, она поспешила извиниться: — Простите! Верно я не так выразилась?

— Да, моя милая, при Дворе каждое свое слова надо сперва обдумать.

— Но уверяю вас, мне и в голову не приходило, что вы глупы...

— Вот опять! Если кто и выражается о себе резко, то не для того, чтобы другие повторяли.

— Сглупила, значить, я? Ну, не сердитесь! Ведь я же не нарочно...

В своем наивном раскаянии девочка так умильно сложила на коленях свои большие красные руки, — что строгие черты Юлианы опять смягчились.

— Твое имя ведь, кажется, Елизавета?

— Да; но дома меня звали всегда Лилли.

— Так и я буду пока называть тебя этим именем. Ты лицом мне напоминаешь покойную Дези; но она была, конечно, красивее тебя. Ты ничуть не заботишься о своей кож; только начало лета, а ты вон какая — совсем

цыганка! Верно, в деревне ходила без зонтика?

Лилли рассмеелась.

— Potztausend! Да покажись я к коровам с зонтиком, он мне в лицо бы фыркнули!

— Такие выражение, как "potztfusend!" и «фыркать» ты навсегда должна оставить. Здесь ты, благодаря Бога, не в коровнике. Да ты сама, чего доброго, и коров доила?

Лилли вспыхнула и не без гордости вскинула свою хорошенькую головку.

— Доить я умею, умею бить и масло, потому что как же не знать того дела, которое тебе поручено? Я вела в деревне у моих родственников все молочное хозяйство. Стыдиться этого, кажется, нечего.

— Стыдиться нечего, но и хвалиться нечем: баронессе такая работа, во всяком случае, не пристала.

— Да какая я баронесса! Чтобы поддержать свое баронство надо быть богатым. Есть и богатые Врангели; но мы из бедной линии; отец мой управлял только чужим именем.

— Чьим это?

— А Шуваловых в Тамбовской губернии.

Когда отец умер, нас с Дези взяли к себе родные в Лифляндию.

— Тоже Врангели?

— Да, но из богатых. Смотрели у них за молочным хозяйством мы сперва вместе с Дези... Ах, бедная, бедная Дези!

При воспоминании о покойной сестре глаза Лилли увлажнились.

— Да, жаль ее, жаль, — сочла нужным выказать свое сочувствие Юлиана. — Говорила я ей, чтобы не ходила она к больному ребенку тафель-деккера, что не наше это вовсе дело. Нет, не послушалась, заразилась сама оспой, и уже на утро четвертого или пятого дня ее нашли мертвой в постели.

— Значить, ночью при ней никого даже не было! — воскликнула девочка, и углы рта у нее задергало.

— Лечил ее придворный доктор, он же давал все предписание, и нам с тобой критиковать его задним числом не приходится.

— Да я говорю не о докторе, а о других...

Фрейлина насупилась и сама тоже покраснела.

— О каких других? Если ты говоришь обо

мне...

— Ах, нет! Простите еще раз! Но я так любила Дези, и здесь, в Петербурга, у меня нет теперь больше никого, никого!

— А я, по твоему, никто? По воле принцессы, тебе отведена комната тут рядом с моею, чтобы я могла подготовить тебя для Высочайшего Двора. В душе грустить тебе не возбраняется, но догадываться о твоей грусти никто не должен; понимаешь?

— Понимаю...

— Ты, может быть, не слышала также, что государыня в последнее время много хворает? Сказать между нами, она страшно боится смерти. Поэтому она не может видеть ни печальных лиц, ни траурных платьев. У тебя, надеюсь, есть и нарядные светлые?

— Есть одно белое кисейное, которое мне сделали на конфирмацию.

— Стало быть, недавно?

— На Вербной неделе.

— И длиннее, надеюсь, этого?

— О, да. Кроме того, в нем оставлена еще и складка, чтоб можно было выпустить.

— Прекрасно; посмотрим. А перчатки у те-



бя есть?

— Только дорожные вязанные; но пальцы в них прорваны...

Губы Юлианы скосились досадливой усмешкой.

— Я, пожалуй, одолжу тебе пару свежих лайковых.

— Да на что в комнатах перчатки?

— А что же, ты с такими гусиными лапами и пойдешь представляться принцессе?

Лилли смущенно взглянула на свои "гусиные лапы" и спрятала их за спину, а незабудковые глазки ее расширились от испуга.

— Ах, Бог ты мой! И как я стану говорить с принцессой?

— Сама ты только, смотри, не зоговаривай; отвечай коротко на вопросы: "да, ваше высочество", "нет, ваше высочество".

— Я завяжу себе язык узлом... Или этак тоже не говорится?

Гофfreyлина возвела очи горе: будет ей еще возня с этой "Einfalt vom Lande" (деревенской простотой)!

— Реверансы у тебя тоже совсем еще не выходят. Вот посмотри, как их делают.

И, встав со стула, Юлиана сделала такой образцовый реверанс, что у Лилли сердце в груди упало.

— Нет, этому я никогда не научусь!

— При желании всему в жизни можно научиться. Ну?

## II. Неожиданная встреча

За несколько минут до десяти часов баронесса Юлиана повела Лилли к принцессе. Девочка была теперь в своем белом "конфирмационном" платье, с цветной ленточкой в косичке и в белых лайковых перчатках. При приближении их к покоям Анны Леопольдовны, стоявший у входа в приемную ливрейный скороход в шляпе с плюмажем размахнул перед ними дверь на-отлет. В приемной их встретил молоденький камерпаж и на вопрос гоффрайлины: не входил ли уже кто к ее высочеству? — отвечал, что раньше десяти часов ее высочество никого ведь из посторонних не принимает.

— Это-то я знаю; но бывают и исключения, — свысока заметила ему Юлиана; после чего отнеслась к Лилли: — я войду сперва одна, чтобы доложить о тебе принцессе.

Лилли осталась в приемной, вдвоем с камерпажем. Тот, не желая, видно, стеснять девочку, а может быть и сам ее стесняясь, удалился в глубину комнаты; достав из карманчика камзола крошечный напилочек, он занялся художественной отделкой своих ногтей. Лилли же в своем душевном смятении отошла к окну, выходявшему на Неву. Хотя глаза ее и видели протекавшую внизу величественную реку с кораблями, барками, лодками и плотами, но мысли ее летели вслед за гофрейлиной, докладывавшей только что об ней принцессе.

"Что-то она говорить ей про меня? Как я сама понравлюсь принцессе? Сделают ли меня также фрейлиной, или нет? Да и сумела ли бы я быть придворной фрейлиной? Вот испытание!"...

Она закусила нижнюю губу, чтобы не дать воли своему малодушию; но сердце у нее все же продолжало то замирать, то сильнее биться.

Тут за выходною дверью раздались спорящие голоса. Спрятав свой напилочек, паж с деловой миной направился к выходу и выгля-

нул за дверь.

— Что тут за шум?

— Да вот, ваше благородие, — послышался ответ скорохода, — человек Петра Иваныча Шувалова хочет непременно видеть баронессу.

— А это что у тебя?

— Конфеты-с, — отозвался другой голос.

— Так я, пожалуй, передам.

— Господин мой, простите, велел передать в собственные руки: не будет ли, может, какого ответа. Где прикажете обождать?

— Пожалуй, хоть здесь в приемной, — снизошел камерпаж: — баронесса сейчас должна выйти.

Лилли оглянулась на вошедшего. То был молодой ливрейный слуга с коробкой с конфетами в руках. Она хотела уже отвернуться опять к окошку, но молодчик издали поклонился ей, и в этом его движении ей припомнилось что-то такое давно знакомое, да и глаза его были устремлены на нее с таким изумлением, что сама она взгляделась в него внимательнее и вскрикнула:

— Гриша!

Молодчик с новым поклоном приблизился уже прямо к ней.

— Вы ли это, Лилли?... Лизавета Романовна... — поправился он. — Какими судьбами?...

Все лицо его сияло такою сердечною радостью, что и сама она ему светло улыбнулась.

— Хоть один-то человек из своих! — сказала она и покосилась на камерпажа.

Но тот деликатно отретировался снова в свой дальний угол, где занялся прежним важным делом, не показывая вида, что слушает. На всякий случай она все-таки заговорила тише:

— А я тебя, Гриша, с первого взгляда даже не узнала... Или тебя зовут теперь уже не Гришей, а Григорием?

— Григорием, а чаще того Самсоновым.

— Отчего не Самсоном? Ты такой ведь великан стал, и усы какие отростил!

— Усища! — усмехнулся, краснее, Самсонов и ущипнул пальцами темный пушок, пробивавшийся у него над верхней губой. — Не нынче-завтра сбрить придется! — прибавил он со вздохом.

— Что так?

— А так, что при господах моих, Шуваловых, я вторым камердинером состою, камердинерам же, как и самим господам, усов не полагается. Но вы-то, Лизавета Романовна, за три года как выровнялись! Совсем тоже придворной фрейлиной стали: в лайковых перчатках...

— А ты думаешь, оне мои собственные? Фрейлина Менгден, спасибо, одолжила. С трудом ведь застегнула: руки у меня куда толще, чем у ней.

Для наглядности девочка растопырила все десять пальцев; но от этого одна пуговица отскочила.

— Вот беда-то! А у меня тут ни иголки, ни нитки...

— Так вы бы вовсе их сняли, коли вам в них неспособно.

— Ну да! Мне и то порядком уже досталось от фрейлины за то, что лапы у меня красные, как у гусыни, что зогорела я, как цыганка.

— Здесь, в Питере, вы живо побледнеете, похудеете. За-то будете водить знакомство с высокими особами, ходить в шелках-бархатах, кушать всякий день мармелад да пасти-

лу, да шалей (желе)... А все же таки в деревне, я так рассуждаю, вам жилось вольготней?..

— Уж не говори! А помнишь, Гриша, как мы скакали с тобой верхом без седла через канавы да плетни? То-то весело было!

— Здесь зато вы можете ездить и зимой, хоть каждый день, мелкой рысцой или курцгалопом в манеже.

— В манеже? Нет, все это не то, не то! Ach du liber Gott!

— Что это вы, Лизавета Романовна, ахаете по-немецки? Словно немка.

— А кто же я, по твоему?

— Какая уж вы немка, Господь с вами! Родились в Тамбовской губернии, говорите по-русски, как дай Бог всякому, будете жить здесь при русском Дворе. Покойный ваш батюшка (царство Небесное!) тоже был ведь куда больше русский, чем немец.

— Это-то правда. Он не раз, бывало, говорил нам с сестрой, что мы — верноподданные русской царицы, а потому должны считать себя русскими. При крещении ему дали имя Рейнгольд, но называл он себя также по-русски Роман.

— Изволите видеть! Так и вы, Лизавета Романовна, смотрите, не забывайте уж никогда завета родительского. Вы будете здесь ведь в немецком лагере.

— Разве при здешнем Дворе разные лагеря?

— А то как же: немецкий и русский. Мои господа, Шуваловы, — в русском, потому что оба — камер-юнкерами цесаревны Елисаветы Петровны.

— Но ведь сама-то государыня — настоящая русская, и принцесса Анна Леопольдовна теперь тоже, кажется, уже православная?

— Православная и точно так же, как сама государыня, в деле душевного спасения и преданиях церковных крепка.

— Так что же ты говоришь?

— Да ведь государыню выдали замуж за покойного герцога курляндского, когда ей было всего на-все семнадцать лет. Тогда-ж она и овдовела, но оставалась править Курляндией еще целых двадцать лет, доколе ее не призвали к нам на царство. Тут-то вместе с нею нахлынули к нам эти немцы...

— Откуда, Гриша, ты все это знаешь?



— То ли я еще знаю! Ведь у господ моих промеж себя да с приятелями только и разговору, что про придворное житье-бытье. А я слушаю да на ус себе мотаю.

— На свое усище? — усмехнулась Лилли. — Но немцы, как хочешь, — народ честный, аккуратный...

— Это точно-с; от немцев у нас на Руси все же больше порядку. Да беда-то в том (Самсонов опасливо огляделся), беда в том-с, не в пронос молвить, что власть над ними забрал непомерную этот временщик герцог...

— Бирон?

— Он самый. А уж нам, русским людям, от него просто житья не стало; в лютости с русскими никаких границ себе не знает. Только пикни, — мигом спровадит туда, куда ворон костей не заносил.

— Кое-что и я об этом слышала. Да мало ли что болтают? Если государыня дала ему такую власть, то верно он человек очень умный, достойный, и есть от него большая польза. Что же ты молчишь?

— Да как вам сказать? — отвечал с запинкой Самсонов, понижая голос до чуть слыш-

ного шопота. — Об уме его что-то не слышать; дока он по одной лишь своей конюшенной части; а пользы от него только его землякам, остзейцам, а паче того ему самому: два года назад, вишь, пожалован в герцоги курляндские! А супругу его, герцогиню, с того часу такая ли уж гордыня обуяла...

— Она ведь тоже из старой курляндской семьи фон-дер-Тротта-фон-Трейден.

— И состоит при государыне первой статс-дамой, досказал Самсонов, — шагу от нее не отходить. Так-то вот под курляндскую дудку все у нас пляшут!

— И русская партия?

— Не то, чтобы охотно, а пляшет. Противоборствует герцогу открыто, можно сказать, один всего человек — первый кабинет-министр, Волынский, Артемий Петрович. Вот, где ума палата! На три аршина в землю видит. Дай Бог ему здоровья!

— Но я все же не понимаю, Гриша, что же может поделывать этот Волынский, коли Бирону дана государыней такая власть?

— Много, вестимо, не поделает; под мышку близко, да не укусишь. А все же государыня

его весьма даже ценит. Прежде, бывало, она всякое утро в 9 часов принимает доклады всех кабинет-министров; а вот теперь, как здоровье ее пошатнулось, докладывает ей, почитай, один Волынский. И Бирон его, слышь, побаивается. Кто кого сможет, тот того и сло-жет.

— Это что-ж такое? — насторожилась Лилли когда тут из-за окон донесся звук ружейного выстрела. — Как-будто стреляют?

— Да, это верно сама императрица, — объяснил Самсонов. — У ее величества две страсти: лошади да стрельба. С тех пор же, что доктора запретили ей садиться на лошадь, у нее осталась одна лишь стрельба. Зато ведь и бьет она птиц без промаха на лету, — не только из ружья, но и стрелой с лука.

— Но ты, Гриша, так и не досказал мне еще, из-за чего хлопочет ваша русская партия?

— А из-за того, что доктора не дают государыне долгого веку. Буде Господу угодно будет призвать ее к себе, кому восприять после нее царский венец: принцессе ли Анне Леопольдовне, или нашей цесаревне Елисавете Пет-

ровне?

— Вот что! Но у которой-нибудь из них, верно, больше прав?

— То-то вот, что разобраться в правах их больно мудрено. Цесаревна — дочь царя Петра, а принцесса — внучка его старшего брата, царя иоанна Алексеевича {Для большей наглядности мы прилагаем здесь родословную Дома Романовых от царя Алексѣя Михайловича до середины XVIII века.}. Но как сама-то нынешняя государыня — дочь того же царя иоанна, и принцесса ей, стало быть, по плоти родной племянницей доводится, то, понятное дело, сердце ее клонит больше к племяннице, как бы к богоданной дочке, хотя та по родителю своему и не русская царевна, а принцесса мекленбургская. Эх, Лизавета Романовна! кабы вам попасть в фрейлины к нашей цесаревне...

— Нет, Гриша, покойная сестра моя была фрейлиной при принцессе...

— Да ведь вы сами-то душой больше русская, а в лагере врагов наших, не дай Бог, совсем еще онемечитесь!

— Принцесса вызвала меня к себе в память

моей сестры, и я буду служить ей так же верно, — решительно заявила Лилли. — Довольно обо мне! Поговорим теперь о тебе, Гриша. Отчего ты, скажи, у своих господ не выкупишься на волю?

Наивный вопрос вызвал у крепостного камердинера горькую усмешку.

— Да на какие деньги, помилуйте, мне выкупиться? Будь я обучен грамоте, цыфири, то этим хоть мог бы еще выслужиться...

— Так обучись!

— Легко сказать, Лизавета Романовна. Кто меня в науку возьмет?

— Поговори с своими господами. Поговоришь, да?

— Уж не знаю, право...

— Нет, пожалуйста, не отвертывайся! Скажи: «да».

— Извольте: «да».

— Ну, вот. Смотри же, не забудь своего обещание!

В разгаре своей оживленной беседы друзья детства так и не заметили, как гофfreyлина принцессы возвратилась в приемную. Только когда она подошла к ним вплотную и загово-

рила, оба разом обернулись.

— Что это за человек, Лилли? — строго спросила Юлиана по-немецки.

Как облитая варом, девочка вся покраснелась и залепетала:

— Да это... это молочный брат мой...

— Молочный брат? — переспросила Юлиана обмеривая юношу в ливрее недоверчивым взглядом. — Он много ведь тебя старше.

— Всего на три года.

— Так его мать не могла же быть твоей кормилицей?

— Кормила она собственно не меня, а Дези. Но так как Дези мне родная сестра, то он и мне тоже вроде молочного брата.

— Какой вздор! С той минуты, что ты попала сюда во дворец, этот человек для тебя уже не существует; слышишь?

— Но он играл с нами в деревне почти как брат, научил меня ездить верхом... даже без седла...

— Этого недоставало!

Фрейлина круто обернулась к Самсонову и спросила по-русски, но с сильным немецким акцентом:

— Ты от кого прислан?

— От господина моего, Шувалова, Петра Иваныча, к вашей милости. Вы изволили на-медни кушать с ним миндаль — Vielliebchen; так вот-с его проигрыш.

Нежно-розовые щеки молодой баронессы зарделись более ярким румянцем.

— Хорошо, — сухо проговорила она, принимая конфеты.

— А ответа не будет?

— Нет! Идем, Лилли; принцесса уже ждет тебя.

### III. Мечтание принцессы

Сын фельдмаршала графа Миниха, ка-Смер-юнкер Анны иоанновны, а по ее смерти — сперва гофмейстер, а затем и обер-гоф-мейстер при Дворе Анны Леопольдовны, да-ет в своих «Записках» такую, быть может, несколько пристрастную, но очень картин-ную характеристику молодой принцессы:

"Она сопрягала с многим остроумием бло-городное и добродетельное сердце. Поступки ее были откровенны и чистосердечны, и ни-что не было для нее несноснее, как столь-необходимое при Дворе притворство и при-

нуждение... Принужденная жизнь, которую она вела от 12-ти лет своего возраста даже до кончины императрицы Анны иоанновны (поелику тогда, кроме торжественных дней, никто посторонний к ней входить не смел и за всеми ее поступками строго присматривали) влиела в нее такой вкус к уединению, что она всегда с неудовольствием наряжалась, когда во время ее регентства надлежало ей принимать и являться к публике. Приетнейшие часы для нее были те, когда она в уединении и в избраннейшей малочисленной беседе проводила... До чтение книг была она великая охотница, много читала на немецком и французском языках, и отменный вкус имела к драматическому стихотворству. Она мне часто говорила, что нет для нее ничего приетнее, как те места, где описывается несчастная и пленная принцесса, говорящая с благородною гордостью".

О чем, однако, преданный Анне Леопольдовне царедворец деликатно умолчал, это — удостоверяемая другими современниками, необычайная для ее возраста склонность к покою, к *dolce far niente*, доходившая даже до



небрежение о своей внешности.

Когда Лилли, следом за фрейлиной, вошла к принцессе, та, едва только встав со сна, нежилась опять на "турецком канапе", с неубранными еще волосами, в "шляфоре" на распашку. Но в руках у нее был уже роман, который на столько приковал ее внимание, что стоявшая на столике рядом чашка шоколада осталась недопитой. При виде входящей Лилли, милостивые и добродушные, но апатичные, как бы безжизненные черты Анны Леопольдовны слегка оживились.

— Подойди-ка сюда, дитя мое, дай разглядеть себя.

Сказано это было по-немецки. С раннего детства находясь в России, принцесса говорила совсем чисто по-русски; но, окруженная немками, отдавала все-таки предпочтение немецкой речи.

— Она напоминает свою сестру Дези, — заметила тут Юлиана.

— Да, да, и станет еще красивее.

— Позвольте, ваше высочество, не согласиться. Девочка Бог-знает что заберет себе еще в голову.

— Да ведь она же не слепая, зеркало ей и без меня то же самое скажет? А для меня еще важнее зеркало души — глаза человека: по глазам я тотчас угадываю и душевные качества. У тебя, дитя мое, сейчас видно, душа чистая, как кристалл, без тени фальши. Наклонись ко мне, я тебя поцелую.

— На колени, на колени! — шепнула обреченной Лилли Юлиана, и та послушно опустилась на колени.

Взяв ее голову в обе руки, Анна Леопольдовна напечатлела на каждый ее глаз, а затем и в губы поцелую.

— Ну, теперь расскажи-ка мне, что ты делала у своих родных в деревне?

Своей лаской принцесса сразу покорила доверчивое сердце девочки. Лилли принялась рассказывать. Принцесса слушала ее с мечтательной улыбкой и временами только сладко позевывала.

— Да это настоящая пастушеская идиллие! промолвила она с элегическим вздохом. — А я томлюсь здесь, в четырех стенах, и во век, кажется, не дождусь того благородного рыцаря, что избавил бы меня из неволи!

— У вашего высочества есть уже свой рыцарь, и не простой, а принц крови, — заметила более рассудительная фрейлина.

— Не говори мне об нем! и слышать не хочу! — с некоторою даже запальчивостью возразила принцесса.

— Принц намечен вам в супруги самой государыней еще шесть лет назад, не унималась Юлиана. — Вам можно было бы, уж я думаю, привыкнуть к этой мысли.

— Никогда я к ней не привыкну, никогда! Был у меня раз свой рыцарь без страха и упрека...

— Не оставить ли нам этот разговор? — прервала фрейлина, косясь на стоявшую тут же девочку.

— Чтоб она вот не слышала? Да ведь сестра ее все знала, и сама она тоже, так ли, сяк ли, скоро узнает; не все ли уж равно? Но за что, скажи, удалили тогда Линара, за что?!

— Да как же было его не удалить? Я, признаться, вообще не понимаю вашей бывшей гувернантки, г-жи Адеркас, что она поощряла ваши нежные чувства...

— У нее, милая, было сердце; она понима-

ла, что в груди у меня тоже не камень. А ей за это было приказано в двадцать четыре часа убраться вон из Петербурга!

— Да, ее вежливо попросили вернуться домой к себе в Пруссию. Не заступись за нее тогда прусский посланник Мардефельд, с нею, верно, поступили бы еще круче. Мардефельд же ведь и рекомендовал ее, потому что она ему близкая родственница, и чрез нее, нет сомнения, преследовал свои политические цели.

— Да я-то, скажи, тут причем? Какое мне дело до этой глупой политики, когда у меня говорит сердце!

— Ваше высочество я особенно и не осуждаю: вам было тогда едва 17 лет и вы начитались пламенных рыцарских романов. Но зачем тревожить прошлое? За три года граф Линар успел не только жениться у себя в Дрездене, но и похоронить жену; о своем здешнем романе он, поверьте мне, давным-давно и думать перестал.

— Зачем ему забыть, если я не забыла? А теперь он опять свободен...

— Вы, принцесса, все упускаете из виду,

что вы — наследница российского престола, и супругом вашим может быть только принц крови.

— Но зачем мне выходить именно за этого косноязычного Антона-Ульриха?

— Это выбор самой государыни; его нарочно ведь выписали для вас из Брауншвейга, обучили русскому языку...

На этом разговор был прерван появлением камерпажа, который доложил, что его светлости герцогу Бирону угодно видеть ее высочество.

— Да мне-то не угодно его видеть! — объявила принцесса.

— Должно быть, у него до вас какое-нибудь экстренное дело, — вступилась фрейлина.

— Герцог прошел сюда прямо от государыни императрицы, — пояснил паж.

— Значит, придется уж его принять, настаивала Юлиана. — Только ваше высочество еще в утреннем неглиже...

— Стану я для него наряжаться!

— Да и не причесаны...

Принцесса взялась рукой за прическу. Убедясь, должно быть, что в таком виде прини-

мать всесильного временщика, действительно, не совсем пристойно, она повязала себе волосы лежавшим тут отоманке белым платком и запахла на груди шлафрок.

— Ну, что же, проси!

#### **IV. Прощай, мечты!**

**Г**ерцогу курляндскому Эрнсту-иоганну Бирону в то время шел 49-й год. В молодости он, надо было думать, был "писанный красавец" — в немецком, разумеется, вкусе. С годами же под его энергичным подбородком образовался жировой кадык, и гладко-выбритое лицо его, почти четвероугольное, заметно обрюзгло. Тем не менее, в своем пышном парике с буклями до плеч, в шелковом, ярко оранжевом, расшитом золотом кафтане, с голубою андреевскою лентой через плечо и с блестящею звездой на груди, этот рослый и осанистый, пышущий здоровьем мужчина производил впечатление очень внушительное, хотя и отнюдь не благоприетное: холодно-жестоким взглядом его серых глаз и плотоядный, широкий рот невольно от него отталкивали.

— Имею счастье пожелать вашему высочест-

ству доброго утра, — начал он по-немецки деревянно-официальным тоном, преклоняясь с надменностью восточного сатрапа. — Баронессе Юлиане мое почтение.

При этом взор его скользнул и в сторону Лилли и на минутку на ней остановился, точно изучая ее внешность.

— Это — младшая сестра покойной моей фрейлины Дези Врангель, — пояснила Анна Леопольдовна, нехотя поднимавшаяся с отоманки на встречу непрошеному гостю.

— Я так и полагал, — отозвался временщик и с милостивой улыбкой шагнул к девочке. — Настоящий персик и прямо с ветки.

Мясистая рука его протянулась к ее свежему, зогорелому личику. Но оценить высокую ласку Лилли не сумела и звонко хлопнула его по руке.

— Aber, Lilli! — ужаснулась Юлиана.

— Sapperlot! — сорвалось и с губ герцога; в глазах его сверкнула такая зверская злоба, что у Лилли колени задрожали.

Но бывалый царедворец, видно, уже спохватился, что подобные «буршикозные» междометие не совсем уместны в присутствии

принцессы, и счел долгом извиниться перед нею:

— Не взыщите, ваше высочество...

— Разве с вас можно взыскивать, когда вы полжизни проводите на конюшне? — был сухой ответ.

"Это в отместку за меня!" пробежало в голове у Лилли.

Бирона, всей душой преданного своему конюшённому ведомству, передернуло; можно было ожидать, что при своей неудержимой вспыльчивости он даст волю своему гневу. Благоразумие, однако, одержало верх, и он приступил сряду к предмету аудиенции прежним деревянным тоном, точно раскусывая каждое слово:

— Государыня императрица поручила мне передать вашему высочеству свою непреложную Высочайшую волю.

— Волю государыни я всегда чту и готова исполнить, если то в моей власти, — отвечала Анна Леопольдовна. — В чем дело?

Герцог взглянул на Юлиану и Лилли.

— Дело столь деликатное, — заявил он, — что всякое постороннее ухо здесь излишне.



— Лилли Врангель может сейчас вытти; от Юлианы же у меня нет тайн.

— Есть тайны государственные, принцесса, которые раньше времени не сообщаются и самым приближенным лицам.

— А это такая государственная тайна?

— М-да. Долго я не держу вашего внимания.

Принцесса пожала плечами и предложила обоим барышням вытти из комнаты. Те молча повиновались и притворили за собою дверь.

Любопытство, свойственное вообще прекрасному полу, не было чуждо, видно, и гоф-фрейлине. Она опустилась на ближайший к двери диванчик и указала Лилли место рядом с собой; причем не утерпела, впрочем, сделать ей шопотом серьезное внушение за давишнюю безтактность с герцогом.

— Уж не знаю, кто был более безтактен: он или я! — оправдывалась девочка. — Как он смеет лезть своей противной лапой мне в лицо!

— Вреда тебе оттого ведь никакого бы не было. Ты не должна забывать, что для герцога

у нас законов не писано. Сколько из петербургских дам были бы польщены таким его вниманием!

— А сами вы тоже были бы польщены?

Очередь возмутиться была теперь за красавицей-гоффрилиной.

— Ты забываешься! Притом он видел в тебе еще полуребенка...

— Но я все-таки из старинной дворянской семьи; а он, говорят, из простых придворных служителей, и фамилие его даже не Бирон, а Bühren...

— Сам он производить свой род от знаменитого французского герцога Бирона, — по праву или самозванно — судить не нам. Мы должны считаться с тем, что он теперь на самом деле. Теперь он всеми признанный герцог курляндский, и в руках его — не одна Курляндие, но и вся Россие с ее миллионами подданных. Но тише! дай послушать.

Обе приникли ухом. Сквозь толстую дубовую дверь, притворявшуюся плотно, донесся все же довольно явственно раздраженный голос герцога:

— Еще раз повторяю, что такова воля госу-

дарыни! А я даю вам еще на выбор того или другого.

— Да не хочу я ни того, ни другого! — крикнула в отчаянии принцесса.

— Воля государыни! — повторил Бирон. — И решение свое вы должны объявить мне сейчас же. Итак?

В ответ послышалось как будто рыдание.

— Изверг!.. — пробормотала Юлиана и сорвалась с дивана.

Она схватилась уже за ручку двери, но вдруг отлетела назад и заняла свое прежнее место на диване.

— Что такое? — спросила Лилли.

— Он сейчас выйдет.

В самом деле, дверь с шумом распахнулась, и временщик не вышел, а выбежал от принцессы. Вид у него был положительно страшный: это был бешеный зверь, но не лев, гордый царь пустыни, а матерый бык, приведенный в ярость красным платком. Когда он пробежал мимо, Юлиана и Лилли возвратились к принцессе.

Анна Леопольдовна лежала распростертой на своей отоманке, уткнувшись лицом в вы-

шиту подушку. Плечи ее нервно вздрагивали.

Юлиана первым делом пошла в соседний покой за валериановыми каплями: Лилли узнала их тотчас по резкому запаху, который распространился по комнате. Когда же капли оказали на плачущую свое успокоительное действие, фрейлина не замедлила справиться, что ее так расстроило.

— Все кончено... — был безнадежный ответ.

— Т.-е. как так кончено?

— А так, что я выхожу замуж.

— За принца Антона-Ульриха?

— Ну да... Ах ты, Боже мой, Боже мой!

— Но как же это, скажите, герцогу удалось все же убедить вас?

— Он принес мне категорическое повеление тетушки. Доктора дают ей ведь не более двух лет жизни; так она хочет, чтобы еще до ее смерти у меня был сын — будущий император...

— Чтобы таким образом при ней еще русский трон был твердо упрочен? Желание государыни, ваше высочество, вполне понятно,

и откладывать дело, действительно, уже не приходится. Но чего я все-таки не понимаю: отчего герцог после своей успешной миссии вышел от вас таким рассерженным?

— Да представь себе, Юлиана, наглость: "Не хотите вы, — говорить, — принца брауншвейгского, так возьмите принца курляндского". Я сначала даже не поняла.

" — Какого такого? говорю.

" — А старшего сына моего, Петра.

" — Да ему, говорю, — всего ведь пятнадцать лет!

" — Но он уже ротмистр кирасирского полка.

" — Ротмистр, который потешается тем, что обливает дамам платья чернилами, а с мужчин срывает парики! Нет, говорю, если уж выбирать из двух зол, то лучше взять меньшее: вместо мальчика-ротмистра, взрослого генерала".

— И увенчанного уже на войне лаврами, — досказала Юлиана: — за свою храбрость принц Антон-Ульрих заслужил ведь два высших ордена: Александра Невского и Андрея Первозванного.

— "За свою храбрость"? Такой робкий человек не может быть храбрым. Он не похож даже на мужчину!

— Да, с дамами он несколько застенчив, — потому, может быть, что заикается. Но собой он очень и очень недурен...

— Перестань, пожалуйста, Юлиана! С чего ты взяла мне его расхваливать?

— Да раз он делается вашим супругом, так надо же вам показать его и с светлых сторон.

— То-то, что он для меня черезчур уже светел: совершенный блондин, даже ресницы белые!

— Но блондины и раньше были вашей слабостью; ведь и некий дрезденский рыцарь далеко не брюнет...

— Ты, Юлиана, точно еще насмехаешься надо мной.

— Служить вам может некоторым утешением, что участь вашу разделяют почти все коронованные особы; хоть бы вот молодая королева прусская, Елисавета-Христина.

— Но у той супруг — не чета Антону-Ульриху Фридриха II уважает вся Европа.

— Тем хуже: он не выносит вида своей су-

пруги, с которой его насильно повенчали, встречается с нею только в торжественных случаях, а она, бедная, говорить, его все-таки, безумно любить, изнывает по нем! Вот это, точно, не дай уж Бог. А когда же, скажите ваша свадьба?

— Не знаю и знать не желаю! Вот наша доля — доля принцесс крови... Ах, и ты еще здесь, Лилли? Благодари Бога, моя милая, что ты не принцесса, что можешь вытти раз замуж за человека, которого всем сердцем любишь!

## V. На смарку

Хотя принцесса Анна Леопольдовна с принцем брауншвейгским (точнее говоря, брауншвейг-беверн-люнебургским) Антоном-Ульрихом официально еще и не обручились, но с другого же дня ни для кого при Дворе не было уже тайной, что негласная помолвка состоялась, и что таким образом вопрос об этом браке, много лет уже назад задуманном императрицею, решен безповоротно. Все интересы придворных вращались теперь около предстоящего брачного торжества и ожидаемых с ним всевозможных празднеств.

На ту же тему беседовали меж собой и два молодых камер-юнкера цесаревны Елисаветы Петровны, братья Шуваловы, сидя у себя дома под вечер за ломберным столом.

Карточная игра, преимущественно азартная — в банк-"фараон", в «бириби», в «ламуш» и в «квинтич» (от французского название "quine") в ту пору при нашем Дворе процветала. Как только выдавался свободный вечер, ломберные столы расставлялись попеременно то в собственных покоях императрицы, то у герцога курляндского, то у его доброго приятеля, второго кабинет-министра, графа Остермана. В "русском лагере" карты составляли также самое обыденное развлечение. Главный столп русской партии, первый кабинет-министр Волынский, за массою государственных дел, реже других увлекался игрой. Сама же цесаревна играла очень охотно, и ее придворная молодежь питала ту же слабость. Если почему-либо в елисаветинском дворце не устраивалось игры, то зеленый стол открывался верно у кого-нибудь из ее сторонников.

В описываемый вечер обычные партнеры



Шуваловых еще не прибыли, но, в ожидании их, братья забавлялись игрой вдвоем, — пока, впрочем, игрой не азартной, а «коммерческой» — в пикет.

— Ты, Петя, нынче что-то очень уж рассеен, — говорил старший брат, Александр Иванович, записывая свой выигрыш мелом и тасуя затем колоду: — разносишь четырнадцать дам! В голове у тебя верно опять пятнадцатая дама?

— Ты думаешь: Юлиана Менгден? — отозвался Петр Иванович. — Нет, если я и ударяю за нею, то больше для фигуры, чтобы быть всегда *au courant* на счет всего, что творится в их лагере. Вертится в голове у меня все этот марьяж принцессы! Какое положение займет наша цесаревна? Доселе ей, родной дочери Великого Петра, были равные онёры с принцессой. Отныне же принцесса выдвигается на первый план, становится полноправною наследницей престола.

— Буде у нее не родится сын, наперед уже предназначенный быть императором,

— Да не все ли это одно?

— До совершеннолетия опекать его будет

она же, мамаша. Но при ее вялом темпераменте Бирон живо приберет правление к рукам и станет полновластным падишахом.

— А твой добрый приятель Липпман — его первым визирем! — с усмешкой досказал старший брат.

При имени придворного банкира Липпмана, бывшего в то же время шпионом, наушником и ближайшим советчиком Бирона, — Петр Иванович сердито поморщился.

— Не называй мне этого христопродавца! сказал он. — Дерет такие безбожные проценты...

— Охота ж тебе с ним связываться: интригант и каналья прекомплектная. Но ты, Петя, смотришь слишком мрачно. Ты забываешь, что у нас есть Волынский...

— Да, доколе жива государыня, нам, русским, кое-как живется. Книг она, кроме божественных, правда, не читает, окружила себя бабьем да скоморохами; но Артемию Петровича она все же принимает с докладами. Природного здравого смысла у нее много, да и любит она свой народ. Но раз ее не станет, — прощай матушка России! Настанет царствие

немецкое. Первым падет, увидишь, Волынский; а там и нам с тобой придется укладывать сундуки...

— В места не столь отдаленные.

— А может, и в весьма отдаленные. Что-то будет, брат, что-то будет?!

Со стороны входных дверей донесся сочувственный вздох. Оба брата с недоумением оглянулись: в дверях стоял второй их камердинер, знакомый уже читателям Гриша Самсонов.

— Ты чего тут уши развесил? — строго заметил ему старший барин. — Господские речи, знаешь ведь, не для холопских ушей.

— Не погневитесь, сударь, отозвался Самсонов. — Но и у нашего брата, холопа, душа русская и по родине своей тоже скорбит.

— А помочь горю все равно тоже не можешь.

— Один-то, знамо, в поле не воин; но найдись побольше таких, как я...

— Что такое?! — еще строже приосанился Александр Иванович. — Да ты никак бунтовать собираешься?

— Поколе здравствует наша благоверная

государыня Анна иоанновна, бунтовать никому и на мысль не вспадет. Когда же ее в живых уже не станет, да придет то царствие немецкое, так как же русским людям не подняться на немцев?

— Вон слышишь, Петя, слышишь? — обернулся Александр Иванович к младшему брату. — А все ты с своим вольномыслием: пускаешься в беседы с холопьями как с равными...

— А мне, знаешь ли, такая простота их даже нравится, — отозвался "вольномыслящий" брат. — Воочию видишь, как пробуждается человек, как начинает шевелить мозгами. Ну, что же, Самсонов, говори, надоумь нас, сделай милость, как нам в те поры быть, что предпринять.

Добродушная ирония, слышавшаяся в голосе младшего барина, вогнала кровь в лицо «холопа».

— Вы, сударь, вот смеетесь надо мной, — сказал он, — а мне, ей-ей, не до смеху.

— Да и мне тоже, — произнес Петр Иванович более серьезно. — Говори, не бойся; может, что нам и вправду пригодится.

Самсонов перевел дух и заговорил:

— Цесаревна наша ведь — подлинная дочь своего великого родителя: душа у нее такая ж русская, ум тоже острый и светлый. И народ об этом хорошо знает, крепко ее любит, а про гвардию нашу и говорить нечего: все как есть до последнего рядового души в ней не чают, готовы за нее в огонь и в воду...

— Ну?

— Так вот, коли будет уж такая воля Божья и пробьет государыне смертный час, — кому и быть на ее место царицей, как не цесаревне? Вся гвардии, а за ней и весь народ, как один человек, возгласить: "Да здравствует наша матушка-государыня Елисавета Петровна!"

— Ну, подумайте! Очумел ты, паря, аль с ума спятил? Не дай Бог, кто чужой тебя еще услышит... — раздался тут из передней ворчливый старческий голос, и оттуда выставилась убеленная сединами голова первого камердинера Шуваловых, Ермолаича. (Ни имени, ни прозвища старика никто уже, кажется, не помнил; для всех он был просто Ермолаич).

— Это ты, старина? — обернулся к нему

старший барин. — Убери-ка его отсюда; не то еще на всех нас беду накличет.

— Шальный, одно слово! У него и не туда еще дума заносится.

— А куда-же?

— Да хочет, вишь, грамоте обучиться. Ну, подумайте!

— Да, ваша милость, не откажите! — подхватил тут Самсонов. — Век за вас Богу молиться буду.

— Мало еще своего дела! — продолжал брюзжать старик. — Батожем-бы поучить — вот те и наука.

— Слышишь, Григорий, что умные-то люди говорят? — заметил Александр Иванович. — Знай сверчок свой шесток.

— Прости, Саша, — вступился младший братъ. — Есть еще и другая пословица: ученье — свет, а неученье — тьма. Отчего мы с тобой из деревни до сих пор толкового отчета никак не добьемся? Оттого, что прикащик у нас и в грамоте, и в арифметике еле лыко вяжет. Я, правду сказать, ничего против того не имею, чтобы Григорий поучился читать, писать, да и счету.

— А я решительно против того. Ну, а теперь вы, болтуны, убирайтесь-ка вон; мешаете только серьезным делом заниматься.

— Иди, иди! чего стал? — понукал Ермолаич Самсонова, дергая его за рукав. — Тоже грамотей нашелся! Ну, подумайте!

Нехотя поплелся тот за стариком. Господа же принялись опять за свое "серьезное дело".

— Уморительный старикашка с своей поговоркой, — говорил Александр Иванович, собирая карты. — Экая шваль ведь пошла, экая шваль: ни живого человеческого лица! Ну, подумайте!

Действительно, счастье ему изменило; брать его то-и-дело объявлял квинты, четырнадцать тузов и насчитывал за шестьдесят и за девяносто. Александр Иванович потерял терпение.

— Нет, в пикет тебе теперь безсовестно везет! — сказал он. — Заложи-ка лучше: банчик.

— Могу; но сперва дай-ка сосчитаемся.

При расчете оказалось, что запись младшего брата превышала запись старшего на двенадцать рублей.

— Вот эти двенадцать рублей и будут моим

фондом, объявил он.

— Только-то? Тогда я ставлю сразу ва-банк.

Но счастье не повернулось: карта понтирующего была бита и фонд банкомета удвоился.

— Ва-банк!

Фонд учетверился.

— Ва-банк!

— Да что-ж это, брат, за игра? — заметил Петр Иванович. — Ты будешь этак удваивать куш, пока не сорвешь наконец банка?

— Это — мое дело.

— Ну, нет! Предел ставкам должен быть. Еще два раза, так и быть, промечу.

— Еще десять раз, голубчик!

— Ладно, пять раз — и баста.

Но все пять раз удача была опять на стороне банкомета. Проигравшийся с досады плюнул и помянул даже чорта.

— Полторы тысячи с лишком! Да у меня и денег таких нет.

— Так вот что, Саша, — предложил Петр Иванович. — Я смараю тебе всю сумму; уступи мне только все права на Самсонова. — Как так?

— А так, что до сих пор он принадлежал



нам обоим; а впредь он будет исключительно мой.

— Что за фантазии!

— Ну, чтож, идет?

— Идет!

Петр Иванович стер со стола всю свою записку, а затем крикнул:

— Самсонов!

Самсонов показался на пороге.

— Подойди-ка сюда. До сегодняшнего дня у тебя было двое господ: вот Александр Иванович да я. Теперь мы заключили с ним любовную сделку: он уступил мне все свои права на тебя.

Сумрачные еще черты молодого камердинера просветлели.

— Так-ли я уразумел, сударь? У меня будет один всего господин — ваша милость; а у Александра Иваныча один Ермолаич?

— О Ермолаиче у нас речи не было; он остается при том, при чем был. Но ты, понятное дело, не должен отказываться помогать иногда старику.

— Да я со всем моим удовольствием.

— А так как над тобой нет отныне уже дру-

гой власти, опричь моей, то я разрешаю тебе обучиться и грамоте, и письму, и счету.

Самсонов повалился в ноги своему единственному теперь господину.

— Ну, это ты уже напрасно, этого я не выношу! — сказал Петр Иванович. — Не червяк ты, чтобы пресмыкаться. Сейчас встань!

— За это слово, сударь, благослови вас Бог! — произнес глубоко-взволнованный Самсонов и приподнялся с полу. — Мы хоть и рабы, а созданы тоже по образу Божию...

— Ну, вот, и пожинай теперь свои плоды! — заметил брату по-французски Александр Иванович. — Он считает себя настоящим человеком!

— А что-же он по твоему — животное? — отозвался на том-же языке младший брат; после чего обратился снова к Самсонову. — Но учителя для тебя у меня еще нет на примете. Разве послать за приходским дьячком?..

— Да чего-же проще, — насмешливо вмешался снова Александр Иванович: — отправь его в *des sciences* Академию: там учеными мужами хоть пруд пруди.

— А чтож, и отправлю, — идее вовсе не

дурная, — только не к немцам-академикам, а к русскому-же человеку, секретарю Академии, ТрEDIAKовскому. Он обучал русской грамоте ведь и принца Антона-Ульриха.

На этом разговор был прерван резким звонком в передней: то были ожидаемые Шуваловыми партнеры, и весь интерес приятельской компании до самого рассвета сосредоточился уже на «капитальном» вопросе: ляжет-ли такая-то карта направо или налево.

## **VI. Секретарь де-сиенс Академии на службе и на Олимпе**

Своего будущего учителя, Василья Кирилловича ТрEDIAKовского, Самсонов не имел еще случая видеть, а по наслышке не мог составить себе об нем сколько-нибудь ясного представление. Некоторое время уже спустя, горемычный пиита-философ, привязавшись, повидимому, довольно искренно к своему способному ученику, в минуты откровения поведал ему урывками свое прошлое. Из этих урывков для Самсонова постепенно выяснилось, что ТрEDIAKовский был сыном приходского священника и родился в Астрахани в 1703 году. Первые азы он одолел в местной

приходской школе, но затем был перемещен в латинскую школу при католическом костеле монахов-капуцинов "для прохождения словесных наук" на латинском языке. Влияние на него отцов-капуцинов и в религиозном отношении сказалось при окончании двадцатилетним бурсаком курса: когда родитель вздумал тут женить его на одной священнической дочери, чтобы открыть ему таким образом путь к священническому сану, сын сбежал из-под венца в Москву. Благодаря основательной подготовке в латыни, он был принят в славяно-греко-латинскую академию при московском Заиконоспасском монастыре прямо в класс реторики. Но его мечтою было — "взящее усовершенствование" в заграничных академиях. И вот, с грошами в кармане, он пешком добирается до Петербурга, находит там "вожделенную оказию" и на голландском корабле плывет в Амстердам. Русский посланник при голландском Дворе граф Головкин, дает ему у себя временный приют "с изрядным трапезом", пока юноша не научается говорить по-французски; а затем отпускает его с миром "по образу пешего хожде-

ние" в Париж, где тамошний посол наш князь Куракин точно также принимает его "на даровой кошт" в свой дом. В парижском университете молодой человек заканчивает свое образование по наукам философским и математическим, а в Сорбоне — по богословским. В то же время он участвует и в публичных диспутах, пишет не только русские, но и французские стихи, переводит на русский язык, частью прозой, частью стихами, сочинение "езда на остров любви". По возвращении в Петербург он мается три года без места, "испытывая всякие огорчительные неожиданности и реприманты", пока, наконец, в 1733 году не пристраивается на казенную должность секретаря "де-сиенс Академии", с жалованьем в 360 р. асс. и с обязательством: "1, стараться о чистом слоге российского языка, как простым слогом, так и стихами; 2, давать лекции в гимназии при Академии; 3, трудиться совокупно с другими над лексиконом, и 4, окончить грамматику, которую он начал, также и переводить с французского и латинского на российский язык все, что ему дано будет". Теперь-же он, "как истинный сын, отечества,

полагал всю славу и удовольствие в доблестном выполнении сих начальственных предначертаний".

Все это, как сказано, Самсонов узнал уже впоследствии. Когда он подходил к главному, украшенному колоннами, portalу академического здания, он не знал даже, молодой-ли еще человек ТрEDIAKовский, или же он такого же преклонного возраста, как этот сторбленный старичок в очках, что поднимался только-что по ступеням высокого крыльца. Пропустив старичка вперед, Самсонов вошел вслед за ним в прихожую.

— Здравие желаю вашему превосходительству! — почтительно-фамильярно приветствовал старичка украшенный несколькими медалями швейцар, снимая с него старенький плащ с капюшоном, тогда как подначальный сторож принимал шляпу и палку.

— Господин секретарь здесь? — спросил старичок по-русски, но с сильным немецким акцентом.

Ответ был утвердительный.

— А господин советник?

— Тоже-с; сейчас только прибыли.

Старичок направился к двери с надписью, которую Самсонов за неграмотностью не мог прочесть, но которая гласила: "Канцелярие".

— Верно, академик? — отнесся Самсонов к швейцару.

Тот не удостоил его ответа, оглядел его ливрею критическим оком и спросил в свою очередь:

— Да ты к кому?

— К господину ТрEDIAKовскому, Василью Кириллычу.

— От кого?

— От моего господина.

— Да господин-то твой кто будет?

— А тебе для чего знать?

Швейцарские очи гневно вспыхнули: какой-то юнец-лакеишко и смеет дерзить ему, многократному «кавалеру»!

— Коли спрашиваю, стало, нужно. Ну?

— Господин мой — камер-юнкер цесаревны, Петр Иваныч Шувалов.

— Ты с письмом от него, значить?

— С письмом.

— Да ты, чего доброго, к нам на службу метишь? Ступай себе с Богом, ступай! Секретарь

у нас — последняя спица в колеснице и ни каких мест не раздает.

— Я и не ищу вовсе места.

— Так о чем же письмо-то?

Назойливость допросчика надоела допрашиваемому.

— В письме все расписано, да письмо, вишь, запечатано. Как распечатает его господин секретарь, так спроси: коли твоя милость здесь всех дел вершитель, так он тебе все в точности доложить. А теперь сам доложи-ка обо мне.

Такою неслыханною продерзостью оскорбленный до глубины души, «кавалер» весь побагровел и коротко фыркнул:

— Подождешь!

Приходилось вооружиться терпением. Около стены стоял для посетителей ясневого дерева ларь. Самсонов пошел к ларю и присел. Но начальник прихожей тотчас поднял его опять на ноги:

— Ишь, расселся! Вон в углу место: там и постоишь.

Делать нечего, пришлось отойти в угол. В это время из канцелярии стали доноситься



спорящие голоса, вернее, один голос, трубный, звучал недовольно и повелительно, а другой звенел виноватой скрипящей фистулой. Первый принадлежал, должно быть, "советнику", начальнику канцелярии, второй же — секретарю.

— Здорово его отчитывает! — заметил сторожу швейцар, выразительно поводя бровью.

— Допекает! — усмехнулся тот в ответ. — Верно, опять что проворонил.

— Не без того. С нашим братом из себя какой ведь куражный, а перед начальством и оправить себя не умеет.

Дверь канцелярии растворилась. Первым показался опять старичек-академик. Провожавший его до порога "советник", сухопарый и строгого вида мужчина, покровительственно успокоил его на прощанье: "Wird Ailes geschehen, Geehrtester" ("Все будет сделано, почтеннейший"), и повернул назад.

В тот же миг проскользнуло в прихожую третье лицо, судя по потертому форменному кафтану с медными пуговицами — секретарь, чтобы выхватить из рук швейцара плащ академика и собственноручно возложить его по-

следнему на плечи.

— Не поставьте в вину, ваше превосходительство, что некая яко бы конфузии учинилась, — лебезил он: — вышереченное дело по регламенту собственно мне не принадлежит; но от сего часа я приложу усиленное старание...

— Schon gut, schon gut, Herr Confusionsrat! — прервал его извинительную речь академик и, подняв на него глаза, спросил с тонкой улыбкой: — Вы, верно, живете теперь опять не в Петербурге у нас, а на Олимпе?

— Именно-с, на Олимпе у батюшки моего — Аполлона и сестриц моих — муз, хе-хе-хе! Компаную песнопение на предстоящее священное бракосочетание ее высочества принцессы Анны.

— Ja, ja, lieber Freund, das sieht man wohl. (Да, да, любезный друг, оно и видно).

При этом руки старика протянулись за подаваемыми ему сторожем шляпой и палкой. Но сын Аполлона с такою стремительностью завладел опять тою и другою, что сам чуть не споткнулся на палку, а шляпу уронил на пол.

— Richtig! (Верно!) — сказал академик, наклоняясь за шляпой. — Есть поговорка: "Eile mit Weile". Как сие будет по-русски? "Тише едешь..."

— "Дальше будешь", — досказал швейцар. — Правильно-с, ваше превосходительство. Поспешишь — людей насмешишь. Счастливо оставаться.

— Проклятая немчура!.. — проворчал Третьяковский вслед уходящему, отирая не первой свежести платком выступивший у него на лбу пот; затем счел нужным сделать внушение швейцару: — ты-то, любезный, чего суешься, где тебя не спрашивают?

— А ваше благородие кто просил исполнять швейцарскую службу? — огрызнулся тот.

— Цербер, как есть трехглавый Цербер! А тебе тут что нужно? — еще грубее напустился Третьяковский на замеченного им только теперь молодого ливрейного лакея, который был, очевидно, свидетелем его двойного афронта.

— Я с письмом к вашему благородию, — отвечал, выступая вперед, Самсонов и подал

ему письмо.

Сорвав конверт, Василий Кириллович стал читать. Почерк писавшего был, должно быть, не очень-то разборчив, потому что читающий процедил сквозь зубы:

— Эко нацарапано!

Пока он разбирал «нацарапанное», Самсонов имел достаточно времени разглядеть его самого. Третьяковскому было тогда 36 лет; но по лунообразному облику его лица с двойным подбородком и порядочному уже брюшку ему смело можно было дать все 40. Бритва, повидимому, несколько дней уже не касалась его щек; волосатая бородавка на левой щеке еще менее служила к его украшению. На голове его хотя и красовался, по требованию времени, парик с черным кошельком на затылке, но мукою он был посыпан, вероятно, еще накануне, а то и два дня назад: только там да сям сохранились еще слипшиеся от сала клочки муки и придавали владельцу парика как бы лысый вид.

"Ровно молью поеден", невольно наприсилось Самсонову сравнение.

Разобрав наконец письмо, Василий Кирил-

лович воззрился на посланца.

— Это который же Шувалов? — спросил он. — Меньшой?

— Так точно: Петр Иваныч; они оба камер-юнкерами у цесаревны.

— Знаю! А у кого, опричь цесаревны, он еще содержится в особой аттенции?

— Кто ему доброхотствует? Да вот первый министр Артемий Петрович Волынский к нему, кажися, тоже блогорасположен.

Тредиаковский поморщился и потянул себя двумя перстами за нос.

— Гм, гм... Амбара немалое... Муж г-н Волынский достопочтенный, великомудрый и у блогочестивейшей в большом кредите; но... но за всем тем от его блогорасположение можно претерпеть ущерб.

"Ты сам, стало быть, немецкой партии?" сообразил Самсонов и добавил вслух:

— Господин мой в добрых отношениях также с гоффрайлиной принцессы, баронессой Менгден. Еще намерен я относить ей коробку ее любимых конфет.

— О! он с нею ферлакурит? Это меняет дело. Барин твой, изволишь видеть, просит

взять тебя в науку. Всегда великая есть утеха прилежать к наукам. Оне же отвлекают в юности от непорядочного житие. Благодарю же Создателя, что направил тебя ко мне. До трех часов дня я занят тут в канцелярии более важной материей, по сих пор. (Он провел рукой над переносицей). С четвертого же часа ты можешь застать меня на квартире. Жительствую я здесь же, в Академии, но со двора.

— Покорно благодарю, ваше благородие; нынче же по вечеру отпрошусь к вам.

— Приходи, приходи, любезный. А господину Шувалову мой всенижайший поклон и привить.

Солнце еще не село, когда Самсонов поднялся по черной лестнице академического здания в верхний этаж, где Третьяковскому была отведена скромная квартирка в одну комнату с кухней, часть которой была отгорожена для прихожей. Колокольчика у двери не оказалось; пришлось постучаться. Только на многократный и усиленный стук впустил молодого гостя сам хозяин. Вместо форменного

кафтана на нем был теперь засаленный халат с продранными локтями, а вместо парика — собственная, всклокоченная шевелюра; в руке у него было гусиное перо: очевидно он был только-что отвлечен от беседы с сестрицами своими — музами.

— Прошу прощенья, сударь, — извинился Самсонов: — я никак помешал вам...

— Ничего, любезный, — снисходительно кивнул ему Тредиаковский; — у меня ни часу не пропадает втуне; "carpe diem", сиречь "пользуйся днем, колико возможно".

— А я думал уже, не пошли-ли вы прогуляться, да и прислугу отпустили со двора: погода славная...

— "Поют птички со синички,  
Хвостом машут к лисички"? —

верно; блогорастворение воздушных. Но наш брат, ученый, бодрость и силу из книг почерпает. А что до прислуги, то таковой я второй год уж не держу. Была старушенция, да Богу душу отдала. С того дня живу как перст, сам себе господин и слуга.

Говоря так, Василий Кириллович прошел в свою комнату и уселся за стол, беспорядочно

заваленный бумагами, а Самсонову милости-во указал на другой стул, дырявый, у стены.

— Садись уж, садись, да чур — с оглядкой: одна ножка ненадежна.

— Коли позволите, я вам ее исправлю, — вызвался Самсонов: — захвачу из дому столярного клею...

— И благо. Чего озираешься? Не вельможные палаты. Года три назад, еще приватно на мытном дворе проживающий, погорел до тла; одне книги из огня только и вынес; омебле-мента и поднесь еще не обновил.

"Омеблемент", действительно, был очень скуден и прост. Даже письменный стол был тесовый, некрашенный. Единственным украшением небольшой и низкой комнаты служили две полки книг в прочных, свиной кожи, переплетах.

— А разве г-н советник не испросил вам пожарного пособие? — заметил Самсонов.

Василий Кириллович безнадежно махнул рукой.

— Станет этакий ферфлюхтер хлопотать о русском человеке!

— А на него и управы нет?



— На иоганна-Данилу Шумахера управа? Га! Этому Зевесу и немцы-академики в ножки кланяются. Одначе, пора нам с тобой и за дело. Ты грамоте-то сколько-нибудь обучен?

— Нисколько-с.

— Как? и азбуки не знаешь?

— И азбуки не знаю.

— Эх, эх! Когда-то мы с тобой до реторики доберемся.

— А это тоже особая наука?

— Особая и преизрядная; учит она не только красно говорить, но еще чрез красоту своего штиля и к тому слушателей приводит, что они верят выговоренному; подает она и искусный способ получать милости от знатных лиц, содее тебя властителем над человеческими сердцами.

— Куда уж мне заноситься так далеко! Дай Бог сперва хоть научиться простой грамоте да цыфири.

— Да, цыфирь, иначе математика, находится тоже в столь великом почете, что из оной знать надлежит по меньшей мере наилучнейшее и наиупотребительнейшее — четыре правила ариѐметики. Ныне же нач-

нем с первых азов родной речи. Принц Антон-Ульрих, при приезде шесть лет тому в Питер, не знал по-русски и в зуб толкнуть. Мне выпало тогда счастье обучать его как нашему языку, так равно и российской грамоте. Начертал я для его светлости наши литеры и каллиграфные прописи. Теперь оные и для тебя пригодятся: честь, братец, немалая.

С этими словами Тредиаковский достал с полки переплетенную тетрадь, где в начале была им «начертана» крупным шрифтом русская азбука, а далее — прописи. Так как его первый ученик, принц брауншвейгский, прибыв в Россию на 20-м году жизни, умел уже, конечно, и читать, и писать по-немецки, то учителю не было надобности обучать его русским буквам и складам по тогдашнему стародавнему способу: "Аз, Буки — Аб", "Буки, Аз — Ба" и т. д. Выговаривал Василий Кириллович русские буквы по-немецки: "А, Бе". К этому упрощенному приему обратился он и с своим новым учеником и был приетно поражен, с какою быстротою и легкостью тот схватывал первоначальную книжную мудрость.

— О! да этак у тебя и чтение скоро пойдет

как по маслу, — сказал он. — Вот постой-ка, есть у меня тут некая торжественная песнь: еще в бытность мою в Гамбурге сочинена мною на коронацию нашей благоверной государыни императрицы. Сам я буду читать, а ты только следи за мной.

И, развернув на столе перед учеником большой пергаментный лист, он стал, не торопясь, но с должным паѳосом, считывать с листа свою "песнь", водя по печатным строкам ногтем:

— "Да здравствует днесь Императрикс Анна

На престол седша Увенчанна"...

— «Императрикс» — это что же? — спросил Самсонов. — Императрица?

— Ну да; но по-латыни.

— А зачем же было не сказать то же по-русски?

— Высокая, братец, материе требует и штиля высокого. Для тебя сие, я вижу, еще тарбарщина. Прочитаю-ка тебе нечто более доступное, — про грозу в Гааге, городе голландском: сам ее испытавши, тогда ж и воспел. Слушай.

И Самсонов услышал, как "набегли тучи, воду несучи... Молнии сверкают, страхом поражают, треск в лесу с Перуна, и темнеет Луна... Все животные рыщут, покою не сыщут; бьют себя в груди виноваты люди... руки воздевают, на небо глашают."

Голос чтеца гремел, очи метали молнии. И вдруг из тех же очей светлый луч, а из уст медовые звуки: "О, солнце красно! Стань опять ясно, разжени тучи, слезы горючи... А вы, Аквилоны, будьте как и оны; лютость отложите, только прохладите... Дни нам надо красны, приетны и ясны."

Неизбалованный слух Самсонова ласкало со звучае риём, а потому на вопрос: "каковы стихи?" — он отвечал вполне чистосердечно:

— Превосходны-с!

Василий Кириллович самодовольно улыбнулся.

— Это, братец ты мой, только цветочки; а уж ягодки у меня!..

"Однако он меня своими ягодами, пожалуй, еще обкормит! Хорошего понемножку," подумал Самсонов и взялся за картуз.

— Ты что ж это, уже во-свояси? — с види-

мым сожалением спросил декламатор.

— Да, ваше благородие, пора. Много вам благодарен...

— И есть за что. Сама ведь государыня императрица как меня ценит! До гробовой доски не забуду, как пел я перед нею сочиненную мною на голос оду на новый 1733 год!

— Сами же и пели?

— Собственной персоной. Голосом Бог не обидел. Государыня изволила возлежать в своем кресле у пылающего камина, а я, смиренно проползши от порога до ее стоп на коленях, в такой же позитуре пел свою оду; когда ж допел, ее величеству благоугодно было державною дланью ударить меня по ланите. Незабвенная оплеушина!.. Ну, прощай, любезный, утешил ты меня. Завтра, о сю же пору, жду тебя опять неуклонно.

## VII. Прогулка по Летнему саду

Несколько дней уже Лилли Врангель провела под кровлей Летнего дворца, но не удостоилась еще представления императрице. Из всех обоего пола обитателей дворца она более или менее сошлась пока только с немкой мадам Варленд, которой были поручены

главный надзор над дворцовыми птичника-ми и дрессировка для государыни разных птиц. В Зимнем дворце был отведен для пернатых, как она слышала, особый двор; в Летнем же саду имелась даже целая "менажерия": в одной большой общей клетке содержались всевозможные лесные пташки, некоторые "заморские" птицы и всякая домашняя; соловьи и орлы сидели в отдельных клетках; точно так же отдельно помещалось и разное мелкое зверье: мартышки, сурки и т. п.

Собственно на «птичный» двор ни гулявшая в Летнем саду посторонняя публика, ни жильцы Летнего дворца вообще не имели доступа. Но для Лилли мадам Варленд делала изъятие из общего запрета, так как девочка с таким неослабным интересом относилась к ее питомцам. Чего-чего не узнала от нее Лилли! Так, напр., что большая клетка оставляется на зиму под открытым небом, но от морозов и снега покрывается войлочным чехлом; что всего больше хлопот и забот у мадам Варленд с выучкой одного серого, с красным хохолком, красавца-попугая, который, по приказу государыни, выписан нарочно из Гамбурга

и будет подарен его светлости, герцогу курляндскому, в день его рождение — 13-го ноября; что и русских-то птиц не так легко получать в желаемом количестве: хоть бы вот купец Иван Симонов подрядился наловить 50 штук соловьев по 30 коп. за штуку (легко сказать! такие деньги!), а к осени надо, во что бы то ни стало, раздобыть еще сотню; про обыкновенных пичуг: скворцов, зябликов, щеглят, чижей, — и говорить нечего...

— Да на что вам, помилуйте, все еще новых да новых птиц, когда у вас их здесь и без того хоть отбавляй? — недоумевала Лилли.

— А мало ли их требуется для всех чинов Двора? — отвечала мадам Варленд. — Всякому приетно получить такую певунью даром. Ну, а потом весной в Блговещенье ее величество любит выпускать собственноручно на волю целые сотни мелких птах, да еще...

— Что еще? — не унималась Лилли, когда та, глубоко вздохнув, запнулась.

— Государыня до страсти, знаешь, любит стрелять птиц на-лету... Ну, что же делать? Бедняжки приносят свою жизнь, так сказать, на алтарь отечества! А не хочешь ли, дитя

мое, раз прогуляться? Ведь ты не видела еще всех здешних диковин?

Тогдашний Летний сад состоял из трех отдельных садов: первые два занимали ту самую площадь между Фонтанкой и Царицыным Лугом, что и нынешний Летний сад; третий же, как их продолжение, находился там, где теперь инженерный замок с его садом. Диковины первых двух садов были следующие: свинцовые «фигуры» из "Езоповых фабул," «большой» грот с органом, издававшим звуки посредством проведенной в него из пруда воды; «малый» грот и "маленькие гротцы", затейливо убранные разноцветными раковинами, два пруда: «большой» — с лебедями, гусями, утками, журавлями и чапурами (цаплями), и "пруд карпиев", где можно было кормить рыб хлебом; оранжереи и теплицы; затем еще разные «огибные» и «крытые» дорожки, увитые зеленью беседки и проч.

Третий сад был предназначен не для гулянья, а для хозяйственных целей: часть его была засажена фруктовыми деревьями и ягодными кустами, а другая раскопана под огородные овощи.



Только-что Лилли с мадам Варленд вышли на окружную дорогу, отделявшую второй сад от третьяго, как вдали показались два бегущих скорохода, а за ними экипаж.

— Государыня! — вскрикнула Варленд и, схватив Лилли за руку, повлекла ее в ближайшую беседку.

— Да для чего нам прятаться? — спросила Лилли. — Я государыню до сих пор ведь даже не имела случая видеть...

— Когда ее величество недомогает, то лучше не попадаться ей на глаза. Сегодня она делает хоть опять прогулку в экипаже — и то слава Богу. Сейчас оне проедут... ч-ш-ш-ш!

Обе притаились. Вот пролетели мимо, как ветер, скороходы; а вот слышался, по убитой песком дороге, мягкий шум колес и дробный лошадиный топот. Сквозь ажурный переплет беседки Лилли, сама снаружи невидимая, могла довольно отчетливо разглядеть проезжающих: в небольшой коляске, запряженной парой пони тигровой масти, сидели две дамы, из которых одна, более пожилая, очень полная и высокая, сама правила лошадами.

— Да это же вовсе не государыня! — усомнилась Лилли, когда экипаж скрылся из виду.

— Как же нет? — возразила Варленд. — Та, что правила, и была государыня.

— Не может быть! На ней не было ни золотой короны, ни порфиры...

— Ах ты, дитя, дитя! — улыбнулась Варленд. — Корона и порфира надеваются монархами только при самых больших торжествах.

— Вот как? А я-то думала... Но кто была с нею другая дама? У той лицо не то чтобы важнее, но, как бы сказать?..

— Спесивее? Да, уж такой спесивицы, как герцогиня Бирон, другой у нас и не найти. Она воображает себя второй царицей: в дни приемов у себя дома восседает, как на троне, на высоком позолоченном кресле; платье на ней ценою в сто тысяч рублей, а бриллиантов повешено на целых два миллиона. Каждому визитеру она протягивает не одну руку, а обе зараз, и горе тому, кто поцелует одну только руку!

— Вот дура-то!

— Что ты, милая! Разве такие вещи гово-

рятся вслух?

— А про себя думать можно? — засмеелась Лилли. — Вы, мадам Варленд, ее, видно, не очень-то любите?

— Кто ее любит!

— А государыня?

— Государыня держит ее около себя больше из-за самого герцога. В экипаже она садит ее, конечно, рядом с собой, но в комнатах герцогиня в присутствии государыни точно так же, как и все другие, не смеет садиться. Из статс-дам одной только старушке графине Чернышевой ее величество делает иногда послабление. "Ты, матушка, я вижу, устала стоять?" говорить она ей. "Так упрись о стол; пускай кто-нибудь тебя заслонит вместо ширмы, чтобы я тебя не видела."

— А из других дам, кто всего ближе к государыне?

— Да, пожалуй, камерфрау Юшкова.

— Какая же она дама! Ведь она, кажется, из совсем простых и была прежде чуть ли не судомойкой?

— Происхождение ее, моя милая, надо теперь забыть: Анна Федоровна выдана замуж

за подполковника; значит, она подполковница.

— Однако она до сих пор еще обрезает ногти на ногах у государыни, да и у всего семейства герцога?

— Господи! Кто тебе разболтал об этом?

— Узнала я это от одной камермедхен.

— От которой?

— Позвольте уж умолчать. За мою болтовню с прислугой мне и то довольно уже досталось.

— От принцессы?

— Ай, нет. Принцесса не скажет никому ни одного жесткого слова. Ей точно лень даже сердиться. Нотацию прочла мне баронесса Юлиана: "С прислугой надо быть приветливой, но так, чтобы она это ценила, как особую милость. Никакой фамильярности, чтоб не вызвать ее на такое же фамильярничанье, которое обращается в нахальство"...

— А что ж, все это очень верно. Советы баронессы Юлианы вообще должны быть для тебя придворным катехизисом. Она, конечно, объяснила тебе также, как вести себя с государыней?

— О, да. Улыбаться можно, но не ранее, как только тогда, когда сама государыня улыбнется, а громко смеется — Боже упаси! Да мне теперь и не до смеху; как подумаю, что придется тоже представляться государыне, так у меня душа уходит в пятки. Так страшно, так уж страшно!..

— Да ты и вправду ведь дрожишь, как маленькая птичка, — заметила начальница птичника, нежно глядя девочку по спине. — Ну, полно же, полно. Примет тебя государыня ведь не при общем приеме, а совсем приватно, запросто, в своем домашнем кругу. Из 6-ти статс-дам будет, вероятно, одна только безотлучная герцогиня Бирон.

— Но герцогиня, сами вы говорите, такая гордячка...

— При государыне она и рта не разевает.

— А обер-гофмейстерина?

— Княгиня Голицына? Та после смерти своего мужа-фельдмаршала, вот уже девятый год, почти не показывается при Дворе. Будут только фрейлины, да приживалки, да шуты.

— Но скажите мне, пожалуйста, мадам Варленд (баронессу Юлиану я не решилась

спросить): для чего государыня окружила себя шутами? Ведь есть же более благородные развлечения?

— Видишь ли... На все эти куртаги, банкеты, спектакли надо являться в корсаже, фижмах, буклях, надо самой вести придворные разговоры. Не так давно еще не проходило ведь дня без каких-либо празднеств; завели итальянскую оперу, немецкую трагедию... Герцог выписал нарочно немецкую труппу из Лейпцига. И что за роскошь была в нарядах! Никто не смел приезжать ко Двору второй раз в одном и том же платье. На нарядах многие даже до тла раззорялись, влезали по уши в долги. Но вот с тех пор, что государыня чувствует себя так плохо, все эти официальные выходы слишком ее утомляют, и она почти не показывается из своих апартаментов. Там фрейлины развлекают ее народными песнями, приживалки — рассказами о привидениях и разбойниках, а шуты — своими глупостями. Из шутов, сказать между нами, один только может назваться человеком: это Балакирев, который был шутом еще у царя Петра.

— Но есть ведь между ними, кажется, и ти-

тулованные?

— Есть-то есть: два князя и один граф...

— Но как те-то решились сделаться шутами?

— Не по своей охоте, конечно, а разжалованы в шуты, — один из-за своей жены, интригантки, а два других за то, что тайным образом перешли в католичество: государыня ведь очень набожна и крепко держится своего православие.

— Мне называли еще какого-то любимца государыни Педрилло?

— Ну, этот неаполитанец не столько шут, как мошенник. Зовут его собственно Пиетро Мира; был он у нас сперва певцом буфф в итальянской опере и скрипачом в оркестре; но своими забавными дурачествами сумел снискать расположение государыни, и она сделала его своим придворным шутом. Теперь он исполняет всякие поручение ее величества, где может извлечь для себя пользу, играет за нее в карты, а выигрыш кладет себе в карман. Для него да еще для другого шута из португальских жидов, Яна д'Акоста, тоже изрядного плута, учрежден даже особый шутовской ор-

ден — святого Бенедетто.

— А кроме шутов, у государыни есть ведь и шутихи?

— Ну, те просто безобидные болтушки. С одной, впрочем, милая, будь осторожна — с карлицей-калмычкой: у нее бывают и презлые шутки.

— Я слышала, кажется, ее имя: Буженинова.

— Вот, вот. Крещена она Авдотьей, прозвище же Буженинова ей дано за то, что любимое ее кушанье — буженина, вареная свинина с луком и перцем.

— Но, что до меня, то я не могла бы проводить целые дни в обществе дураков и дур!

— Бога ради, моя милая, не высказывайся только так откровенно при других! Тебя не сделают тогда не только фрейлиной принцессы, но и камер-юнгферой.

— Да мне все равно, чем бы ни быть, хоть камермедхен, лишь бы поскорей! А то ви-сишь на воздухе между небом и землей...

Желание девочки исполнилось уже на следующее утро.

## **VIII. Анна иоанновна в домашнем быту**



Когда дежурный камер-юнкер с низким поклоном пропустил Анну Леопольдовну и сопровождавших ее Юлиану и Лилли в царские покои, — навстречу оттуда им неслись звонкие переливы женского хора. Когда же они переступили порог той комнаты, где пел хор, пение было властно прервано не женски-густым голосом:

— Будет, девки! Пошли вон!

Певицы-фрейлины, смолкнув, послушно удалились в смежную комнату. Властный голос принадлежал сидевшей у открытого в сад окна, пожилой даме. Если бы Лилли даже и не видела ее мельком накануне проезжающею в экипаже, то уже потому, что из всех присутствующих она одна только сидела, у нее не оставалось бы сомнение, что то сама императрица.

В 1724 году голштинский камер-юнкер Берхгольц, будучи в Митаве у двора Анны Иоанновны (тогда еще герцогини курляндской), описывал ее так:

"Герцогиня — женщина живая и приетная, хорошо сложена, недурна собой и держит себя так, что чувствуешь к ней почтение".

За пятнадцать лет, однако, внешность ее сильно изменилась. Необычайная дородность, особенно поражавшая в утреннем светлоголубом капоте, при отсутствии корсета; головной убор — красный платок, резко выделявший смуглость лица, и всего более долговременная болезненность делали ее на вид значительно старше ее 46-ти лет... Брови она еще красила, но румяниться и белиться уже перестала, и, вместо воды и мыла, употребляла для очищения кожи только топленое масло, от чего цвет ее кожи казался еще смуглее. Выпуклые, широко-расставленные глаза будто опухли и были окаймлены темными кругами; углы рта были страдальчески опущены.

При появлении любимой племянницы, впрочем, хмурые черты императрицы несколько прояснились. Еще более обрадовалась лежавшая у ее ног левретка: с веселым лаем она вскочила с своей вышитой подушки и, виляя хвостом, подбежала к принцессе. (В скобках заметим, одному из титулованных шутов, бывшему камергеру, было поручено кормить эту собачку и приносить ей каждый день от «кухеншрейбера» кринку сливок).

— Здравствуй, Цытринька, здравствуй! — поздоровалась Анна Леопольдовна с собачкой; затем, подойдя к своей царственной тетке, пожелала ей доброго утра, поцеловала руку и тут же представила ей Лилли:

— Вот, ваше величество, моя маленькая фаворитка.

Государыня взором знатока оглядела снизу вверх стройную, гибкую фигуру девочки.

— Молодая березка! А я ведь и то думала, что ты еще коротышка. Недотрога какая! По щеке даже не смей потрепать. А щечки-то какие алые! На алый цветок летит и мотылек.

"Ну, уж мотылек!" вспомнила Лилли про Бирона, но на словах этого, конечно, не выразила, а только пуще зарделась.

— Ну, Бог простит, — милостиво продолжала императрица. — Ты ведь хоть и немка, а говоришь тоже по-нашему?

Сама Анна иоанновна, не смотря на то, что целых двадцать лет провела в Курляндии, все еще не освоилась хорошенько с немецкою речью, а потому попрежнему предпочитала русский язык.

— Говорю, ваше величество, отвечала, —

ободрившись, Лилли. — Я родилась в Тамбовской губернии...

— О! да у тебя и выговор-то совсем русский, чище еще, чем у покойной сестрицы. Может, ты и русские песни петь умеешь?

Лилли замялась. Мало-ли распевала она в детстве разных песен с своими сверстницами, дворовыми девчонками! Но государыня, чего доброго, прикажет ей еще петь сейчас при всех...

— Ну, что же молчишь? Отвечай! — шепнула ей сзади по-немецки Юлиана.

— Простите, ваше величество, — пролепетала Лилли: — у меня хриплый голос...

— Ну, тогда тебе цена грош.

Юлиана, имевшая уже случай слышать, как звонко Лилли заливается в своей комнатке, не хотела обличить ее в явной лжи, но сочла все таки полезным пристыдить ее немножко и доложила государыне, что девочка зато мастерица ездить верхом, даже без седла, как деревенские дети.

— Скажите, пожалуйста! — улыбнулась Анна иоанновна. — Ну, когда-нибудь посмотрим у нас в манеже, непременно посмотрим.

В это время в саду закаркала громко ворона.

— Проклятое воронье! — проворчала государыня и выглянула в окно. — Так и есть: опять над моим окном! Точно им и другого места нет. Подайте-ка мне ружье!

— O, mein Gott! — послышался сдавленный вздох из уст стоявшей около царского кресла придворной дамы.

Не смее до сих пор отвести глаз от императрицы, Лилли только теперь взглянула на эту барыню, в которой тотчас узнала вчерашнюю спутницу государыни, герцогиню Бирон. Небольшого роста, но с пышным бюстом, 36-ти летняя герцогиня была бы и лицом, пожалуй, даже недурна, не будь ее кожа испорчена оспой, не напускай она на себя чрезмерной важности и не имей она, кроме того, непохвальной привычки то-и-дело приподнимать брови, — что придавало ее самим по себе правильным чертам выражение пугливого высокомерие.

— Как это ты, Бенигна, не привыкаешь на конец к выстрелам? — заметила ей Анна Иоанновна. — Ну, да Господь с тобой! Дайте

мне лук и стрелы.

— *Escolo, madre mia!* Вот тебе мой само-стрел, — подскочил к ней вертлявый, черно-мазый субъект, в котором, и без шутовского наряда, не трудно было узнать любимца царицы Педрилло по его звучному итальянскому говору и, казалось, намеренному даже искажению русской речи (что мы, однако, не беремся воспроизвести). — Но, чур, не промахнись.

— Кто? я промахнусь? Ни в жизнь!

— А вот побьемся об заклад: как промахнешься, так подаришь мне за то золотой. Хорошо?

— Хорошо.

Натянув самострел, государыня, почти не целясь, спустила стрелу. В тот же миг ворона, пронзенная стрелой, слетела кувырком вниз, цепляясь крыльями за древесные ветви, и шлепнулась замертво на землю.

— *Per Dio!* — изумился Педрилло и с заискивающею беззастенчивостью неаполитанского лаццарони протянул ладонь:

— *Ebbene, made, una piccola moneta.*

— Это за что, дурак?

— Да мне ночью приснилось, что ты все же подарила мне золотой, и я положил его уже себе в карман.

— Так можешь оставить его у себя в кармане.

Неаполитанец почесал себе ногою за ухом, а товарищи его разразились злорадным хохотом.

Тут вошедший камер-юнкер доложил, что кабинет-министр Артемий Петрович Волынский усерднейше просить ее величество удостоить воззрением некий спешный доклад.

Анна иоанновна досадливо насупилась.

— Скажи, что мне недосужно. Вечно ведь не впопад!

— А то, матушка-государыня, велела бы ты спросить его: где белая галка? — предложил один из шутов.

— Какая белая галка?

— Да как же: еще на запрошлой маслянице, помнишь, повелела ты доставить в твою менажерию белую галку, что проявилась в Твери. Ну, так доколе он ее не представит, доколе ты и не допускай его пред свои пресветлые очи.

Государыня усмехнулась.

— А что ж, пожалуй, так ему и скажи.

Камер-юнкер вышел, но минуту спустя опять возвратился с ответом, что, по распоряжению его высокопревосходительства Артемие Петровича, тогда-же было писано тверскому воеводе Киреевскому, дабы для поимки той белой галки с присланными из Москвы помытчиками было без промедления отправлено потребное число солдат, сотских, пятидесятских; что во всеобщее сведение о всемерном содействии было равномерно в пристойных местах неоднократно опубликовано и во все города Тверской провинции указы посланы; но что с тех пор той белой галки никто так уже и не видел.

— Пускай пошлет сейчас, кому следует, подтверждающие указы, — произнесла Анна Иоанновна с резкою решительностью.

Не отходявшая от ее кресла герцогиня Бирон, наклонясь к ней, шепнула ей что-то на ухо.

— Нм, ја, — согласилась государыня и добавила к сказанному: — буде-же у Артемие Петровича есть и в самом деле нечто очень



важное, то может передать его светлости господину герцогу для личного мне доклада.

Камер-юнкер откланялся и вновь уже не возвращался.

Между тем к императрице подошла камер-фрау Анна Федоровна Юшкова и налила из склянки в столовую ложку какой-то бурой жидкости.

— Да ты, Федоровна, своей бурдой в конец уморить меня хочешь? — сказала Анна иоанновна, вперед уже морщась.

— Помилуй, голубушка государыня! — отвечала Юшкова. — Сам ведь лейб-медик твой Фишер прописал: через два часа, мол, по столовой ложке. Выкушай ложечку, сделай уж такую милость!

— Да вот португалец-то, доктор Санхец, прописал совсем другое.

— А ты его, вертопраха, не слушай. Степенный немец, матушка, куда вернее. Ты не смотри, что на вид будто невкусно; ведь это лакрица, а лакрица, что мед, сладка.

— Сласти, Федоровна, для девок да подростков, а в наши годы-то что телу полезительней.

— Да чего уж пользительней лакрицы? Пей, родная, на здоровье!

— Дай-ка я за матушку нашу выпью, — вывалилась тут Буженинова, карлица-калмычка, и, разинув рот до ушей, потянулась к подносимой царице ложке.

Но подкравшийся к ней шут д'Акоста подтолкнул ложку снизу, и все ее содержимое брызнуло в лицо карлице.

Новый взрыв хохота царицыных потешников. Не смеелся один лишь Балакирев.

— Ты что это, Емельяныч, надулся, чтомышь на крупу? — отнеслась к нему государыня.

— Раздумываю, матушка, о негожестве потех человеческих, — был ответ.

— Умен уж больно! вскинулся д'Акоста. — Смеется ему, вишь, на дураков не пристало. Словно и думать не умеют!

— Умный начинает думать там, где дурак кончает.

— Oíbo! возмутился за д'Акосту Педрилло. — Скажи лучше, что завидно на нас с ним: не имеешь еще нашего ордена Бенедетто.

— Куда уж нам, русакам! Спасибо блажен-

ной памяти царю Петру Алексеевичу, что начальником меня хоть над мухами поставил.

— Над мухами? — переспросила Анна Иоанновна. — Расскажи-ка, Емельяныч, как то-было.

— Расскажу тебе, матушка, изволь. Случалось мне некоего вельможу (имени его не стану наименовать) не однажды от гнева царского спасать. Ну, другой меня, за то уважил бы, как подобает знатной персоне; а он, вишь, по скаредности, и рубля пожалел. Видит тут государь, что я приуныл, и вопрошает точно так-же, как вот ты, сейчас, матушка:

"— Отчего ты, Емельяныч, мол, не весел, головушку повесил?

"— Да как мне, - говорю, — веселым быть, Алексеич: не взирая на весь твой фавор, нет мне от людей уважение, а нет уважение оттого, что всех, кто тебе служит верой и правдой, ты жалуешь своей царской милостью: кого крестом, кого чином, кого местом, а меня вот за всю мою службу хоть бы раз чем наградил.

"— Чего-ж ты сам желаешь?" спрашивает государь.

"Взял я тут смелость, говорю:

"— Так и так, мол, батюшка: поставь ты меня начальником над мухами.

"рассмеелся государь:

"— Ишь, что надумал! В каком разуме сие понимать должно?

"— А в таком, говорю, — и понимать, что по указу твоему дается мне полная мочь бить мух где только сам вздумаю, и никто меня за то не смел-бы призвать к ответу.

"— Будь по сему, говорит, — дам я тебе такой указ.

"И своеручно написал мне указ.

"Долго-ли, коротко-ли, задал тот самый вельможа его царскому величеству пир зазвонистый, по-нонешнему — банкет. Пошла гульба да бражничанье; употчивались гости — лучше не надо. Я же, оставшись в прежнем градусе, хватить из кармана добрую плетку и давай бить на столе покалы, стаканы да рюмки, а посуда-то вся дорогая, хрусталя божьего. Ну, хозяин, знамо, ошалел, осатанел, с немалым криком велел своим холопьям взять меня, раба божья, и вытолкать вон. Приступили они ко мне — рать целая, дванадесять тысяч. А я учливым образом ка-

жу им пергаментный лист за собственным царским подписом:

"— Вот, мол, царев указ, коим я над мухами начальником поставлен; а исполнять царскую службу я за долг святой полагаю.

"Отступились те от меня, гости кругом хочут-заливаются, а я с плеткой моей добираться уже до самого хозяина. Пришел он тут в конфузию, затянул Лазаря:

"— Ах, Иван Емельяныч! такой ты, мол, да сякой, есть за мной тебе еще малый должок...

"— Денег твоих, батюшка, теперь мне уже не надо, — говорю: — дорого яичко к Христову дню".

— Умно и красно, похвалила Анна иоанновна рассказчика. — Мог-бы ты, Емельяныч, и мне тоже иной раз умным словом промолвиться.

— Молвил-бы я, матушка, словечко, да волк недалеко, отвечал Балакирев, косясь исподлобья на супругу временщика.

Сама герцогиня Бенигна, плохо понимавшая по-русски, видимо, не поняла намека. Царица же сдвинула брови и пробормотала:

— Экая жарница... Квасу!

— Эй, Квасник! не слышишь, что-ли? — крикнуло несколько голосов старичку в дурацком колпаке, сидевшему в отдаленном углу в корзине.

В ответ тот закудаhtал по-куриному.

Был то отпрыск старинного княжеского рода, разжалованный в шуты (как уже раньше упомянуто) за ренегатство. Главная его обязанность состояла в том, чтобы подавать царице квас, за что ему и было присвоено прозвище «Квасник». В остальное время он должен был сидеть "наседкой" в своем "лукошке" и высиживать подложенный под него десяток куриных яиц.

Не успел, однако, князь-Квасник выбраться из своего лукошка, как Педрилло, подскочив, опрокинул лукошко и покатил его, вместе с "наседкой", по полу. Тут подоспели и другие потешники, стали, смеясь, валить друг дружку в одну кучу, а еще другие взялись за музыкальные инструменты: трубу, тромбон, бубен, — и комната огласилась таким человеческим гамом и музыкальной какофонией, что хоть святых вон выноси. Мало того: царицына левретка Цытринька не хотела, видно,

также отстать от других и разлаялась во все свое собачье горло.

И вдруг все кругом разом смолкло, застыла в воздухе перед громовым, как-бы магическим возгласом:

— Herrgottssapperment!

На пороге стоял грозным истуканом герцог Бирон, один лишь из всех царедворцев пользовавшийся привилегией входить к императрице без предварительного доклада.

— Здравствуйте, любезный герцог, — приветствовала его Анна иоанновна. — Вы ко мне, я вижу, по делу?

Она указала глазами на какую-то бумагу в его руке.

Бирон обвел всех присутствующих суровым взглядом и произнес, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Чернил и перо!

Мигом появилось и то, и другое.

— Господин Волынский просил меня подать это к апробации вашего величества, продолжал по-немецки герцог и начал было излагать обстоятельства дела.

Но императрица перебила его на полуфра-

зе:

— Да вы сами-то прочитали бумагу?

— Прочитал, и признаю предлагаемую меру действительно полезною.

— Да? больше мне ничего не нужно.

И на положенной герцогом на подоконник бумаге последовала требуемая Высочайшая "апробация".

— Не позволите-ли нам, государыня, теперь удалиться? — заявила тут Анна Леопольдовна.

— Я вас, милые мои, не задерживаю; с Богом!

— А какую вашему величеству угодно определить диспозицию на счет моей бедной сиротки: чем быть ей при мне?

Царица взглянула на Лилли; но при этом глаза ее уловили устремленный также на девочку неприезженный взор временщика, и она признала нужным спросить:

— А ваше мнение, господин герцог?

— Да чтож, — отозвался тот, — девица эта как-никак из баронесс; нижней прислугой быть ей не подобает. Ваше высочество ею довольны?



Он вопросительно взглянул на принцессу.

— И весьма даже довольна, — подтвердила Анна Леопольдовна.

— В таком случае она могла бы быть определена на первое время... младшей камер-юнгферой. Я вообще против того, чтобы обходить на службе старших.

— Так пускай, значит, и будет, — решила государыня и кивнула племяннице и ее фрейлине на прощанье головой.

Новая камер-юнгфера принцессы не удостоилась кивка, тем менее «без-мена», т.-е. целование рук.

## **IX. Принцесса обручается**

**Б**ракосочетание принцессы мекленбургской с принцем брауншвейгским, должноствовавшее обеспечить престолонаследие в Российской империи, было окончательно назначено на вторник, 3-е июля. Так как со дня их негласного стовора оставалось впереди не более трех недель, то приготовления к свадьбе происходили, что называется, на почтовых. Сама невеста, не смотря на свою флегму и отвращение к этому браку, была как-то невольно охвачена общим оживлением, особенно

когда ей приходилось примерять новые наряды. Но никогда Лилли не видела принцессу в таком радостном возбуждении, как одним утром, когда императрица взяла ее с собой во флигель дворца, где придворный ювелир Граверо с своим молодым помощником Позье резали и шлифовали разные драгоценные камни, полученные недавно с азиатским караваном. Сама государыня заглядывала туда раза по два, по три в день. Теперь она предоставила своей возлюбленной племяннице полную свободу выбирать какие угодно камни для новых ожерельев, браслетов, брошек и колец и заказывать для них, по собственному вкусу, оправы. Будучи весь день в наилучшем расположении духа, Анна Леопольдовна одарила всех своих приближенных, в том числе и Лилли, изящными изделиями того же Граверо. Только с приближением рокового дня свадьбы, она заметно пала опять духом.

Еще до брачного обряда следовало официально оформить сватовство брауншвейгского принца. Заочным сватом согласился быть родной дядя жениха, император "римский" (как величали тогда императора ав-

стрийского) Карл VI; заместителем же его выступил чрезвычайный посланник австрийский при нашем Дворе, маркиз Ботта-де-Адорно.

Торжественный везд маркиза Ботта в Петербург состоялся из Александро-Невской лавры за два дня до свадьбы, — в воскресенье, 1-го июля. В понедельник, 2-го июля, происходил в стенах Зимнего дворца самый церемониал сватовства. Хотя Лилли и не принадлежала еще к свите августейшей невесты, но, благодаря своему дворянскому происхождению, получила все-таки разрешение с некоторыми другими дамами смотреть из боковых дверей на весь церемониал в большом тронном зале.

В самой глубине обитом красным сукном возвышении в двенадцать ступеней, перед золотым тронном, осененным балдахином, стояла сама императрица. И без того очень высокого роста, она, в своем царском венце и порфире с длинейшим шлейфом, казалась еще выше. Вид у нее был на этот раз поистине царственно-величавый; не опираясь она одной рукой на стоявший рядом стол, нельзя

было бы и подозревать ее телесных недугов, не позволявших ей долго ни стоять, ни ходить.

По ступеням возвышение с обеих сторон были расставлены высшие сановники и камергеры в расшитых золотом мундирах, в орденах и звездах, а внизу — камер-юнкеры. Вдоль всего огромного зала разместились в три ряда: с правой стороны — представители иноземных держав и российского дворянства, а слева — дамы, имеющие проезд ко Двору.

От этого невиданного еще ею дотоле, ослепительно-блестящего собрания у Лилли в глазах зарябило. Так она не была даже в состоянии, да не имела бы и времени, хорошенько разглядеть цесаревну Елисавету Петровну, стоявшую в первом ряду дам, поблизости от трона. Но одно ее все таки поразило: в числе присутствующих не было ни самого герцога Бирона, ни его супруги, первой статс-дамы царицыной, и ей невольно подумалось:

"Не хотят ли они таким образом выразить протест, что сыну их принцесса предпочла иностранного принца?"

— Маркиз Ботта! — заговорили тут около

нее дамы, и она увидела малорослого, плотно-го мужчину в иностранной форме, мерными шагами и с гордо-вскинутой головой направляющегося через весь зал к императрице.

Поднявшись вверх на пять, на шесть ступеней к трону, посланник отвесил монархине установленный поклон, накрылся, по обычаю своей страны, раззолоченной шляпой с плюмажем и произнес небольшую приветственную речь на немецком языке; после чего, сняв опять шляпу, подал государыне письмо от венценосного заочного свата.

Отвечала ему точно так же не сама императрица: заговорил от ее имени по-русски стоявший на верхней ступеньке высокий и осанистый сановник, окидывая из-под своих пушистых бровей стоявшего несколькими ступенями ниже приземистого австрийца еще более гордым взглядом.

"Первый министр, Артемий Петрович Волынский! — догадалась Лилли. — Точно так свысока должен смотреть и орел на коршуна, взлетевшего к его высям."

Волынского сменил граф Кейзерлинг, посланник брауншвейгь-вольфенбюттельский,

чтобы сказать также несколько слов и подать письмо от своего государя, герцога вольфенбюттельского. Несмотря на сотни присутствующих, кругом царила такая мертвая тишина, что каждое слово говоривших долетало до противоположного конца зала.

По окончании речей, Анна иоанновна, опираясь на руку Волынского, спустилась с тронного возвышение (два камерпажа поспешили подхватить волочившийся за нею тяжелый шлейф) и проследовала в большую, празднично-разукрашенную галлерею, где придворные чины и дамы разместились в том же порядке.

— А вот и нареченный жених, — заметила вполголоса одна из соседок Лилли. — Но как он жалок, Боже милосердный!

— Как есть агнец перед закланьем, — отозвалась другая.

И точно: в своем белом шелковом, расшитом золотом кафтане, с женоподобным лицом и распущенными а l'enfant до плеч, завитыми светло-белокурыми волосами, бедный принц брауншвейгский шел между двумя рядами придворных к стоявшей под балдахином в

конце галлерей царице шаткой поступью и с миной осужденного. Невнятно пробормотав что-то, — должно-быть, личную просьбу не отказать ему в руке царицыной племянницы, — он, по знаку Анны иоанновны, стал рядом с нею с правой стороны, а его сват, маркиз Ботта, с левой.

Тут два высших придворных чина: кабинет-министры Волынский и князь Черкасский, ввели в галлерею и подвели к императрице племянницу-невесту. Вид у Анны Леопольдовны был не менее убитый, как у Антона-Ульриха; а когда тетушка-царица объявила ей, что вот принц брауншвейгский просит ее руки, — самообладание окончательно оставило бедняжку; она кинулась на шею к государыне и разрыдалась.

Такая чисто-семейная сцена, не предусмотренная церемониалом, до того всех озадачила, что все кругом замерло, не смее шелухнуться. Сама Анна иоанновна, строго сохранявшая до сих пор свою царственную осанку, не смогла также подавить свое волнение: из-под ресниц ее на голову припавшей к ней племянницы закапали слезы.

Не потерялся только маркиз Ботта. Обратясь к императрице с новой речью, он раскрыл сафьяновый футляр, в котором оказался свадебный подарок «римского» императора — великолепная золотая цепь — «эсклаваж», вся усыпанная драгоценными камнями и крупными жемчужинами. Дрожащими еще руками Анна иоанновна приняла цепь и надела ее на шею невесты; после чего сняла с пальцев принца и принцессы обручальные кольца и вручила жениху кольцо невесты, а невесте — кольцо жениха.

— Будьте счастливы, мои дети! Благослови вас Господь Бог и Пресвятая Матерь Божие! — проговорила она растроганным голосом и обняла обоих.

Первою поздравить вновь обрученных пошла цесаревна Елисавета. Обнимая принцессу, она тихонько стала утешать ее.

— Оставь! ты ее еще больше расстроишь! — властно заметила ей императрица, и цесаревна отошла, чтобы дать место другим поздравителям.

Стоя об руку с женихом, Анна Леопольдовна принимала поздравление с натянутой



улыбкой сквозь слезы и, казалось, едва держалась на ногах, так что Антон-Ульрих должен был ее поддерживать, хотя у него самого вид был не менее жалкий.

Всем присутствующим стало не по себе: все украдкой переглядывались, перешоптывались. Лилли услышала опять около себя пересуды, причитанья придворных кумушек:

— Не к добру это, ох, не к добру!

— Не обручение это, а словно похороны!

— Смотрите-ка, смотрите: уже уходят! Невмоготу, знать, пришлось.

Толпившиеся в дверях торопливо посторонились, чтобы пропустить обрученных.

Следовавшая за принцессой баронесса Юлиана кивнула по пути Лилли, чтобы та не отставала. Когда, рядом комнат, достигли наконец собственных покоев Анны Леопольдовны, последняя высвободила свою руку из-под руки жениха и, коротко поблагодарила: "Danke!", в сопровождении Юлианы и Лилли вошла в открытую камерпажем дверь, которая тотчас опять захлопнулась перед озадаченным принцем.

## **Х. Эсклаваж и новая дружба**

— Ах, я бедная, бедная! — воскликнула Анна Леопольдовна, ломая руки, и повалилась ничком на свое «канапе».

— Что вы делаете, принцесса! — испугалась Юлиана: — вы совсем ведь изомнете вашу чудную робу и сломаете, пожалуй, фижмы...

— Я задыхаюсь... расстегни меня...

— Да вы хоть бы присели, — сказала Юлиана и, наперерыв с Лилли, принялись расстегивать ей платье и распускать шнуровку.

В это время дверь снова растворилась, и вошла цесаревна Елисавета вместе с молодой гофfreyлиной.

— А я хотела тебя, дорогая Анюта, еще отдельно поздравить, — зоговорила цесаревна, подсаживаясь к принцессе, и крепко чмокнула ее несколько раз. — Поздравляю от всей души!

— Есть с чем!.. — отвечала Анна Леопольдовна, как избалованный ребенок, капризно надувая губки. — Муж не башмак — с ноги не сбросишь!

— Да зачем его сбрасывать? Если не тебе

самой, то твоему будущему сыну суждено носить царскую корону.

— Сыну от постылого мужа! Не нужно мне ни сына, ни короны! Сколько раз ведь говорила я тетушке, что с радостью уступлю тебе все мои права...

— Вздор несешь, душенька. Ты государыне родная племянница, а я ей только кузина...

— Но зато в десять раз меня умнее! Не понимаю, право, почему ты, тетя Лиза, всегда еще так мила со мной...

— ее высочество цесаревна со всеми обворожительно мила, — вмешалась дипломатка Юлиана.

— А главное, гораздо рассудительнее вас, принцесса: если уж государыне благоугодно было назначить вас своей наследницей, так вы обязаны безпрекословно повиноваться.

— Я и повинуюсь, выхожу замуж за этого... Не знаю, как и назвать его!

Она залилась опять слезами, и Елисавете Петровне стоило не малого красноречие, чтобы несколько ее успокоить.

— Любоваться им тебе не нужно; но другим-то своей нелюбви к нему ты не должна

слишком явно показывать. Царствующие особы должны стоять на такой высоте над толпой, чтобы казались ей всегда высшими существами, неподверженными человеческим слабостям.

— Да ты сама-то, тетя Лиза, разве держишь себя так?

— Я, милочка моя, никогда не буду царствовать... А какой прелестный у тебя "эсклаваж!" — переменяла она тему и стала разглядывать драгоценный подарок «римского» императора на шее принцессы.

— Подлинно esclavage! — вскричала Анна Леопольдовна, срывая с себя цепь и бросая ее на пол. — Для того только мне ее и навесили, что бы я никогда, никогда не забывала, что стала отныне невольницей!

Лилли подняла цепь с полу и, по молчаливому знаку Юлианы, отнесла на стол. Во время предшествовавшего разговора она имела полный досуг рассмотреть цесаревну. Юлиана не даром назвала последнюю «обворожительной». Хотя черты лица ее и не принадлежали к числу так-называемых «классических», но овал их был очень мягок и изящен,

а кожа от природы такой нежности и белизны, что не нуждалась ни в какой искусственной косметике. Привлекательный облик обрамлялся спускавшимися на пышные плечи локонами русых, с золотистым отливом, волос, с искрящеюся над челом бриллиантовой диадемой. Но ярче всяких бриллиантов искрились под соболиною бровью жгучие глаза, дарившие всех и каждого, "как рублем", такую пленительную улыбкой, что обаянию ее поддавали одинаково и сильный, и прекрасный пол.

"Неужели ей уже тридцатый год? — думала Лилли, не отрывая восхищенного взора от царственной красавицы. — Она, право же, свежее каждой из нас"...

И взор девочки, сравнивая, скользнул в сторону юной спутницы цесаревны, на которую до того она почти не обращала внимание, но на которую теперь невольно также загляделась.

— Что вы так смотрите на меня? — с улыбкой спросила та, подходя к ней, и взяла ее под руку. — Отойдемте-ка подальше.

— Простите, что я так смотрела... — изви-

нилась Лилли. — Но у вас такое удивительное, точно фамильное сходство...

— С кем? с моей кузиной?

— С кузиной?

— Ну да, с цесаревной: ведь я же — Аннет Скавронская. Отец мой, граф Карл Скавронский, был родной брат императрицы Екатерины Алексеевны. А вы ведь баронесса Лилли Врангель?

— Да... Но от кого вы, графиня, могли слышать про меня?

— Как не слышать про такую прелесть! Слухом земля полнится, — улыбнулась опять в ответ Скавронская. — Нет, милая Лилли, вы не конфузьтесь; я говорю чистую правду. Мне давно хотелось познакомиться с вами; у меня нет ведь никого для конфиденции; а вас все так хвалят... Хотите, подружимтесь?

— Помилуйте, графиня... Я же только младшая камер-юнгфера принцессы...

— Да и я тоже год тому назад была в роде как бы камер-юнгферы у моей кузины. Вам сколько теперь лет? Пятнадцать?

— Да, с половиной.

— Ну, а мне... с тремя половинками! рас-

смеелась Скавронская. — Вы ведь атташированы уже к принцессе. Через год вас точно так же сделают фрейлиной, да еще чьей? наследницы престола! Ну, что же, хотите иметь меня подругой?

— Я была бы счастлива, графиня...

— «Графиня»! А мне называть вас, не правда ли, «баронессой»? Нет, давайте говорить сейчас друг другу «ты». Хорошо?

— Хорошо. Но по имени как мне называть вас?

— Опять «вас»! Называй меня просто «Аннет», а я тебя буду называть «Лилли». Какое хорошенькое имя! Совсем по тебе: ведь ты настоящая полевая лилие, — не то, что твоя гувернерка.

— Какая гувернерка?

— Да Менгденша. Это уж не полевой цветок, а оранжерейный, махровый, без всякого полевого аромата.

Лилли с опаской оглянулась на Юлиану; но та не желала пропустить ничего из беседы принцессы с цесаревной, и ей было не до новых двух подруг.

— Да, все говорят, что мы с кузиной похо-

жи друг на друга, — продолжала болтать Скавронская. — Но куда уж мне против нее! Даже когда она серьезна, глаза ее светятся... А если б ты видела, как она танцует! Это — сама Терпсихора. Да вот на придворных балах ты скоро ужо увидишь.

— Да я еще не придворная дама! — вздохнула Лилли. — Даже на свадьбе принцессы мне нельзя быть.

— Это-то правда... Но под самый конец, в воскресенье, будет большой публичный маскарад с танцами. В маске туда тебя, пожалуй, пустят; я попрошу за тебя. Это будет такое великолепие, что ни в сказке сказать, ни пером описать, прямая мажесте. Для меня этот маскарад имеет еще особое значение... Вот идея-то!

— Какая идея?

Не отвечая, Скавронская подвела Лилли к простеночному зеркалу.

— Смотри-ка: мы с тобой ведь почти одного роста.

— Да что ты задумала, Аннет?

— А вот что, слушай. Только, милая, ради Бога, ни слова своей Менгденше!



— О, я — могила. Но, может быть, это что-нибудь нехорошее?

— Напротив, очень даже хорошее... Мне надо в танцах непременно поговорить с одним человеком. Но долго с одним и тем же кавалером танцевать нельзя; поэтому мы с тобой обменяемся потом костюмами...

— Ах ты, Господи! — вырвалось у Лилли, да так громко, что цесаревна оглянулась и спросила, что у них там такое.

— Да вот Лилли хотелось бы ужасно быть на большом маскараде после свадьбы принцессы, — отвечала Скавронская и подвела подругу за руку к Анне Леопольдовне: — Ваше высочество, великодушнейшая из принцесс! слезно умоляем вас взять ее также с собой на тот маскарад!

Принцесса обернулась к своей фрейлине:

— Как ты полагаешь, Юлиана?

— Невозможно, ваше высочество, — отвечала та, — Лилли — младшая камер-юнгфера...

— А старших нельзя тоже допустить туда вместе с нею?

— Это было бы против регламента: если

допускать на придворные празднества, как равноправных гостей, лиц из низшего персонала, то что же станется с самыми празднествами, на которые приглашены все иностранные посланники? Вы знаете, как строго ее величество относится в этих случаях к этикету. Притом для ваших камер-юнгфер нельзя бы делать исключение: камер-юнгферам самой государыни пришлось бы тоже дозволить быть на маскараде; на всех пришлось бы шить маскарадные платья...

— Правда, правда, — согласилась Анна Леопольдовна: — на всех это вышло бы слишком дорого, а расходов теперь и без того такая масса...

— Простите, принцесса, — еще убедительнее заговорила Скавронская. — Но о всех камер-юнгферах у нас не было и речи. Мы говорим только об одной Лилли; она у нас ведь не простая камер-юнгфера, а ближайшая кандидатка во фрейлины.

— В самом деле, моя дорогая, — поддержала ее тут и цесаревна: — отчего бы нам не доставить девочкам невинного удовольствия попрыгать там вместе? Ведь маскарадный ко-

стюм какой-нибудь швейцарки, например, обойдется не Бог-весть в какую сумму.

Анна Леопольдовна переглянулась опять с своей фавориткой. Та, однако, все еще не совсем поддавалась и ответила за нее:

— Во всяком случае, надо получить сперва согласие обер-гофмаршала, который уже испросит разрешение государыни императрицы.

— Ну, все это пустая формальность, и я вполне уверена, милая баронесса, что вы, если захотите, сумеете уговорить Левенвольде, — сказала Елисавета Петровна, приподнимаясь с канапе, и стала прощаться с принцессой.

Скавронская воспользовалась этим моментом, чтобы шепнуть Лилли:

— Ты будешь, значит, швейцаркой? Другого костюма, смотри, не бери! Да пришьи себе еще на грудь белую лилию; тогда я тебя сразу узнаю. Сама я буду турчанкой; костюм мой уже шьется. Итак — до маскарада!

## **XI. Свадьба и банкет**

**Ц**ерковный обряд столь рокового для будущей «правительницы» брака ее с не менее

злосчастливым принцем брауншвейгским был совершен в назначенный день, 3-го июля 1739 г., в Казанском соборе, без всяких отступлений от определенного церемониала. Сколько в это утро принцессой было пролито слез, — об этом знали только приближенные ей лица женского пола, обряжавшие ее к венцу. Когда она наконец появилась из своих покоев в брачной фате и диадеме со вплетенной в волосы миртовой веткой, опухшие глаза ее были тусклы, но сухи, выражение лица было мертвенно-безжизненно, движение — машинально; бедняжка, видимо, примирилась с своей горькой участью.

В записках современников сохранилось обстоятельное описание всего свадебного поезда, отличавшегося необычайною пышностью. Чтобы не утомлять читателей, упомянем только, что императрица ехала в одной карете с невестой; непосредственно перед ними — герцог курляндский; а ему предшествовали его два сына-подростка с своими слугами, скороходами и гайдуками, 24 собственных его скороходов, 4 гайдука, 4 пажа, шталмейстер, маршал и два камергера с ливрей-

ными его слугами, — все одетые в цвета родной своей Курляндии: оранжевый и голубой; за каретою же государыни следовала цесаревна Елисавета со свитой, а за цесаревной — герцогиня курляндская с дочерью и также со свитой.

Венчал обрученных архиепископ новгородский; а по совершении таинства епископ вологодский Амвросий, известный своим красноречием, произнес витиеватую проповедь, в которой, по поводу древности и знатности рода бракосочетающихся говорилось, что род принца Антона-Ульриха славою, "первейшим богатырям не уступающею", почти всю Европу наполнил, ибо происходит от Витекинда Великого, в XIII-м веке владевшего Саксонию, многократно воевавшего с самим римским императором... Такое же благословение Божие видно и в крови и фамилии принцессы Анны: род ее происходит от королей Оботрицких или Вандальских, от коих происходил Прибыслав II, последний король вандальский, "но первый принц верою Христовою просиевший"... Кто же была мать принцессы, "о том и говорить не надобно, по-

неже всем довольно известно есть: родиться от толь преславной крови есть особливое, дивных судеб Божиих исполненное благословение"...

Об эмблемах в гербе принца брауншвейгского велеречивый панегирист отозвался так: "Вижу в твоём гербе, светлейший принц, три льва, два золотые, один с короною, а третий лазоревый в золотом поле, кровавыми сердцами исполненном; львы изображают твою крепость, мужество и великодушие, а сердца горячую любовь к Богу, отечеству, особливо к невесте, данной тебе ныне от десницы Вышнего".

При этих словах преосвященного Анна Леопольдовна, как многими было замечено, глянула искоса с недоумением на стоявшего рядом с нею молодого супруга, точно и не чаяла в нём таких «львиных» качеств. Когда проповедник затем перешел к восхвалению ее самой, а также ее царственной тетки, принцесса впала опять в прежнюю апатию.

По окончании молебствие императрица взяла в свою собственную карету уже обоих новобрачных, и поезд двинулся, при пушеч-

ных и ружейных салютах, обратно к Зимнему дворцу. Здесь приносились общие поздравления. Вся церемония длилась с 9-ти часов утра до 8-ми вечера, после чего все поздравители разехались по домам, так как не только были до-нельзя измучены, но и страшно проголодались. Только теперь и государыня с молодыми села за стол, к которому была приглашена одна лишь цесаревна Елисавета. Тотчас же после стола им пришлось опять переодеваться к вечернему балу.

"Было уже около трех часов утра, когда я вернулась к себе, полумертвая от усталости писала супруга резидента английского Двора, леди Рондо, в Лондон. — Невозможно составить себе понятие о великолепии наряда каждой из дам, которые все были в робах, несмотря на то, что свадьба происходила в июле месяце, когда тяжелые платья очень неудобны".

За свадьбой последовал целый ряд празднеств. На другой день, в среду, все присутствовавшие накануне на свадьбе «банкетовали» в Летнем дворце под звуки итальянских каватин и пасторалей.

Лилли, не допущенная на свадьбу, не бы-

ла, приглашена, конечно, и на банкет, но совершенно неожиданно для ней самой выступила на банкете действующим лицом. Произошло это так:

Несмотря на согласие принцессы, «Менгденша» (как теперь и сама Лилли называла уже про себя "гувернерку") все еще не удосужилась переговорить с обер-гофмаршалом о дозволении девочке быть на заключительном воскресном маскараде. Лилли позволила себе ей о том напомнить; но фрейлина коротко ее обрезала:

— Ты думаешь, что у меня только и есть теперь забот, что о тебе? При удобном случае скажу как-нибудь Левенвольде.

Но такого случая ей, должно-быть, не представилось. Так наступило банкетное утро. Лилли поведала свое горе мадам Варленд, единственной, принимавшей в ней более сердечное участие.

— Что же делать, дитя мое? — сказала та. — Чтобы порассеетсяя, пойдика, посмотри, как мадам Балк убирает банкетные столы.

Г-жа Софие Балк, придворная кастелянша, с подчиненными ей прислужницами и прач-



ками, несколько дней уже занималась убранством банкетных столов в особой "овошенной палате", куда придворный кухеншрейберзь Иван Василевский поставлял ей из своего запаса требуемое количество искусственных цветов, а садовый мастер Микель-Анджело Массе из оранжерей Летнего сада — живые цветы. Скатерти на столах подшиливались булавками и перевязывались алыми и зелеными лентами; сверху устанавливались пирамиды цветов, а на главном столе, за которым должны были поместиться сама императрица, молодые, цесаревна Елисавета да герцог Бирон с своим семейством, ставилась еще банкетная горка, украшенная короной, скипетром и золочеными мечами.

Лилли нашла работу кастелянши почти законченною; столы были перенесены уже из "овошенной палаты" в «Большой» зал, где мадам Балк отдавала последнее приказание. Увидев входящую Лилли, она ее приветствовала с радушной простотой:

— А! это вы, баронесса? Полюбуйтесь нашей работой, полюбуйтесь.

Очень довольная, казалось, что есть перед

кем похвалиться, она, подбоченясь обеими руками, принялась обстоятельно объяснять девочке разницу между банкетами и обыкновенными «куртагами»: куртаги при Дворе бывают ведь каждую неделю по два раза: по четвергам да воскресеньям; хотя на них и сезжаются особы четырех первых классов да гвардейское офицерство, но забавляются там только карточной игрой да ушами хлопают на «камерную» музыку итальянцев. «Банкеты» — совсем иное дело: они даются только в царские и другие торжественные дни.

— Да что же вы молчите, баронесса? — прервала сама себя словоохотливая кастелянша, как будто обиженная тем, что не слышит похвал. — О чем вы задумались?

— Я вспоминаю свадебные столы у нас в Лифляндии... — отвечала Лилли.

— Да что они там разве еще наряднее?

— Не наряднее, нет; но...

— Но что?

— Вместо этих искусственных цветов и лент, там все живые цветы; кресла молодых увиты гирляндами, а куверты — венками из роз и миртов.

— Но ведь это, в самом деле, должно быть премило! Какая жалость, право, что я раньше-то этого от вас не слышала...

— А разве вы не поспеете еще это сделать?

— Да о всяком отступлении от регламента надо доложить обер-гофмаршалу.

— А я бы ему и не докладывала! Понравится государыне и молодым, так гофмаршал и рта не разинет.

— Какая вы храбрая! Разве уж сделать маленькую пробу над креслами и кувертами молодых?

— Ну, конечно, мадам Балк. Вы сами увидите, как это красиво.

— Ах, баронесса, баронесса! Посадили вы мне блошку в ухо... Попробуем уж на ваш и на мой страх.

И энергичная барыня послала тотчас к садовнику за зеленью и цветами. Через полчаса времени кресла обоих молодых были уже в пышных гирляндах, а приборы их — в розах и миртах.

Тут влетел камерпаж и махнул рукой капельмейстеру на хорах. Оттуда грянул торжественный марш. Все кругом заметались.

— ее величество вышла из своих покоев!

Лилли успела только юркнуть в боковую дверь, но, обернувшись на бегу, заметила еще обер-гофмаршала и маршала, чинно и важно с своими маршалскими жезлами открывавших шествие перед императрицей и молодыми с их свитой.

Добежав к себе, девочка остановилась посреди комнатки и глубоко перевела дух.

"А что, если мадам Балк вдруг назовет имения? На всякий случай перевязать косичку хорошенькой бархаткой"...

Едва она справилась с этим делом, как влетел паж.

— Вы здесь, баронесса? Пожалуйте к государыне.

Сердечко в груди у нее так и екнуло, душа в пятки ушла.

— Мадам Балк тоже там?

— Там. Она же и говорила про вас.

— Так и есть! Но государыня не гневается?

— Ай, нет, напротив, она в самом лучшем расположении духа.

Это несколько подбодрило Лилли. Когда она входила в «Большой» зал, сотни глаз на-

правились на нее. Сама же она видела только государыню за главным столом, да стоявшую за ее креслом, рядом с прислуживавшим камергером, г-жу Балк.

— Так вот она, наша искусница, — промолвила Анна иоанновна своим густым, почти мужским баритоном, окидывая Лилли ласковым взглядом. — Ты оказала нам в сей великий день преизрядную радость. Чем бы и нам тебя порадовать?

"Проси же, проси!" подбивала сама себя Лилли, и сокровенное желание было у нее уже на губах. Но губы ее не размыкались, а застенчивый взор умоляюще скользнул на новобрачных.

Поддержки ждать от них ей было, однако же, бесполезно. Оба сидели как в воду опущенные, а у принцессы глаза были еще заплаканы, и бледность щек не скрашивалась даже наложенными на них румянами.

Лилли взглянула тут на цесаревну, и что же? Та тотчас пришла к ней на помощь:

— Ваше величество! девочка обробела. Не позволите ли мне дать за нее ответ?

— Говори.

— У нее одна мечта — попасть в это воскресенье на публичный маскарад.

— Ох, детство, детство! И танцевать, верно, до страсти любишь?

— Люблю, ваше величество... — смущенно пролепетала Лилли.

— Но прыгаешь еще, может, трясогузкой? Так балетмейстер наш Флере маленько тебя подучит.

Милостивый прощальный кивок, — и оторопевшей, но счастливой девочке оставалось только сделать возможно грациозный благодарственный реверанс.

**Конец I части.**

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

\* \* \*

## I. Контрабандой

**К** середине свадебной недели весь Двор до того изморился, что в четверг была сделана общая передышка.

В пятницу же с самого полудня в Зимнем дворце состоялся парадный бал-маскарад, к которому были допущены только особы высокопоставленные или «аташированные» к Царской фамилии. Для тех же избранных особ был в субботу на придворной сцене оперный спектакль-gala.

Зато к назначенному на воскресенье, 8-е июля, заключительному «публичному» маскараду (как значилось в разосланных печатных приглашениях) "имели приезд все придворные и знатные персоны и чужестранные, а также дворянство с фамилиями, кроме малолетних, в приличных масках, с тем, чтоб платья пилигримского и арлекинского не было, тако ж не отваживались бы вздевать каких непристойных деревенских платьев, под опасением штрафа".

Братья Шуваловы, уже по званию камер-юнкеров цесаревны, присутствовали при всех перечисленных празднествах, но и их, подобно Лилли Врангель, всего более интересовал воскресный маскарад, для которого оба заблаговременно заказали себе «пристойные» платья: старший брат, Александр, — плащ бедуина, а младший, Петр, — доспехи средневекового рыцаря.

Петру Ивановичу, однако, так и не пришлось пощеголять в своих доспехах. В самый день маскарада он дежурил днем во дворце цесаревны.

Когда он тут с дежурства собрался во свои и взбегал к себе наверх в третий этаж, по обыкновению, через две ступени на третью, то второпях оступился; нога у него подвернулась, и невыносимая боль едва-едва дала ему возможность доплестись до дивана в кабинете. Самсонов слетал тотчас же за лейб-хирургом Елисаветы Петровны, Лестоком. Тот, ощутив больное место, нашел, что опасности никакой нет, но что вытянута жила и что пациенту обязательно должно пролежать день-другой с арниковой примочкой на силь-



но-опухшей ноге. Так старший Шувалов, завернувший перед маскарадом домой, чтобы облечься в свой белый бедуинский плащ, застал младшего брата в самом дурном настроении распростертым на диване с компрессом на ноге и с книжкой в руках.

— Значит, богиня твоя Диана на маскараде тебя так и не дождетя? — заметил он. — Если она про тебя спросит, то что сказать ей? что прикован к своему дивану?

— Ну да, как Прометей к скале! — проворчал в сердцах Петр Иванович.

"Подлинно Прометей! иронизировал он сам над собой по уходе брата. — Точно мальчишка поскользнулся и сам себя наказал! Там все уже сезжаются на общее веселье, а ты вот лежи пластом и утешайся какой-то книженкой. Как это глупо, ах, как глупо!"

В это время из передней донесся нетерпеливый звонок, а затем стук отворяемой двери и возглас Самсонова:

— Вы ли это, Михайло Ларивоныч?

— Собственной, брат, персоной, — отвечал веселый голос, и в комнату ворвался красивый молодой офицер.

— Воронцов! — вскричал Шувалов и, полуприподнявшись на диване, протянул ему обе руки. — Как ты вырвался сюда, дружище?

Приетели крепко обнялись и расцеловались.

— Да что у тебя, Пьер, с ногой-то? — спросил Воронцов.

Петр Иванович стал объяснять. Тут в дверях показался старший камердинер, Ермолаич.

— С приездом, батюшка, Михайло Ларивич! Нежданный друг лучше жданных двух; аль только на побывку?

— На побывку, старина, и контрабандой.

Старик всплеснул руками.

— Самовольно, значит, без ведома герцога?

— Похоже на то.

— Эка гисторие! Да ведь тебя, батюшка, он сам же и спровадил отселе к чорту на кулички в линейные полки? Как проведает про твое самовольство, так жди от него всяких пакостей: разжалует в рядовые, а не то и в арестантские...

— Бог не выдаст — свинья не сест! — был легкомысленный ответ. — Ну, а теперь, старина, можешь опять благородно отретироваться

в собственные апартаменты. У нас с Петром Ивановичем свои private дела.

— Private дела! Ну, подумайте! — ворчал себе под нос старик, "благородно ретируюсь". — И покалякать-то толком не дадут...

— Так разве и полковой командир не знает о твоей отлучке? — продолжал, между тем, допрашивать Шувалов.

— Командир-то знает; но отлучился я под претекстом якобы к родным в деревню. Были у нас, видишь ли, на днях большие маневры. Я с моей ротой пробрался ночью окольными путями в тыл неприятелю, напал врасплох на их главную квартиру и захватил самого командира со всем его штабом в постели.

Шувалов расхохотался.

— Однако! Воображаю, как они тебя благодарили. Ну, и ты увел их в свой лагерь?

— Взял с них только слово считать себя военнопленными. Это решило исход маневров. Мой командир хотел было представить меня за то вне очереди к следующему рангу...

— А ты неужели отказался?

— Отказался, и по двум причинам: во-первых, было бы не по-товарищески на чужой

оплошке выгадывать себе служебный фортель... Во-вторых...

— Ну, что же во-вторых?

— Во-вторых, я мог выпросить себе, заместо того, негласный отпуск, который был мне до зарезу нужен, чтобы... чтобы оглядеться здесь опять в придворных сферах.

— Ты, Мишель, и лгать-то без запинки не умеешь. Скажи прямо, что не в-терпеж стало в долгой разлуке с своей душой-девицей.

— Да ты, Пьер, это про кого?

— Про кого, как не про ту, из-за которой собственно ты и вылетел тогда из Петербурга.

— От тебя, брат, я вижу, ничего не скроешь. Но ты еще не знаешь, что у нас с нею были уже декларасионы, что мы тайным образом помолвлены.

— Нечто подобное я уже подозревал. Ведь вы с графиней Анной Карловной заметили друг друга еще тогда, когда ты был кадетом в шляхетском корпусе.

— Да, цесаревна приезжала к нам в корпус зачастую с своей кузиной на всеобщные, отстаивала всю службу. Уже тогда мы поняли с Аннет, что созданы друг для друга. Когда же я

вышел в офицеры, мы обменялись кольцами. Ни тебе, никому другому я об этом пока не сказывал, чтобы не было, знаешь, медизансов. Но Бирон чрез своих ищеек все-таки, видно, кое-что пронюхал...

— И разлучил вас, потому что ты, как муж кузины цесаревны и притом офицер гвардии, мог быть для немецкой партии весьма опасен.

— Ну, вот. А на днях я получил цидулочку от Аннет, что нынче-де на публичном маскараде в Летнем дворце мы могли бы встретиться без всякой опаски. Раздобыть бы только приличный костюм...

— И входный билет, без которого тебя не впустят, — добавил Шувалов. — На твое счастье я, как видишь, не в состоянии воспользоваться ни своим костюмом, ни своим билетом, и могу отдать их в полное твое распоряжение. Самсонов!

— Иди, иди! — донесся из лакейской ворчливый голос Ермолаича. — Начудесил, ну, и кайся.

— Да что у вас там? — теряя уже терпение, крикнул Шувалов.

— Не одет я, сударь... — отозвался наконец Самсонов.

— Врет, врет! одет! — обличил его старик. — Чего стал, шелопут. Иди, иди на расправу. Ишь ты! ровно бык перед убоем упирается.

И с напряжением всех своих старческих сил, Ермолаич втолкнул в комнату к господам средневекового рыцаря.

В первый момент Петр Иванович готов был, кажется, не на шутку рассердиться, но юный «шелопут» в своих, на вид тяжелых стальных, на самом же деле картонных доспехах, оклеенных только сверху серебряной бумагой, остановился посреди комнаты в такой безупречно-рыцарской позе, что господин его, зараженный смехом приятеля, сам также добродушно рассмеелся.

— Ах, ты, шут и пьеро! Ведь пустить его этак на придворный маскарад, так никто, пожалуй, не признал бы в нем лакея.

— Ну, а теперь, Самсонов, разобалакивайся-ка опять, — сказал Воронцов: — на маскарад отправляюсь сейчас я вместо твоего барина.

— Ваше благородие, Михайло Ларивоныч! взмолился тут Самсонов. — Явите божескую милость: возьмите меня тоже с собой!

— Эко слово молвил! Тебя все равно ведь не пропустят.

— Меня-то с вами пропустят: многие служители придворные меня в лицо знают; а для послуг, неравен час, я могу вам еще пригодиться.

— Нестерпимо, вишь, любопытен посмотреть тоже на этакий маскарад, — поддержал его Ермолаич. — Возьми-ка его уж, сударь, чтобы тебе одному, грешным делом, какого дурна там не учинилось. Малый он шустрый.

— А чтож, и в самом деле, — обратился к Воронцову Шувалов. — Пускай уж идет с тобой; все вернее. Про рыцарский костюм мой слышала от меня до сих пор одна только особа. По походке, по голосу она, чего доброго, догадается, что это не я, а кто другой.

— Ну, походку и голос можно всегда изменить. А кто та особа?

— Юлиана Менгден. Сама она, имей в виду, будет маскирована Дианой.

— O! la belle Julie? Но мне она, ты знаешь,

не опасна. Ну, что же, Самсонов, скоро ли?

## II. Венецианская ночь

"Публичным" маскарадом в Летнем дворце завершился, как сказано, цикл всех придворных празднеств по случаю вступления в брак наследницы престола; уже поэтому он должен был быть еще пышнее и разнообразнее бывшего за два дня перед тем «парадного» маскарада в Зимнем дворце. Там танцевали четыре кадрили, по 12-ти пар в каждой, и каждая кадрили в одноцветных домино; а ужину, приготовленному в галлерее, был придан вид сельского праздника: столы и скамейки были все в зелени и цветах. «Публичный» же маскарад должен был происходить, в начале вечера, среди настоящей природы, под открытым небом — в Летнем саду и на прилегающей к нему реке Фонтанке в виде "венецианской" ночи, а танцы и ужин потом — в стенах дворца. Неудивительно, что большинство приглашенных на этот совершенно исключительный праздник ожидало его с большим нетерпением.

Едва ли, однакож, не более всех волновалась Лилли Врангел. Всякий день вплоть до



воскресенья являлся к ней, согласно выраженной императрицею воле, француз балетмейстер придворного театра, мосье Флере, толстенький старичок с пухлыми розовыми щечками, в голубом фраке с остроконечными фалдами, со скрипичей в одной руке и с хлыстом в другой. Наставляя девочку в па и пируэтах, он безцеремонно выгибал ее стан, вывертывал ей носки и локти. Каждое движение он иллюстрировал ей сперва сам, и, приподнимая кончиками пальцев свой ласточкин хвост, подпрыгивал с легкостью мячика. Когда же ученица, под писк его скрипицы, принималась выделывать то же самое, он с отечески-нежной улыбкой похлестывал ее по ногам:

— *Plus haut, chère demoiselle, un peu plus haut!* (Выше, милая барышня, еще немножко выше!)

На такое обращение Лилли пожаловалась было баронессе Юлиане, но получила в ответ:

— Все мы, моя милая, прошли ту же школу. Как видишь, это не то, что скакать верхом без седла!

"А как охотно я поскакала бы опять!" —

вздохнула про себя девочка, не подозревая, что вскоре ей действительно суждено скакать так, да еще публично.

Хотя она за эти дни изрядно подучилась у мосье Флере в придворных танцах, хотя сшитый для нее скромный, но живописный костюм швейцарки бернского кантона и обрисовывал очень мило ее стройную талью, а под маской ее вряд ли кто и узнал бы, — но по наслышке ей было известно, что маски, меж собой даже не знакомые, свободно разговаривают меж собой и говорят друг другу «ты». Ну, что, если и с нею тоже кто-нибудь этак зоговорит?

Нарядилась Лилли в свой костюм еще за целый час до начала маскарада, чтобы, в качестве камер-юнгферы, помогать при одевании принцессы; причем не забыла, конечно, как просила ее Аннет Скавронская, приколоть к груди белую лилию.

В XVIII веке и у нас, по примеру Западной Европы, знание мифологии древних греков и римлян считалось одним из краеугольных камней образования людей высшего круга. Пробелы в других научных познаниях так

удобно ведь прикрывались в светской болтовне аллегориями из жизни мифических небожителей и героев. А при маскарадах обойтись без мифологии положительно не было уже возможности. Анна Леопольдовна, посвященная еще с детства своей гувернанткой, мадам Адеркас, в тайнства этой «науки», выбрала себе сперва было для маскарада роль Ниобеи.

— Кто, бишь, была Ниобее? — спросила ее царственная тетка, не столь сведущая в тонкостях мифологии.

Принцесса объяснила, что Ниобее, дочь Тантала, лишившись всех своих детей, была обращена Зевсом в камень, источавший неизсякающие слезы. Императрица справедливо возмутилась и повелела изготовить для племянницы одеяние богини плодородия и матери земли, Цереры. Одевание вышло необычайно, пожалуй черезчур даже богато, потому что было все заткано золотыми колосьями, сплетенными меж собой гирляндами из голубых васильков и пунцовых маков.

— Я в этом не выйду, ни за что не выйду! — запротестовала Анна Леопольдовна, когда увидела себя в трюмо в образе Цереры.

Юлиана принялась ее уговаривать: что костюм ей очень к лицу, что сама государыня ведь его выбрала, что другого и нет...

— Ну, тогда я вовсе не выйду! — решила принцесса. — Еще подумают, что я на радостях так разрядилась...

— И пускай думают: на вас и на ваших будущиx детях — вся надежда русского народа.

— Не говори мне об этих детях! Никогда их у меня не будет...

— Так для чего же вы тогда вышли замуж? А вон в саду и военная музыка заиграла...

Лилли подбежала к окошку.

— И масок уже сколько!

Тут вошел камерпаж императрицы с докладом, что ее величество чувствует себя еще слишком усталой и выйдет только позже прямо в танцевальный зал, а потому просит принцессу вместе с принцем спуститься в сад без нее.

— Вот видите ли, ваше высочество, — сказала Юлиана: — вы должны заменить государыню; выбора вам уже нет.

— Ах, Боже, Боже! Пускай еще больше смеркнется...

— Да ведь теперь у нас в Петербурге белые ночи.

— Ну, все же будет хоть немножко темнее.

— А принц, верно, ждет вас.

— Подождет!

Последний отблеск вечерней зари погас уже на верхушках Летнего сада, и в темной листве его зогорались разноцветные фонарики. В пестрой толпе замаскированных, кружившейся около главного крыльца дворца в ожидании выхода Высочайших особ, замечались уже признаки нетерпения, когда на крыльце показалась Церера об руку с Нептуном. Хотя оба были также в черных масках, но ни для кого кругом не было сомнения, что то принцесса с своим молодым супругом, — и все почтительно перед ними расступились.

Лилли, шедшая во свите рядом с Юлианой, старалась и в осанке, и в походке копировать гордую гофfreyлину; под маской, придававшей ей небывалую смелость, она выступала так непринужденно, что никому бы и в голову не пришло, что это — подросток-камер-юнгфера, а не такая же придворная дама.

Сама Лилли с жадным любопытством ози-

ралась на мелькавших мимо них маскированных. В памяти ее были еще живы святочные вечера в тамбовской усадьбе Шуваловых. Там ряженые шумной гурьбой вваливались в барские хоромы с замазанными сажей лицами, в вывороченных овчинных тулупах, в самодельных личинах: медведя с поводарем, бабы-яги, журавля, индейского петуха и т. п.

Здесь чинно и важно расхаживали, в сверкающих золотом и алмазами, шелковых и бархатных одеяниях, древние боги и богини, представители всевозможных народностей всех пяти частей света, причем то, что израсходовано было каждым на себя для одного этого вечера, могло бы осчастливить на весь век целое семейство деревенских ряженых.

Когда Лилли тихонько заметила об этом Юлиане, та сделала ей серьезный реприманд: как это она может еще вспоминать о простом народе, когда вокруг нее сливки общества, да еще в таких дивных нарядах! Вот хоть бы эта Урание...

Она указала на величавую женщину в полупрозрачном голубом одеянии, усыпанном алмазными звездами, в алмазном ожерелье и

в алмазной же диадеме.

— Урание, кажется, одна из девяти муз? — заметила Лилли.

— Ну да: богиня астрономии.

— А кто ж она на самом-то деле?

— На самом деле это — первоклассная комета на нашем придворном небосклоне, залетевшая к нам из Венеции, графиня Рагузинская.

— Но фамилие у нее как-будто не итальянская?

— Рагузинская она по покойному мужу, который родом был из Иллирии. Впрочем, и сам он назывался прежде как-то иначе; переселившись еще при царе Петре в Россию, он переименовался в Рагузинского, так как родился в Рагузе. Женился он, когда ему было уже чуть ли не под семьдесят.

— Но сама она, кажется, еще молода?

— Да, ей и теперь не больше, как лет двадцать пять.

— Но как она решилась выйти за такого Маэусаила!

— Богатство, моя милая, несметное богатство! Начал он торговать, говорят, в Архан-

гельске; расторговавшись, сделался агентом многих иностранных торговых домов; посылался русским правительством с разными поручениями за границу, а потом и чрезвычайным посланником в Пекин, чтобы заключить торговый договор с китайцами. За это его сделали тайным советником.

— А после и графом?

— Нет, графский титул он купил себе сам на старости лет в Венеции, как купил там и жену. Богаче ее невесты нет у нас теперь во всем Петербурге. И вот, точно для нее, венецианки, устраивается теперь эта венецианская ночь... Но смотри-ка, смотри: ведь Пьер Шувалов все-таки здесь; а дал еще знать через брата, что у него случилось что-то с ногой.

— Где же он?

— Да вон рыцарь. Делает, что меня не замечает!

— Но знает ли он, что вы — Диана?

Фрейлина не дала уже ответа. Принцесса и принц подошли к спуску к реке, где стояла целая флотилие шлюпок с зонтиками, увешанными также цветными фонариками.

— Как есть Венеция! — говорили друг дру-



гу маскированные, размещаясь по шлюпкам.

"Венеция!" повторяла про себя и Лилли, подсаживаясь к Юлиане, занявшей место рядом с принцессой.

Тогдашняя Фонтанка, берега которой еще не были обложены гранитом, в действительности, очень мало походила на венецианские каналы, омывающие мраморные ступени гордых палаццо. Но в шлюпке, среди богато-наряженных масок, в волшебном полусумраке от разноцветных фонариков, неизбалованной зрелищами Лилли невольно сдавалось, что она в настоящей Венеции. Когда же тут с задней шлюпки, предоставленной итальянским оперным певцам, раздалась еще звучная баркарола, и под ее переливы вся флотилие выплыла из Фонтанки на Неву, как бы из лагун на морской простор, — иллюзия стала еще обманчивее. Девочка безотчетно начала сама подпевать, так что Юлиана должна была сделать ей внушение.

Когда флотилие, повернув обратно в Фонтанку, приближалась опять к пристани у Летяго сада, со стоявшей у противоположного берега барки грянул сигнальный выстрел и к

сумеречному небу начали взлетать, шипя и лопаясь, ракета за ракетой: швермеры, жаворонки, римские свечи; затем по обоим концам барки, с шумом водопада, завертелись огненные колеса, а по середине зогорелся огромный транспарант, представлявший какую-то аллегорическую картину. Смысла ее Лилли, однако, так и не успела разгадать: весь Летний сад вдруг осветился бенгальскими огнями, и все сидевшие в шляпках поспешили, вслед за принцессой, сойти на берег.

— А вон и Гриша! — обрадовалась Лилли, увидев Самсонова, который в своей ливрее и без маски стоял в стороне, прислонившись к дереву.

— Какой Гриша? — спросила Юлиана.

— Да мой молочный брат, что служит у Шуваловых.

— Может быть, он здесь только со старшим своим господином... Вот что, Лилли, пойдика, спроси его: действительно ли Пьер Шувалов остался дома?

— Так подойдемте к нему вместе.

— Да разве я могу оставить принцессу! Ты ведь в маске и преспокойно войдешь потом

одна во дворец. Смотри только, не заболтайся с ним.

— Нет, нет.

Очень довольная представившимся ей случаем обменяться опять хоть парюю слов с товарищем детства, с которым не виделась с первой встречи в Петербурге, Лилли подошла к Самсонову.

— Здравствуй, Гриша!

Он сразу узнал ее по голосу.

— Это вы, Лизавета Романовна? А я-то все гляжу гляжу, все глаза себе проглядел; под маской и не узнать: которая вы? Мне надо еще поблагодарить вас...

— За что?

— Да за то, что не велели без пути болтаться. Я теперь ведь и книжки уже читаю, и с прописей списываю, и задачки решаю.

— Вот как! А кто же тебя всему этому учит?

— Учит меня муж ученый, Василий Кириллыч Тредиаковский.

И в коротких словах он рассказал, как сделался учеником академического секретаря.

— А для чтение он, верно, дает тебе все больше свои собственные сочинение? —

спросила с улыбкой Лилли, которая как-то слышала также про непомерное самомнение стихотворца-философа.

— Вестимо, не без того; но занятнее всего для меня все же две рукописные книжки: одна — летописца московского с царства иоанна Васильевича Грозного по царство тишайшего царя Алексея Михайловича; другая — боярина Матвеева в бытность его в Голландии. Все мое досужное время так на это и уходит. Очнуться не успеешь, как и день прошел.

— Вот видишь ли, Гриша. Я так уже за тебя рада! Пожалуй, Третьяковский возьмет тебя потом еще писцом в свою канцелярию.

— Там, Лизавета Романовна, тоже не рай земной. Да и господин мой, Петр Иваныч, меня от себя не отпустит.

— Ах, да, кстати, Гриша; хорошо, что про него напомнил. Где он теперь: здесь тоже или дома?

— Дома: лежит в растяжку на диване с перевязанной ногой.

— Ей-Богу?

Самсонов перекрестился.

— Вот вам крест. А что?

— Да нам попался тут между маскированными тоже какой-то рыцарь...

Самсонов усмехнулся.

— Ты чего ухмыляешься, Гриша? Верно знаешь, кто он такой?

— Может, и знаю.

— Скажи! ну, скажи!

— А вы никому не перескажете?

— Никому, кроме баронессы Менгден.

— В таком разе, простите, не смею сказать.

Любопытство девочки было сильно возбуждено.

— И мне одной не скажешь?

— Вам одной?.. Побожитесь тоже.

— А без того ты мне не веришь?

— Верю, верю. Это, изволите видеть, один давнишний друг и приятель господ Шуваловых, Воронцов Михайло Ларивоныч. Герцог за что-то выслал его из Питера, а он тайком, вишь, сюда пожаловал, чтобы побывать тоже на этом маскараде. Петр Иваныч и одолжил ему свое собственное рыцарское платье.

"Значит, ему же Аннет и назначила здесь свидание!" — сообразила Лилли.

— Теперь-то мне все ясно! сказала она

вслух. — Но мне пора уже итти. Прощай, Гриша!

### III. Лилли танцует

Танцевальный зал сиел сотнями зажженных восковых свечей на люстрах и канделябрах; воздух кругом был напоен благовоными куреньями. В ожидании Высочайшего выхода, маскированные становились рядами по двум продольным сторонам зала.

Лилли очутилась, сама не зная как, в заднем ряду, прижатою в угол. Тщетно поднималась она на цыпочки, чтобы высмотреть Юлиану или Аннет. Ни той, ни другой в зале не было, как не было никого из Царской фамилии и семейства Бирона. Все они, очевидно, должны были участвовать в церемониале Высочайшего выхода.

И вот, предшествуемая обер-гофмаршалом графом Лёвенвольде, которого, не смотря на его черную маску, не трудно было узнать в этом крылоногом вестнике богов с золотым жезлом, обвитым двумя змеями, — в дверях из внутренних палат показалась императрица. Сама она, в отличие от всех своих гостей, не была замаскирована и была одета в бе-

ло-атласную робу с богатыми по подолу узорами, с тяжелым пятиаршинным шлейфом, поддерживаемым двумя пажами. Полный бюст ее был сжат в корсете с острым мыском, точно в стальном панцире; а на открытые плечи спускались локоны высоко-взбитой прически, украшенной жемчужною, с бриллиантами, диадемой. И все эти самозваные небожители раболепно преклонялись перед землею, но настоящею царицей.

Появление ее было приветствовано с хоров шумным маршем. По болезненному состоянию в последнее время сама не участвуя ни в каких танцах, государыня сделала знак следовавшим за нею начать "английский променад". В первой паре выступила принцесса Анна Леопольдовна с английским резидентом Рондо в образе султана Гаруна-аль-Рашида, во второй — с принцем Антоном Ульрихом цесаревна Елисавета в виде русской боярыни, в третьей — Юнона с Марсом, в которых, по их надменной осанке, Лилли с первого взгляда признала супругов Биронов.

Пара следовала за парой. Вот и средневековый рыцарь об руку с турчанкой. Так, значит,

и есть! Ведь Аннет выбрала себе костюм турчанки.

Тут окружающие ряженые справа и слева стали парами примыкать также к общему ряду «променирующих».

— Позвольте, барышня, итти с вами? — услышала Лилли около себя звучный голос с мягким малороссийским говором.

Перед нею стоял стройный, статный боярин. Видя ее нерешительность, он прибавил:

— Я Разумовский. Меня послала к вам сама цесаревна.

Лилли, уже не колеблясь, подала ему руку. Но, идя с ним в "променаде", она старалась припомнить, что слышала про Разумовского:

"Да! Ведь это тот самый малоросс, который у себя на Украине был простым пастухом, но за свой чудный голос был взят певчим в приходскую церковь и у дьячка научился церковному пению и грамоте; а потом, когда набирали в Малороссии певчих для придворного хора, попал и в Петербург, сделался здесь певцом-солистом цесаревны и, наконец, управляющим ее имением"...

Размышляя так о своем кавалере, Лилли



двигалась об руку с ним под звуки марша, в нескончаемой веренице маскированных, по всей анфиладе парадных апартаментов дворца, чтобы затем возвратиться снова в танцевальный зал.

Тут на смену «променада» оркестр заиграл ритурнель к контрдансу. Разумовский, не выпуская руки Лилли, стал с нею в ряд танцующих.

"Чудак! думала про себя Лилли. — Послали его ко мне, так он считает священным долгом не отходить от меня уже целый вечер. И хоть бы рот раскрыл! А то молчит, как рыба. Ободрить его разве?"

— Вы ведь, кажется, в особенном фаворе у цесаревны? — начала она разговор.

— Благодетельница она моя... — пробормотал он. — Разумом острая, сердцем добрая, жалостливая...

И опять застенчиво умолк.

Начался контрданс. Тогда танцевали его совсем не так, как в наше время: и кавалеры, и дамы самым старательным манером выделяли отдельные па. Впервые в жизни танцуя на большом придворном балу, Лилли

прилагала с своей стороны все усвоенное ею от придворного балетмейстера умение, чтобы не ударить в грязь лицом. Тем не менее она невольно поглядывала все в одну сторону, любуясь на молодую боярыню, каждое движение которой было полно неподражаемой грации.

— Ведь это цесаревна? — спросила она своего кавалера. — Она, в самом деле, не танцует, а порхает...

— Як ластивочка, як витер у поли! — отозвался Разумовский с непритворным обожанием.

Только-что контрданс пришел к концу, как к ним подлетела Скавронская и, подхватив Лилли под руку, увлекла вон из зала.

— Ну, милочка, теперь пойдем переодеваться.

— Но ты танцевала ведь уже с своим рыцарем и променад, и контрданс.

— Да, но твоя Менгденша обратила уже внимание; она принимает его ведь за своего Шувалова.

— Так ты с ним еще не ноговорилась?

— Куда! Ведь мы с Мишелем не виделись

больше года. Он прибыл сюда из своего полка без всякого разрешения...

— Как! И Бирон, значит, тоже ничего не знает?

— Ничего, и не дай Бог, чтобы узнал: ведь он же и выслал Мишеля из Петербурга. Я все это тебе как-нибудь расскажу. Но сейчас будет менуэт. Чтобы танцевать опять с ним, я должна быть в другом виде; мы с тобой опять обменяемся костюмами.

В Юлиане, действительно, заговорила уже как-будто ревность: пользуясь паузой в танцах, она подошла к своему воображаемому рыцарю. Хотя Воронцов и слышал давеча от Петра Шувалова, что гофрейлина принцессы будет замаскирована Дианой, но положительно забыл уже про ее существование. Когда она вдруг предстала теперь перед ним в образе девственной богини охоты с полумесяцем во лбу, с колчаном; полным стрел, через плечо и с золотым луком в руке, - он невольно вздрогнул.

— Что, трепещете, г-н рыцарь? — обратилась к нему по-французски Юлиана. — Вы нарочно будто убегаете от меня.

— Трепещу, божественная, и убегаю без оглядки: от ваших стрел нет никому ведь пощады, — отвечал Воронцов, стараясь изменить свой голос. — Горы и дебри кругом оглашаются стонами раненых вами зверей...

— А вы какой же зверь: олень, кабан или заяц?

В таком шутливом духе продолжалась их болтовня несколько минут, когда Юлиана увидела возвращающихся в зал швейцарку и турчанку.

— Вот и ваша турчанка, — сказала она. — Но она, боюсь я, обратит вас в свою могометанскую веру; а многоженство у нас строго запрещено! Поэтому позвольте дать вам в спутницы добрую христианку.

И, подойдя с ним к швейцарке, которую принимала за Лилли, она объявила ей, что вот г-н рыцарь желал бы протанцовать с нею медуэт. Швейцарка робко протянула ему руку, но когда отошла с ним вон, то прыснула со смеху:

— Она хотела наказать нас обоих, но мы ей великодушно простим!

К турчанке в то же время приблизился Ра-

зумовский, считавший ее Аннет Скавронской, и почтительно просил «графиню» не отказать ему в менуэте. Волей-неволей Лилли пришлось войти в роль подружки и занять с ним в третий раз место в ряду танцующих.

Под медленный ритм менуэта, этого по истине аристократического танца, задвигались по зале безчисленные маски, с изысканной грацией обмениваясь с соседями направо и налево почтительно-важными поклонами.

Есть секта «скакунов», доходящая в своих фанатических "радениях" до такого экстаза, что заражает наконец и посторонних зрителей.

Нечто подобное случилось в настоящем случае и с Лилли, которая, впрочем, и раньше уж была большой поклонницей менуэта. Увлеченная примером всех окружающих, она всем существом своим отдалась прелести изящных телодвижений, согласованных с музыкальным ритмом. Ей было теперь уже не до пустых разговоров с своим кавалером, которые нарушили бы только гармонию танца.

Но на этот раз молчальник счел себя, видно, обязанным занять мнимую кузину цеса-

ревны:

— А слышали, графиня, последнюю новость?

— Какую?

— Ось казусное дело: до ужина из дворца ни души уже не выпустят.

— Это почему?

— А потому, что сюда, слышно, пробрался в маске непрошенный гость. Перед ужином все должны будут снять маски; тут его, сирому, и сцапают. Нехай Бог его милуе!

Лилли ахнула.

— Но кто это распорядился? — спросила она. — Верно сам герцог?

— Враг его знае. Видел я только, что Липпман вертелся все вокруг него да около; а где этот Искарот, там верно уж какая ни есть каверза и пакость.

Куда девались беззаботность и упоение Лилли! Ей было теперь уже не до менуэта; она то и дело поглядывала на Воронцова, как ни в чем не бывало танцовавшего со Скавронской. С последним же звуком оркестра она подлетела к Воронцову со словами:

— Спасайтесь: вас узнали и хотят аресто-

вать!

#### IV. С черного крыльца

После своего разговора с Лилли, Самсонов некоторое время еще послонялся по иллюминированному саду. Когда же все маскированные вошли во дворец, и из-за освещенных окон танцевального зала донеслись звуки торжественного марша, он решился попытать счастья: не удастся ли ему также пробраться во дворец.

В дверях парадного крыльца торчал саженный швейцар с золотой булавой, а за ним в вестибюле толпились всевозможные лакейские ливреи.

"Этих дальше не пустили; значит, и мне тут нет ходу, рассуждал сам с собою Самсонов. — Обойдем кругом.»

Со стороны Фонтанки, действительно, оказалось заднее крыльцо, оберегаемое единственным сторожем-инвалидом; но тот сперва также остановил его:

— Куда прешь? Пошел, пошел!

Самсонов стал объяснять, что ему бы только одним глазком взглянуть, как господа там танцуют... Инвалид перебил его:

— Сказано тебе, что дело нестаточное. Отойди до греха!

— Ну, пусти, дяденька, раделец, отец родной! Тебя от того ведь не убудет. Пусти!

— Сказано раз: "не пущу", ну, и не пущу!

Так Самсонов, по всему вероятно, и отехал бы ни с чем, не найди он поддержки в дворцовой служительнице, возвращавшейся в это время с иллюминации тем же черным ходом и узнавшей в нем шуваловского человека.

— Да ублажил бы ты старика: сунул бы грош в зубы, — вполголоса посоветовала она Самсонову.

Он пошарил у себя по карманам: вместо гроша, нашелся там целый алтын.

— На-ка-сь вот, дяденька, на добрую чарку.

Устоять против такого соблазна было уже выше сил ворчуна. Пробурчав что-то под нос он пропустил обоих.

Хорошо знакомыми ей, видно, закоулками дворца девушка провела Самсонова к винтовой лестнице.

— По этой лестнице, - сказала она, — ты, прямо выйдешь на хоры.

— Ну, спасибо, родная.



На хорах, кроме придворного оркестра Самсонов застал уже десятка два таких же любопытных, сгучившихся в сторонке на двух скамейках перед ажурными перилами.

— Не найдется ли, матушка, и для меня местечка? — обратился он к сидевшей с краю на задней скамье старушке, повидимому из придворных приживалок.

Та воззрилась на него и тотчас с готовностью отодвинулась к соседке.

— Как не найтись для тебя, касатик, — найдется.

Отсюда, между голов сидевших на передней скамье, сквозь прорезы в перилах, было видно, как на ладони, все, что происходило внизу, в танцевальном зале. От пестроты и роскоши мелькавших там маскарадных костюмов у Самсонова вначале в глазах рябило. Понемногу он, однакож, пригляделся; а комментарии, которыми обменивались сидевшие около него две кумушки, облегчали ему еще опознаться в этом одушевленном калейдоскопе. Но, любуясь блестящим зрелищем маскарадного бала, он, вместе с тем, не упускал из виду ни швейцарки, ни рыцаря, хотя

те ни променада, ни контрданса не танцовали друг с другом.

После контрданса швейцарка на несколько минут исчезла с турчанкой, и когда возвратилась, то на минутку приняла приглашение рыцаря. Не подозревая, что швейцаркой одета теперь уже не его "молочная сестра", а Скавронская, Самсонов не мог надивиться несвойственной Лилли развязности в обращении с своим кавалером.

Тут к ним подлетает опять турчанка. Что она говорит рыцарю? Наскоро приложившись к ручке своей дамы, он удирает из зала. Знать, не спроста!

Самсонов так стремительно поднялся с своего места, что привел в сотрясение всю скамейку; обе кумушки сердито на него оглянулись. Но его и след простыл.

Дверь, за которою исчез Воронцов, была в сторону парадного крыльца. Самсонов поспешил туда же. Благодаря своей ливрее, он не обращал ни чьего внимания. В проходной комнатке около вестибюля он столкнулся лицом к лицу с Воронцовым.

— А я к вам, Михайло Ларивоныч. Вас, вер-

но, хватились?

— Да, хотят, слышно, арестовать. Ожидают только, должно быть, конца бала, чтобы не делать переполоха.

— Так вам бы крадучись уйти.

— Пытался; но у парадного хода стоят два жандарма; а швейцар мне объявил, что раньше ужина никого из гостей не приказано выпускать.

— Из гостей? Так нам, слугам, значит, выходить не возбранено? Переодеться бы вам в мою ливрею и утечь с заднего крыльца.

— А ты сам-то, братец, что же?

— Сам я надену ваши рыцарские доспехи и останусь тут за вас, чтобы вам было время убраться из Питера по добру по здорову.

— Ты, видно, о двух головах! К ужину все ведь должны будут снять маски, и тебе придется также показать свое лицо.

— И покажу.

— Но с тобой чиниться уже не станут...

— Бог милостив. Скажу, что нарядился, мол, в доспехи своего господина сдуру без его ведома, чтобы побывать тоже раз на таком придворном маскараде. Ну, знакомое дело, по

головке не погладят, накажут, а все же не так, как вашу бы милость: вам, офицеру, всю жизнь бы испортили.

— Это-то верно... Ну, Самсонов, золотой ты человек! Этой услуги я тебе во век не забуду. Но где нам переодеться?

— А за переборкой в мужской уборной. Войдем вместе и выйдем вместе: никому и не в домек.

Сказано — сделано. Когда, немного погодя, оба вышли опять из уборной, никому из попадавших им навстречу и в голову не приходило, что шествующий впереди благородный рыцарь — в действительности слуга, а скромно плетущийся за ним слуга — благородный рыцарь.

Самсонов от природы был очень приметлив и без затруднение нашел выход из дворцового лабиринта к черному крыльцу. Здесь, кроме дежурного сторожа, стояли теперь также два полицейских аргуса с саблями наголо. Но ливрейного слугу они выпустили в сад без всяких расспросов, а настоящий слуга в образе рыцаря возвратился опять, скрепя сердце, на парадную половину дворца.

## V. Рыцарь и брамин

Из танцевального зала на Самсонова пахнуло тропической жарой и неулегшеюся еще после танцев пылью, смешанною с запахом человеческого пота и парфюмерных блоговоний. Разгоряченные танцами маски обоего пола расхаживали взад и вперед одиночно или по-парно, прохладжаясь холодными напитками и мороженым, которые разносились кругом придворными лакеями.

Вдруг к нему подпорхнули две женские маски: швейцарка и турчанка.

— Ты все еще здесь, Мишель? — заметила ему вполголоса швейцарка. — Какое безумство!

— Вы ошибаетесь, Лизавета Романовна, отвечал Самсонов. — Я не Михайло Ларивоныч...

— Это — Гриша! — вмешалась турчанка. — Они верно тоже, как мы, обменялись платьем. Правда, Гриша?

Теперь и Самсонов узнал ее по голосу.

— Правда, Лизавета Романовна, отвечал он. — Михайла Ларивоныча в моей ливрее никто не задержал, и теперь его, верно, уже

не ногонят.

— Слава тебе, Господи! — облегченно вздохнула Скавронская. — Но какой ты сам безстрашный! Ведь тебе это так не сойдет. Знаешь что, Лилли: мне уже из реконесанса надо его тоже выручить; я поговорю с цесаревной...

— А я с принцессой! — подхватила Лилли. — Раньше нам с тобой надо, однакож, опять переодеться. А ты, Гриша, тем временем уберись здесь куда-нибудь подальше.

"Ах вы, милые, хорошие! — подумал Самсонов, когда две подруги упорхнули снова вон. — Но куда мне здесь убраться? Разве что в буфет".

И он спросил у проходившего мимо лакея: где буфет?

— А пожалуйста, сударь, за мною, — предложил тот и провел его в длинную стеклянную галерею, в конце которой был устроен роскошный буфет, а под высокими окнами были расставлены небольшие мраморные столики.

Идя за лакеем, Самсонов расслышал за собою чьи-то семенящие шаги, следовавшие за ним в стеклянную галерею.

Едва он тут присел за один из свободных столиков, как за соседним столиком расположился маленький толстенький человечек, наряженный индейским брамином, и потребовал себе бутылку шампанского.

"А что ж, не угоститься ли мне тоже всласть, пока еще не посадили на хлеб и на воду?" сказал себе Самсонов и приказал подать себе чего-нибудь посытнее. Минуту спустя столик его был уставлен всевозможною «сытною» снедью: был тут и страсбургский пирог, и балык, и ростбиф...

— В буфете у нас, простите, сударь, одна холодная закуска, — извинился прислужник: — горячая будет к ужину. А из вин что прикажете: легкого какого, али старого бургонского?

— Нет ли у вас простого квасу? — Спросил с полным ртом Самсонов, уписывая страсбургский пирог за обе щеки.

— Простого ква-су? — протянул слуга и отрицательно покрутил головой. — Нет-с, простых русских питий у нас не полагается. Из дамских прохладительных есть оршад, лимонад: оршад первый сорт — из миндаля и апельсинов на «гуляфной» воде, а лимонад —

на лучшем «ренском».

— Так дай мне хоть лимонаду, что ли.

— И что вам за охота, г-н рыцарь, пить всякую дрянь, коли есть нектар, питье богов? — заговорил тут брамин и, поднявшись из-за стола с длинногорлой бутылкой в руке, подошел к Самсонову. — Человек! еще один покал.

Характерное картавое произношение с придыханием уже само по себе выдавало в нем семита; а когда он в добавок, задыхаясь, должно быть, под маской, отвязал ее и обнаружил таким образом одутловатое лицо с хищнически-загнутым носом и выпуклыми, воспаленными глазами, — Самсонов тотчас узнал в нем придворного банкира и бироновского советчика, в конторе которого получал уже как-то деньги для своего господина.

— Вы слишком любезны, г-н Липшман... — пробормотал он, не решаясь прямо отказать. А тот безцеремонно подсел уже к нему и, наливая ему полный «покал», продолжал с тою же развязностью:

— И вам бы, г-н рыцарь, снять свой шлем; разве вам не жарко?

При этом глаза его зорко вглядывались в



глазные отверстие шлема рыцаря и в нижнюю часть его лица, видимую из-под слегка приподнятого для еды забрала.

"Гляди, гляди, — меня-то не узнаешь!" думал про себя Самсонов, а на вопрос отвечал, что "нет, не жарко".

— А чокнуться все же можно и осушить бокал.

Делать нечего, — пришлось чокнуться и осушить. Игристый напиток Шампаньи разлился у юноши огнем по жилам, ударил ему с непривычки в голову. Он не то, чтобы опьянел, а исполнился беззаветной отваги.

"Погибать, так погибать! По крайней мере натешусь еще над этим мерзавцем".

Он сам уже налил себе второй бокал и с задорной усмешкой спросил банкира, правда-ль, что тот прибыл в Питер лет двадцать назад с грошом в кармане.

— Побольше: с полтиной, — отвечал Липпман, ни чуть как будто не обидясь, а напротив, самодовольно улыбаясь. — Во всяком гешефте, г-н рыцарь, только начало трудно. В первый год из полтины у меня стало пятьдесят рублей, во второй — триста, а в третий —

десять тысяч.

— Из трех сот рублей в один год десять тысяч! Это каким же чудом?

— Не чудом, а казенной поставкой. Подрядился я поставить для армии десять тысяч епанчей...

— Десять тысяч епанчей на триста рублей? Значит, одну епанчу за три копейки? Кто вам это поверит!

— Хе-хе-хе-хе! Триста рублей моих пошли только на первую смазку, чтобы получить поставку. (Он наглядно показал пальцами, как смазывают.) Другие брались поставить кто по восемь рублей, кто по семь, а я по шесть рублей за штуку. Ну, поставка и осталась за мною.

— Да по сколько же вам самим обошлась каждая штука?

— По сколько? (Он лукаво подмигнул одним глазом.) По шесть с полтиной.

— Так, стало-быть, в прямой себе убыток?

— Мне епанчи, что поставил, по полтине убытку.

— А то еще за какие ж?

— За те, что не поставил.

— Простите, г-н Липшман, но я вас не понимаю.

— Не понимаете? Ха! А дело, кажется, ясное: по квитанции я сдал будто бы все десять тысяч штук, а взаправду приняли от меня шесть тысяч.

— Так что за непоставленные четыре тысячи вы положили себе в карман ни за что, ни про что, двадцать четыре тысячи рублей?

— "Ни за что, ни про что" — пхе! За труды-с. Да и то не двадцать четыре, а только половину — двенадцать тысяч.

— А остальные двенадцать тысяч пошли в чужие, что ли, карманы?

— А то как же? Известно, за комиссию, поделились совсем по-братски. Никому не обидно.

— Окромe казны-матушки да бедных солдатиков.

— Казна-матушка не плачет, а солдаты тоже не остались без епанчей.

— Да ведь на четырех тысяч человек их не хватило?

— Новых епанчей не хватило, но старых — сколько угодно. Хе-хе-хе-хе!

И, чрезвычайно довольный эффектом, произведенным на наивного собеседника ловкой аферой, Липпман наполнил оба бокала в третий раз.

— За казну-матушку!

— Не лучше ли за ее грабителей?

Это было уже не в бровь, а в глаз. Банкир не выдержал, быстро встал со стула и прошипел:

— Это вам, сударь мой, так не сойдет!

"Наконец-то отвязался!" — сказал сам себе Самсонов и принялся опять за еду.

Но наесться всласть ему все-таки не пришлось. От входных дверей раздался знакомый ему голос:

— Ба, ба, ба! он и в самом деле тут. А я за него отдувайся!

Перед ним очутился бедуин, в сообществе двух других маскированных. Рыцарь наш едва успел отереть себе салфеткой рот и опустить забрало.

— Чего же ты, Петя, притворялся инвалидом? — продолжал Александр Шувалов. — А Юлиана Менгден мне проходу не дает: "Каин! где брат твой Авель?" — "Дома, говорю, —

прикован, как Прометей, к скале-дивану". — "Неправда, говорит, — я сама с ним говорила. Отыщите мне его". А ты, глядь, и вправду тут. Ступай-ка, ступай, пока не совсем еще впал в немилость.

Разуверять теперь в своей личности не приходилось. Промычав что-то себе под нос вместо ответа, Самсонов бросил на стол салфетку и, слегка прихрамывая, точно нога у него еще не совсем в порядке, не спеша двинулся вон из галереи.

## **VI. Маски снимаются**

**В** танцевальном зале только-что кончилась опять пауза, и с хор полились заунывно-тягучие звуки «русской», без которой в те времена не обходился ни один бал. Простонародный танец давно уже, однако, не находил в высшем обществе прежнего сочувствие; пары собирались вяло; никому как-будто не хотелось начинать.

Тут в дверях появились рука об руку молодой боярин с молодой боярыней и показали пример другим. Что боярыня эта — цесаревна Елисавета, знали, надо думать, все присутствующие; что кавалер ее — Разумовский, до-

гадывались, вероятно, очень многие. Общее внимание тотчас сосредоточилось на этой паре, и все на нее за любовались, даже те, что собрались было уже танцевать. Да и как, право, было не залюбоваться!

С какою воздушною легкостью и грацией боярыня плыла мимо своего боярина, помахивая шелковым платочком перед его закрытым маскою лицом! Как бойко он, в свою очередь, выбивал дробь ногами, как залихватски забрасывал пятки!

Никто из зрителей, однако, не решался первым захлопать, пока стоявшая в дверях императрица не подаст знака. У нее одной, как уже сказано, лицо не было прикрыто маской. На устах ее заиграла также устало-грустная улыбка. И вот она подняла сложенные на талье руки и ударила в ладоши. В тот же миг весь зал кругом зазвучал оглушительными рукоплесканими.

В целой империи не нашлось бы, пожалуй, ни души, кроме одного единственного человека, кто решился бы теперь открыто заявить свое несогласие с выраженным государыней одобрением. Этот единственный человек,

Марс-Бирон, поманил к себе перстом Меркурие-Лёвенвольде и отдал ему какое-то приказание. Обер-гофмаршал покорно наклонил голову и, выступив вперед, громогласно крикнул капельмейстеру на хорах:

— Grossvater!

Всем было ясно, что слишком благоприетное впечатление от русской пляски ненавистник русского народа, герцог курляндский, счел нужным ослабить немецким свадебным танцем, которым тогда и в наших придворных сферах, как у баронов в остзейском крае, заканчивались, обыкновенно, свадебные балы. В "гросфатере" обязательно принимали участие как вся молодежь, так и маститые сановники с их пожилыми супругами; поэтому вдоль всего огромного зала мигом образовалась змеевидная лента "дедушек" и «бабушек» всех возрастов и званий, начиная с самого Бирона и кончая Лилли. И вся вереница, в такт медленному темпу музыки, заковыляла старческой походкой, хором подпевая нелепейшую песню:

— "Als der Grossvater die Grossmutter nahm,

Da war der Grossvater ein Brautigam,  
La-ri, la-ri, la ra!

("Когда дедушка посватался к бабушке, дедушка стал женихом, ла-ри, ла-ри, ла-ра!")

Вдруг ковыляющий темп разом переходит в бешеный плясовой. Каждый кавалер хватается свою даму за обе кисти рук и делает с нею бочком козлиный скачек назад и затем вперед, чтобы переменить место с соседней парой, во все горло припевая:

— "La-ri, la-ri, la-ralla-la!  
La-ri, la-ri, la-ra!"

Лилли не раз уже танцевала в Лифляндии этот патриархальный свадебный танец, — танцевала с детским увлечением. Теперь он показался ей до-нельзя пошлым, и она готова была убежать вон. Но кавалер не выпускал ее рук, и ей поневоле приходилось также подпрыгивать и подтягивать:

— "La-ri, la-ri, la-ralla-la!"  
La-ri, la-ri, la-ra!"



"Где-то теперь Гриша? Да вон он, бедняга, в своих рыцарских доспехах стоит у выступа стены, опершись на свой меч, не шевельнется, словно окаменел на месте. Что-то сейчас его ожидает, Боже милосердый!"

Наконец-то и заключительный куплет. Барбан и литавры гремят в последний раз. Кавалер жмет ей руки и откланивается.

— Милостивые государи и государыни! — возглашает обер-гофмаршал. — Танцы кончены: прошу снять маски.

Вот и роковой миг. "О, Гриша!"

Дрожащими от волнения пальцами Лилли отвязывает свою маску и оглядывается. Как эти разгоряченные, глянцовитые от пота, истомленные лица не подходят к свежим и пышным нарядам! Ужели и она сама такая же красная?

Но всех краснее и противнее упитанная бычачья рожа Бирона. И каким ведь жестоким инквизиторским взглядом озирает он всех окружающих, видимо, отыскивая между ними того, о котором ему донесли его шпионы! Но искомого на лицо не оказывается: бро-

ви герцога сдвигаются еще мрачнее.

Тут вынырнувший позади его брамин — банкир, приподнявшись на цыпочки, шепчет ему что-то на ухо. Взор Бирона устремляется на прикованную все там же к выступу стены, неподвижную фигуру средневекового рыцаря.

— Господин рыцарь! — раздается на весь зал повелительный голос с резким немецким акцентом. — Прошу к нам.

Рыцарь отделяется от стены, подходит; но забрало его все еще опущено.

— Откройте ваше лицо!

Малодушествовать уже не приходится. Рыцарь поднимает забрало, и сотни глаз с недоумением видят совсем незнакомые им, благообразные черты юноши с легким пушком над верхнею губой. Всех более, конечно, разочарован сам инквизитор; но за это должен по платиться разочаровавший.

— Государь милостивый! Кто вы есть такой?

В голосе временщика прорывалась такая злоба, что сердце у Самсонова в первом замешательстве все же захолонуло, язык прилип

к небу. За него отвечал бедуин:

— Ваша светлость! Смею доложить, что это — слуга моего брата, Петра Ивановича Шувалова. У брата было уже зготовлено это рыцарское платье для сегодняшнего вечера; но внезапно он заболел...

— И послал сюда вместо себя лакее? — досказал взбешенный герцог.

— Нет, ваша светлость, — зоговорил тут, оправясь, сам Самсонов: — господин мой тут не при чем. Учинил я это без спроса...

— За что и будешь примерно наказан, дабы впредь чинить тому подобное никому повадно не было! — подхватил с негодованием старший Шувалов, очень довольный, казалось, что может таким образом отвести удар от себя и брата.

— ...Никому повадно не было, — повторил последние слова его Бирон и обернулся к стоящему тут же старцу-капуцину с отвислыми щеками и с бездушно-суровым взором под нависшими бровями:

— Ваше превосходительство, Андрей Иванович! извольте взять сего человека...

— И допросить? — добавил капуцин, кото-

рый, в действительности, был не кто иной, как начальник канцелярии тайных розыскных дел, генерал Ушаков, безжалостность которого при "пристрастных допросах" была общеизвестна.

— И допросить, как законы повелевают, — подтвердил герцог.

— Будет исполнено, ваша светлость.

"Прощай, белый свет!" подумал про себя Самсонов, бросая прощальный взгляд на Лилли.

Та, умоляюще сложив руки, тихонько аппелировала только что к своей принцессе. Но Анна Леопольдовна, пугливо поглядывая на императрицу, отрицательно покачала головой: лицо государыни, с стекловидным взором, с плотно-сжатыми губами, как бы окаменело. Давно изучив малейшие движения в чертах своей августейшей тетки, принцесса сознавала, должно-быть, свое собственное бессилие склонить ее к отмене распоряжение герцога.

Но нашлось другое, более сильное духом существо — цесаревна Елисавета Петровна. Неожиданно для всех она обратилась к импе-

ратрице убежденно и убедительно:

— Ваше величество! Сегодня — последний день празднование замужества принцессы Анны, наследницы российского престола. Не дайте же омрачить этот светлый день наказанием человека, вся вина коего состоит лишь в том, что ему, как доброму верноподданному, хотелось тоже насмотреться на этот праздник из праздников. Отдайте ему его вину!

Слабовольная, но мягкосердая Анна Леопольдовна, слыша из чужих уст то самое, что сама она не имела духу сказать в защиту этого несчастного, обреченного уже не весть к каким пыткам в подвалах тайной канцелярии, присоединила теперь и свою просьбу к просьбе цесаревны; — Простите его, государыня, ради меня простите!

— И ради меня тоже, — решился подать голос и новобрачный. Анна иоанновна переводила взор свой с цесаревны на принцессу, с принцессы на принца, — и пасмурное чело ее начало проясняться.

— Совсем простить, словно безвинного, — не много ль будет? — промолвилась она гу-

стым своим голосом и вопросительно глянула на герцога.

— Чего ждать потом от самих господ, если прощать такие вольности их рабам? — заметил по-немецки герцог.

— Правильно. Он будет наказан, но — не нами. У него есть свой господин; тот пускай с ним и расправляется по-своему. А что же, граф, ужин? — обратилась государыня к обергофмаршалу Лёвенвольде.

— Ужин готов, ваше величество, — отвечал тот с поклоном.

— Так прошу дорогих гостей откусать, чем Бог послал.

Чинным порядком все двинулись следом за царственной хозяйкой. Только в дверях столовой произошло небольшое замешательство; слышалась хлесткая оплеуха и звон разбитой посуды.

— Это что же такое? — спрашивали друг друга озадаченные гости.

рассыпанные на самом пороге пирожки и черепки служили им некоторым уже ответом; а затем выяснилось, что под тяжелую руку Бирона подвернулся по пути его следова-

ние лакей с пирожками к бульону; ну, его светлости надо же было хоть на нем сорвать свое сердце!

До Самсонова никому уже не было дела. Он вышел из танцевального зала в противоположные двери к парадному крыльцу, где его никто уже не останавливал. В горле у него и без ужина стояли еще страсбургский пирог и... герцог курляндский. С каким наслаждением втянул он теперь в себя полную грудью прохладный ночной воздух!

Господина своего он застал уже в постели, но не спящим.

— Так мне тебя, стало-быть, по заслугам наказать? — усмехнулся Петр Иванович, выслушав его доклад. — Вот твое наказание.

Он указал на столбец червонцев на ночном столике.

— Чего смотришь! Бери, бери! — это тебе оставил Михайло Илларионыч. Теперь ты и сам можешь расплатиться за уроки с своим прецептором Тредиаковским.

## **VII. Без седла**

**Ц**елую неделю при Дворе шли еще толки и пересуды о неслыханной продерзости шу-

валовского камердинера, — продерзости, за которую должны были, вместо него, жестоко поплатиться главный швейцар Летнего дворца и несколько служителей: по «нещадном» наказании «кошками» на герцогской конюшне, все они бесследно и навсегда исчезли с дворцового горизонта.

На следующей неделе эту устаревшую уже тему вытеснила новая, животрепещущая — заметное охлаждение императрицы к новобрачной чете. Догадок и сплетен по этому поводу, как всегда нельзя было обобратить. Наиболее же обоснованными представлялись две:

При своем обручении Анна Леопольдовна получила в презент от августейшей тетки драгоценный перстень, сделанный придворным ювелиром Граверо по личным указаниям императрицы. Между тем, среди многочисленных колец на пальцах принцессы не оказалось вдруг этого самого перстня. На вопрос государыни: что это значит? — племянница, не умевшая притворяться, виновато призналась, что оправка перстня была слишком старомодна, и что молодой помощник



Граверо, Позье, переделал эту оправу по ее собственному вкусу. Императрица, понятно, была оскорблена и огорчена; а Бирон не преминул с своей стороны подлить еще масла в огонь.

— Принцесса сама не знает, чего хочет! — будто бы сказал он. — Даже подарки ее величества не по ней, и ведь только потому, что государыня не признает новейших французских мод и не читает французских романов.

Вторую, более серьезную причиной для неудовольствие императрицы была та настойчивость, с которою принцесса и принц-супруг ее требовали отпуска им из казны обещанной им уже прибавки на содержание своего собственного придворного штата, в сумме 80-ти тысяч рублей в год. Несмотря на протест Бирона, государыня в конце концов подтвердила свое обещание. Зато молодому принцу пришлось испытать на себе всю грубость, на какую был способен зазнавшийся временщик и которую тот не осмеливался выместить непосредственно на принцессе, наследнице престола. Когда Антон-Ульрих явился в приемный час всесильного герцога принести ему

от имени своего и принцессы "душевную признательность за милостивейше назначенную субсидию", Бирон не постеснялся в присутствии посторонних отчитать его:

— Ваша светлость благодарите меня за такую милость, о которой потом будете горько плакать. До сих пор вас и жену вашу содержали как родных, но вы сами пожелали сделаться чужими...

— Да я-то-то-то тут приче-че-чем? — заикаясь еще более обыкновенного, пробормотал растерявшийся принц.

— Вы — муж вашей жены и отвечаете за нее по пословице: Mitgefangen — mitgehungen (вместе пойманы — вместе и повешены)! — продолжал герцог в том же резком тоне. — У вас самих, принц, я готов верить, доброе сердце; вы искренно любите принцессу и потому делаете все по ней; но уверены ли вы, что и она вас любит?

— Уверен! — отвечал Антон-Ульрих. — Что за странный вопрос!

— Вопрос не столь странный, как вам, быть-может, кажется. Я, по крайней мере, слышал от самой принцессы, когда вы в пер-

вый раз сватались к ней, что женщина может простить мужчине всякий недостаток, кроме одного: что он не мужчина.

— Да как вы, герцог, можете говорить мне в лицо такие вещи...

— Я повторяю только слышанное к вашему сведению. Лично против вас, принц, я ничего не имею и могу дать вам только один совет: вместо того, чтобы слушаться во всем принцессы, удалите от нее всех тех, кто внушает ей подобную ересь.

— Вы говорите о баронессе Юлиане? Но против нее я безсилен...

— Извольте видеть. Так как же, согласитесь, можно было дать вам с принцессой еще особое придворное положение? Если я отговаривал от этого государыню, то для вашей же пользы.

О самом Антоне-Ульрихе Бирон отозвался секретарю австрийского посольства Пецольду еще откровеннее, когда тот, при случайной встрече с герцогом в Летнем саду, позволил себе замолвить слово за принца:

— Все знают, какая гениальная голова — этот принц. Если его женили на принцессе

Анне, то, разумеется, уж не из-за его великого ума. Напрасно ваш Двор воображает, что может распоряжаться у нас в Петербурге, как у себя в Вене. Если же у вас способности брауншвейгского принца ценятся так высоко, то я с удовольствием склоню императрицу разрешить ему отезд в Вену, где так нуждаются в умных государственных мужах.

И все эти резкости сходили с рук всемогущему временщику. В довершение своего унижение, Анна Леопольдовна, по настоянию императрицы, должна была лично отправиться на поклон к Бирону, чтобы заявить о своем «добровольном» отказе от отдельного Двора. Торжествующий герцог, милостиво приняв такое заявление, обещал ей с своей стороны не давать уже поводу к неудовольствием. Наружный мир между враждующими партиями немецкого лагеря был восстановлен, и государыня возвратила племяннице прежнее свое благорасположение.

Первою страстью Бирона, как уже знают читатели, были лошади. Состоя сам во главе конюшенного ведомства, он не жалел никаких средств казны для своего ведомства, в ко-

тором, кроме всевозможных штатных должностей, начиная от обер-шталмейстера и кончая рейт-пажами, одних мастеров и нижних служителей числилось 293 человека. Дворец умершего в 1736 году кабинет-министра Ягужинского (на Фонтанке, на против Летнего сада) был отведен под манеж для верховой езды; причем перестройка его, возложенная на знаменитого архитектора Растрелли, обошлась немного-немало, в 100 тысяч рублей, — для того времени сумма огромная. К манежу прилегали обширные каменные конюшни, обставленные такими удобствами и с такою роскошью, что сложилась даже поговорка:

"С лошадьми герцог обходится, как с людьми, а с людьми, как с лошадьми".

Лошади для этих конюшен выписывались из Голштинии, из Англии и даже из Аравии, и всякое такое обогащение конюшен составляло при Дворе в некотором роде событие. Сама ведь императрица была большая любительница лошадиного спорта и почасту заезжала в манеж, где для нее были устроены еще особые покои, чтобы ей можно было там принимать с докладами министров, а то и ино-

странных послов.

В течение лета 1739 года, особенно знойно-го, Анна иоанновна, страдая постоянно приливами к голове, значительно реже уже заглядывала в манеж. С сентябрьскими заморозками ей несколько полегчало, и когда тут барон принес ей приетную весть, что с Дона пригнана целая партия молодых казачьих скакунов, государыня не только сама собралась в манеж, но пригласила туда, от имени герцога, также принцессу и цесаревну. Это был, так-сказать, мост к окончательному умиротворению их общего врага, и обе: Анна Леопольдовна и Елисавета Петровна, решились прибыть в манеж с полною свитой. Так-то, в свите принцессы, попала туда и Лилли, а в свите цесаревны — младший Шувалов в сопровождении своего юного слуги, Самсонова.

От Зимнего дворца (куда Высочайший Двор перебрался уже на зимний сезон) тронулся длинный поезд карет к бироновскому манежу. Три дня уже моросил, не переставая, осенний дождь, и перед входом в манеж образовалась целая лужа. ехавшей во главе поезда царской карете пришлось остановиться по-

среди этой лужи. Когда тут спрыгнувший с запяток гайдук распахнул дверцы кареты и спустил подножку, — Анна иоанновна, при виде лужи, замедлилась опереться на руку подбежавшего из-под навеса генерал-полицеймейстера Салтыкова. Тогда Салтыков, не задумываясь, сорвал с своих плеч епанчу и накрыл лужу. Блогосклонная улыбка была ему наградой. Налегшись теперь всем своим грузным телом на руку догадливого начальника полиции, государыня, по епанче, как по ковру, проследовала в манеж, у входа в который была встречена самим герцогом Бироном.

Лилли, сидевшая вместе с Юлианой в одной из ближайших карет, была свидетельницей этой сцены. Но когда и до них дошла очередь выходить из своей кареты, генерал-полицеймейстерская епанча была уже убрана. Высаживал ту и другую из кареты, правда, придворный лакей; но шаги Юлианы стеснял очень некстати пышный шлейф, так что она поневоле должна была ступить носком в воду. Лилли же, у которой не было шлейфа, перепорхнула под навес, ни чуть не замочив ног.

— Что значит уметь скакать без седла! — не без колкости заметила ей Юлиана.

Манеж делал честь его строителю или, вернее, «приспособителю», Растрелли: несмотря на его обширность, в нем было много света от высоких, восьмиугольных окон по обеим продольным стенам; а громадные печи из заграничных цветных кафлей по четырем углам поддерживали комнатную температуру даже в холодное время года. В глубине были устроены амфитеатрально сидение для зрителей; а по середине амфитеатра, под пунцовым балдахином с золотой бахромой, возвышались тренообразные кресла.

О намерении императрицы прибыть в манеж, очевидно, дошло и до сведения всех трех кабинет-министров: не желая упустить удобного случая для доклада неотложных дел, были налицо с портфелями под мышкой не только Волынский и князь Черкасский, но и граф Остерман, который из-за застарелой мучительной подагры почти никогда не покидал дома. На глубокий поклон триумвиров государыня ответила только мимоходом наклонением головы и затем не обращала на них



уже никакого внимание.

Все внимание свое, точно так же, как и другие, прибывшие вместе с нею и разместившиеся на амфитеатре, она отдала небольшой кавалькаде донцов, выехавшей из конюшен. В знак приветствия царице, приподняв на голове шапки и опустив долу острие пика, те обехали сначала шегом, но с независимо-молодцоватым видом, весь манеж; затем пустили своих поджарых, но статных коней рысью, после того галопом и, наконец, во весь опор.

Императрица сидела неподвижно в своих креслах, и никто из окружающих не осмеливался еще проявлять свое одобрение.

Но вот манежные конюхи установили на арене несколько искусственных заграждений из древесных ветвей вышиною в два аршина, и лихие наездники с пиками наперевес и с зычным гиком принялись один за другим брать эти заграждение. Тут пробудились наезднические инстинкты и в самой государыне: она ударила ладонь о ладонь, и в тот же миг, как по команде, все кругом также захлопало.

Пока убирались барьеры, казаки дали сво-

им взмыленным коням перевести дух перед дальнейшим ристаньем. Вдруг передний казак пронзительно свистнул, — и скакун его взял с места в карьер, а за ним и другие. Началась джигитовка: подхватывание с земли налету брошенной шапки, моментальное соскакивание наземь и вскакивание опять в седло, всевозможные эволюции в воздухе пикой, и т. д. Нечего говорить, что присутствующие любители скаковых зрелищ пришли уже в полный восторг, и хлопкам, ликованьям не было конца. Казаки же, проезжая опять шегом мимо амфитеатра, с победоносным видом откланивались с высоты своих седел.

— И все? — отнеслась императрица по-немецки к герцогу.

— Есть еще один жеребенок, — отвечал тот. — Войско донское желало бы иметь счастье принести его в дар вашему величеству...

— Значит, он обещает сделаться украшением наших конюшен?

— Первым алмазом, государыня.

— Посмотрим этот алмаз.

По знаку Бирона, старик-казак вывел под уздцы жеребенка-двулетка караковой масти.

Опираясь на руку герцогини Бирон, Анна Иоанновна спустилась вниз на арену. За государыней поднялись с мест и другие, в том числе также Анна Леопольдовна с Юлианой и Лилли.

Да, то не был обыкновенный жеребенок, а прелестнейшая, одушевленная картинка! Подлоснящеюся, как атлас, темно-гнедою шерстью играла, казалось, каждая жилка. Ни секунды не зная покоя, лошадка переминалась все время на всех четырех ножках, точно выточенных гениальным токарем, и каждым таким движением выказывала гармоничный на диво склад всего тела. Но изящнее всего была все-таки головка, на которую была накинута легкая, как бы игрушечная уздечка из красных ремешков, богато выложенных серебром. Задорно вскидывая эту чудную головку, жеребенок прят ушами и поводил кругом своими большими, умными глазами, словно говоря:

— Любуйтесь, господа, любуйтесь! Такой красоты никто из вас ведь еще не видывал, да никогда более и не увидит.

— Хорош, милый, безмерно хорош! — по-

хвалила его государыня. — Уздечка хороша, а сам того еще краше.

— Уздечка наборная, лошадка задорная, — отозвался с самодовольством польщенный старик-казак. — Ни удил, ни седла она еще не ведает.

— Так на нее разве еще не сажались?

— Пытались наши молодцы, матушка-государыня, пытались, да не дается: всякого доселе сбрасывала.

— Что бы тебе, Лилли, попытаться? — насмешливо заметила по-немецки Юлиана.

Слова эти достигли до слуха Анны иоанновны и напомнили ей первый разговор с Лилли.

— А и вправду не хочешь ли покататься? — сказала она шутя. — Тебе ведь и седла не нужно.

— Подсадите-ка барышню! — указал Бирон стоявшим тут же рейткнехтам на Лилли, выхватывая из рук одного из них плетку. — Ну, что же?

Ослушаться герцога значило подпасть под его гнев и немилость. Не пришла Лилли еще в себя, как была поднята дюжими руками на

воздух, и усажена на спину жеребенка; а Бирон со всего маху хлестнул его плеткой. Лошадка отчаянным прыжком рванулась вперед так внезапно, что старик-казак выпустил из рук поводья. Лилли успела только ухватиться за гриву лошадки и мчалась уже по манежу. Но, сидя бочком без опоры для ног, она при крутом повороте не могла уже удержаться на спине лошадки и чувствовала, как соскользает. Еще миг — и она повиснет на гриве.

Жестокая шутка злопамятного курляндца грозила окончиться катастрофой. Все присутствующие с замиранием сердца следили за бешеной скачкой; сам Бирон уже не улыбался, а кусал губы. а с Анной Леопольдовной сделалос дурно. У нескольких придворных дам нашлись тотчас, конечно склянки с нашатырным спиртом, а несколько придворных кавалеров бросилось вон со всех ног за стаканом воды. Оказать какую-нибудь помощь погибающей наезднице никто из них и не думал.

Но помощь все-таки подоспела: из группы столпившегося у входа служительского персо-

нала отделился молоденький лакей и подбежал как раз во-время, чтобы подхватить падающую наездницу. Только стоя уже твердо на ногах. Лилли взглянула на своего избавителя.

— Это ты, голубчик, Гриша? Без тебя бы мне конец...

— Долг платежом красен, Лизавета Романовна. Проводить вас до вашего места, или вы дойдете уже одне?

— Дойду, дойду...

Пока он неотступно глядел ей вслед, как она перебиралась через манеж к амфитеатру, неукротимый Буцефал, обежав кругом манежа, мчался опять мимо. К немалому, должно-быть, удивлению лошадки, на спине у нее очутился тут опять кто-то. Но этот наездник сидел уже не по-дамски, а по-мужски и крепко сжимал бока ее шенкелями, как в тисках. Она взвилась на дыбы, забрыкалась передними и задними ногами.

Вдруг ее ошеломил удар кулаком по лбу, и в глазах у нее потемнело: они были накрыты шейным платком наездника. Такой небывалый еще способ укрощения так поразил лошадку, что она мигом присмирела и, дрожа

всеми фибрами тела, остановилась, как вкопанная. Всадник, попрежнему держа ее в шенкелях, потрепал ее ласково по шее, по крупу. Когда она несколько поостыла, он снял платок с ее глаз и тронул поводья. Послушная, как овца, она затрусилась вперед мелкой рысцой. Доехав так до амфитеатра, Самсонов с седла склонился перед государыней, а затем соскочил наземь и передал поводья старику-казаку.

Первый к Самсонову подошел Петр Иванович Шувалов, чтобы выразить ему свое удовольствие. За ним подошли и другие, в том числе сам герцог.

— Это ваш человек, г-н Шувалов? — спросил он. (Грамматические неправильности в его русской речи, как и прежде, не считаем нужным повторять в нашем рассказе.)

На утвердительный ответ Бирон справился далее, не тот ли самый это негодивец, что самовольно явился на придворный маскарад в костюме рыцаря.

— Тот самый, ваша светлость; но молодозелено...

Герцог погрозил Самсонову пальцем.

— Ei di verflucneer Kerl! Вот что, г-н Шувалов. Он мне нужен для манежа. Отдайте мне его.

— Простите, герцог, но он и мне самому нужен.

— Как камердинер? Так я пришлю вам другого.

— Еще раз прошу не взыскать: я к нему так привык, что ни на кого его не променяю.

— Schockschwerenot! Да ведь у вас он весь век свой не пойдет дальше камердинера, а у меня он сделает карьеру, дослужится до бейтора...

— Ну, что, Григорий? — обратился Петр Иванович к Самсонову. — Что ты сам на это скажешь?

— Кланяюсь земно его светлости за великую честь, — отвечал Самсонов с низким поклоном. — Но от добра добра не ищут...

— Извольте слышать, ваша светлость, — подхватил Шувалов. — Мы с ним, так сказать, ансампарабли...

Светлейший, вместо ответа, повернулся к господину и слуге спиной. Так сделка и не состоялась.



Между тем императрицу обступили три кабинет-министра, умоляя выслушать несколько наиспешнейших дел. Анна иоанновна поморщилась, но уступила.

— Тебя, Андрей Иванович, я третий год совсем уже не вижу, — заметила она графу Остерману, тяжело опиравшемуся на свой косяк. — Все еще страдаешь своей подагрой?

— И подагрой, ваше величество, и хирогрой, — отвечал со вздохом Остерман, в подкрепление своих слов закатывая под лоб глаза и корча плачевную гримасу. — Только необходимость личной аудиенции заставила меня выехать в такую погоду.

— В таком разе я приму тебя раньше других. Уж не взыщи, Артемий Петрович, — извинилась государыня перед первым министром Волынским.

— Но после меня, ваше величество, после меня, — безапелляционно вмешался тут, подходя, Бирон.

— А у вас что, любезный герцог?

— У меня готовый уже указ о той важной реформе, коею вы столь интересовались.

— Коли так, то первая аудиенция, конечно,

принадлежит вам.

— Известно вам, господа, что это за важная реформа? — спросил Волынский своих двух со товарищей по кабинету.

Те отозвались неведением.

На следующий день недоумение их разъяснилось. Высочайшим указом, опубликованным в "С.-Петербургских Ведомостях": у рейт-пажей, лейб-кучера, лейб-форейтора и более мелких служителей конюшенного ведомства зеленые кафтаны с красными обшлагами и красные епанчи заменялись кафтанами и епанчами из желтого сукна, а красные камзолы черными.

## VIII. Азарт

Пока высшие сферы Петербурга проводили время в разнообразных развлечениях, русская армия, под начальством фельдмаршала графа Миниха, переносила всякие лишения и проливала потоки крови в войне с Турцией. Решительный поворот в этой кампании произвело взятие русскими, 19-го августа 1739 г., турецкой крепости Хотина; почему, по получении, спустя три недели, известие о том в Петербурге, во всех столичных церквах, 12-го

сентября, было благодарственное молебствие, а вечером в Зимнем дворце — бал. К немалой досаде придворных модниц, однако, танцы на этот раз происходили в «закрытых» платьях и продолжались всего до 11-ти часов вечера, так как, по случаю кончины герцога голштинского, при Дворе был наложен траур. Некоторым, впрочем, утешением служило им ожидаемое вскоре полное замирение турок, которое не могло не сопровождаться соответствующими празднествами.

Вслед за донесением Миниха пришла в Петербург из Фрейберга и торжественная ода на взятие Хотина, сочиненная молодым студентом Михайлой Ломоносовым, отправленным нашей Академией Наук за границу для приготовления к академической деятельности. Ода эта, впрочем, была оценена при Дворе не столько немецкой партией, сколько русской, — приверженцами цесаревны Елисаветы. Список с нее достал себе и Петр Иванович Шувалов, который прочел ее затем также своему юному камердинеру. Тот пришел в неописанный восторг и выпросил себе оду, чтобы списать ее и выучить наизусть.

— Изволь, — сказал Шувалов. — Только смотри, не заикайся об ней Третьяковскому.

— Почему же нет, сударь? Стихи Василью Кириллычу, наверное, тоже очень понравятся.

— Ни, Боже мой! Ему было предложено ведь от Академии воспеть ту же самую преславную викторию. Но покуда он очинивал свое перо, какой-то, вишь, студент из-за тридевять земель прислал уже готовую оду; вот теперь он и имени Ломоносова слышать не может.

Ломоносовская ода состояла не более, не менее, как из 280-ти стихов; но Самсонов, благодаря счастливой памяти, через несколько дней, действительно, знал ее всю наизусть.

При Дворе тем временем и Ломоносов, и сам герой Хотина были уже забыты. Увеселение зимнего сезона: балы, банкеты, концерты, спектакли оперные, драматические и балетные, сменялись одни другими; но самым обычным, а для очень многих и любимым препровождением времени (как мы уже говорили) была карточная игра и притом азартная. Одним из самых ярых игроков был гер-

цог курляндский; а так как основная цель всякого азарта — благовидным манером обобратить своего ближнего, обобратить же недруга все-таки не так зазорно, как доброго приятеля, — то Бирон ни мало не чуждался партнеров враждебного лагеря, а, напротив, рассылал им прелюбезные приглашение на свои картежные вечера; дам же, как принимающих всякий проигрыш черезчур близко к сердцу, вообще не приглашал.

Таким-то образом, одним ненастным октябрьским вечером, в числе явившихся в бироновский дворец на маленький «фараончик», оказались также сторонники цесаревны Елисаветы: первый министр Волынский, лейб-хирург цесаревны Лесток и двое ее камер-юнкеров, братья Шуваловы.

Игра происходила в двух гостиных: в одной очень просторной — за несколькими столами и в другой поменьше — за одним. Воздуху в начале и там и здесь было вполне достаточно. Но от свечей, ламп и множества гостей понемногу стало тепло и даже жарко, а от табачного дыма и душно. Играющие, впрочем, этого как-будто не замечали. Взоры всех были

прикованы к рукам своего «банкомета», который привычным жестом метал карты направо — для себя, налево — для «понтеров». Каждый из понтеров, выбрав себе из другой колоды одну или несколько «счастливых» карт, клал их на стол и накрывал своим «кушем» — ассигнацией или звонкой монетой, при проигрыше увеличивал ставку или менял карту, а при выигрыше загибал на «счастливой» один или несколько углов разнообразным манером, что имело свое, хорошо известное всем игрокам, каббалистическое значение. У одной стены на особом столе была приготовлена целая батарея бутылок, графинчиков, стаканов и рюмок, чтобы играющие могли временами "укрепляться". Лица у всех были сильно разгорячены — не столько, однако, от возвышенной температуры и выпитого вина, сколько от игорной лихорадки, выражавшейся также в неестественном блеске глаз, в нервных движениях и в радостных или бранных восклицаниях,

Братья Шуваловы играли в большой гостиной, но, по взаимному уговору, за разными столами. Петр Иванович, игравший с пере-

менным счастьем, перенял наконец «талью» и высыпал на стол всю бывшую у него в карманах наличность, как «фонд» для своего банка. Заложил он банк как раз во-время: он «бил» карту за картой, и вскоре перед ним выросла целая гора червонцев и ассигнаций.

— Передаю талю, — объявил он. — Надо отдышаться...

рассовав весь свой выигрыш по карманам, он отошел к столу с винами и опорожнил залпом полный стакан; затем прошелся несколько раз взад и вперед, обмахиваясь платком. В ушах у него звучало только «бита», «дана», "pliê", долетавшие к нему как от окружающих столов, так и из меньшей гостиной, где играл сам светлейший хозяин с важнейшими савонниками.

"Неужели все мы тут поголовно рехнулись? — подумал Шувалов. — Все, кажется, люди неглупые, а бессмысленнее занятие, право, не выдумаешь. Может-быть, есть еще здравомыслящие в кабинете?"

Он заглянул в соседний хозяйский кабинет. Здесь, действительно, оказались трое неиграющих: австрийский посланник маркиз

Ботта, Волынский и Лесток, мирно беседовавшие о текущих политических и общественных делах.

Кстати скажем тут несколько слов о Лестоке. Происходя из семьи французов-реформатов, с отменой нантского эдикта эмигрировавших из родной своей Шампаньи в Германию, иоганн-Герман Лесток родился в 1692 г. в небольшом люнебургском городке Целле (в 35-ти верстах от Ганновера). Переняв первые приемы хирургии от своего отца, не то бородобрее и мозольного оператора герцога люнебургского, не то его лейб-хирурга, он собрался окончить свое образование в Париже, но за что-то угодил там в тюрьму, а когда отсидел свой срок, то поступил лекарем во французскую армию. Слухи о карьере, которую делали иностранцы при русском Дворе, соблазнили его вскоре попытать также счастье в России. Сумев понравиться царю Петру, он сделался его лейб-хирургом, а по смерти Петра — лейб-хирургом же его любимой дочери, цесаревны Елисаветы. В данное время у него за плечами было уже 47 лет; тем не менее, он одевался по последней парижской моде, но-



сил парик с самоновейшим «тупеем» — "en aile de pigeon", и врожденные французам живость и невозмутимая веселость делали его везде желанным гостем.

— Ah, m-r Shouwaloff! — обратился он к входящему камер-юнкеру цесаревны на родном своем языке (русской речи он за все 25 лет своего пребывания в России не дал себе труда научиться). — Колесо фортуны вам, видно, изменило?

Петр Иванович, вместо ответа, забрянчал звонкой монетой, наполнявшей его карманы.

— О! Кого ж вы это ограбили?

— Прежде всего, кажется, вас самих, любезный доктор, Вы что-то очень уже скоро исчезли от нашего стола.

— Исчез, потому что отдал вам свою дань: пять золотых.

— Не больше?

— Нет, у меня ассигнуется всегда одна и та же цифра, ни больше, ни меньше. Проиграю — и забастую; а улыбнется раз мадам Фортуна, так я обезпечу себя уже на несколько вечеров.

— Да, вы, доктор, выдерживаете характер,

как настоящий европеец, — заметил маркиз Ботта. — Русский человек от природы уже азартный игрок и во-время никогда не остановится. Карман азартного игрока — решето, бочка Данаид: сколько туда не наливавай — все утечет до капли.

— Ваш покорный слуга, г-н маркиз, как видите, составляет блестящее исключение, улыбнулся Шувалов. — А у вас в Вене, скажите, разве играют меньше, чем у нас в Петербурге?

— В азартные игры — куда реже. Мы предпочитаем игры коммерческие, более разумные и спокойные.

— Что бостон и вист более разумны — я не спору. Но чтобы они были и более спокойны, — простите, маркиз, я не согласен: ведь как бы хорошо вы сами ни играли, плохой партнер безпрестанно портит вам кровь, особенно, если он воображает себя еще хорошим игроком. Как бы вы ни сыграли, — вы всегда виноваты. А попробуйте-ка оправдываться, что сыграли по правилам, "По правилам! Точно не бывает и исключений! Лучше бы, право, и за стол не садиться, если играешь как са-

пожник".

— Да, русские вообще очень экспансивны, — тонко усмехнулся Лесток. — Вы отнюдь не дипломаты.

— Есть между нами и дипломаты, которые ведут себя дипломатами и за картами. Но такой дипломат, если и не станет бранить вас в лицо, зато взглянет на вас с таким изумлением, так снисходительно пожмет плечами, испустит такой выразительный вздох, — что вас в жар бросит, вы растеряетесь и невольно уже сделаете явную ошибку, которая зачтется вам потом, конечно, на весь вечер. Нет, уж Господь с ними, с этими коммерческими играми! То ли дело банк, где бой на жизнь и смерть.

— *La bourse ou la vie?* Грабеж среди белого дня, — виноват: среди белой ночи.

— Нет, доктор, это не простой грабеж, а благородный бой с равным противником, в своем роде турнир.

— Так что же вы не побьете главного борца?

— Кого, герцога? То-то, что он не равный борец: сам он терпеть не может проигрывать

и как бы требует, чтобы все слагали перед ним оружие.

— А было бы вовсе не вредно хоть раз пустить ему кровь, — заметил молчавший до сих пор Волынский. — Вы, Петр Иванович, нынче ведь в изрядном, кажется, выигрыше? Что бы вам сорвать у него банк?

— А ваше высокопревосходительство меня благословляете?

— Благословляю от всей души. На всякий случай, впрочем, доктор, не возьметесь ли вы быть секундантом молодого человека. Почему знать? Может-быть, ему понадобится и хирургическая помощь.

— Будем надеяться, что не понадобится, — улыбнулся в ответ Лесток и своей легкой, эластичной походкой последовал за Шуваловым во вторую гостиную, где играл герцог с избранными партнерами.

## **IX. Человек на карте**

Сорвать тотчас банк у Бирона Шувалову не представилось, однако, физической возможности: метал банк не сам хозяин, а один из гостей — генерал-полицеймейстер Салтыков.

— Diable! — выбранился с досады Петр Иванович и стал перебирать лежавшую на боковом столике к услугам понтеров колоду.

— А вы разве не выждете тальи герцога? — спросил его шопотом Лесток.

— Да скучно, знаете, ждать! Притом надо пользоваться счастьем, пока везет. На какую бы карту вернее поставить?

— А у вас нет своей верной дамы сердца, червонной дамы?

— Дама-то есть, — отвечал Шувалов, вспомнив об Юлиане Менгден, — но червонная ли она и верна ли, — еще вопрос. Сделать разве пробу?

Отыскав в колоде червонную даму, он подошел к играющим и попросил у банкмета разрешение поставить также карту.

— Сделайте одолжение, — с холодной вежливостью отвечал Салтыков. — Но наименьшая ставка у нас — золотой.

Петр Иванович вспыхнул и, положив свою карту на стол, насыпал сверху, не считая, целую горсточку золотых.

— С места в карьер, молодой человек, — заметил Бирон.

— Да, ваша светлость, курц-галопа я не признаю.

Банкомет начал метать. Дама легла направо.

— Дама бита! — возгласил Салтыков и загреб к себе всю ставку.

— Курц-галоп-то все же вернее, — усмехнулся герцог.

— Ein mal ist kein mal! — отозвался по-немецки Шувалов и, достав из кармана новую, еще большую горсточку золотых, накрыл ими ту же карту.

— Дама бита! — повторил банкомет, и вторая ставка точно так же перешла в его владение.

— Zwei mal ist nichts, — подзадорил молодого игрока с своей стороны Бирон.

— Не горячитесь, — услышал Шувалов за собою тихий голос Лестока. — Не забывайте вашей главной цели.

Но того обуяла уже игорная страсть, да к тому же взоры всех играющих были обращены на него. Он выгрузил на стол все, что у него было в карманах и золотом, и смятыми ассигнациями.

— Все это на одну карту? — нашел нужным спросить его Салтыков.

— Ваше превосходительство затрудняетесь принять такую крупную ставку?

Очередь покраснеть была теперь за обер-полицеймейстером. Отвечать он счел ниже своего достоинства.

— Дама бита! — раздалось в третий раз.

— Prrr! angekommen! доехали! — сострил герцог, и кругом слышался сдержанный смех.

— Не совсем... — пробормотал Шувалов сквозь зубы и достал свой бумажник.

Но бумажник оказался пуст: давеча, закладывая банк, Петр Иванович выложил на стол все, что у него там было, и обратно потом ничего уже не клал. Бирон, наблюдавший за всеми его движениями, хотел, должно быть, его окончательно пристыдить и иронически предложил ему поставить на карту своего камердинера, который ведь также такой мастер скакать во весь карьер.

— И поставлю! — воскликнул Шувалов, потерявший уже голову.

Лесток дернул его сзади за рукав; но он от-

тряхул его от себя и обратился к банкомету:

— Вы, генерал, видели ведь тоже моего человека, Самсонова, в манеже?

— Видел, — отвечал Салтыков. — Лихой наездник.

— Обошелся он мне самому в полторы тысячи рублей. Не позволите ли вы мне поставить его на карту в этой сумме?

В иное время банкомет, быть может, и стал бы возражать против столь высокой оценки вовсе ненужного ему человека; но самолюбие его было уже слишком больно задето, и он отвечал коротко:

— Извольте.

Однако и четвертая дама упала направо.

У Петра Ивановича потемнело в глазах; он должен был ухватиться за край стола, чтобы не упасть.

— Вам, генерал, — этот Самсонов ведь ни к чему, обратился тут Бирон к Салтыкову. — Уступите-ка мне его. Что вы с меня за него возьмете?

— Простите, господа, — запротестовал Шувалов, — но это было бы против основных правил игры: все, что выиграно банком, оста-



ется в кассе банка до конца тальи, и не может быть изято оттуда.

— Но оно может быть выиграно! — вскричал Бирон. — Я ставлю на карту против того Самсонова те же полторы тысячи.

— Ваша светлость верно не откажете прежнему владельцу раньше вас отыграть его себе? Прошу о том со всей аттенцией и респектом.

Герцог, чванливо фыркая, обвел окружающих игроков враждебно-вопрошающим взором. Никто из них не решился открыто принять сторону его молодого противника; но выражение их лиц не оставляло сомнение, что общие симпатии все-таки на стороне Шувалова.

— По статуту моего дома, г-н Шувалов, — произнес он сухо-деловым тоном, — за сим столом играют только на чистые деньги.

Петр Иванович весь побледнел и затрясся. Но самообладание у него все-таки достало еще на столько, чтобы ответить с должною сдержанностью:

— Деньги я в один момент добуду...

— Schön! Подождем еще один момент и

два, и три момента, — великодушно согласился с усмешкой Бирон, уверенный, очевидно, что такой суммы легкомысленному камер-юнкеру цесаревны сейчас все равно не откуда будет взять.

Первые попытки Петра Ивановича в этом направлении, действительно, были безуспешны. Когда он, вместе с Лестоком, возвратился в большую гостиную и обратился к своему спутнику с просьбой — Бога ради его выручить, — тот напомнил ему свое неизменное правило — не издерживать на игру в один вечер более пяти червонцев.

— Впрочем, и без того, cher ami, я ни гроша не дал бы вам займы, — добавил он самым дружелюбным тоном: — не потому, чтобы не хотел вас выручить (о, я готов для вас на всякие моральные жертвы), а потому, что хочу сохранить с вами прежние добрые отношения; между должником и кредитором, будь они лучшими приятелями, отношение тотчас портятся; это — аксиома.

— Я забыл, доктор, что вы ведь не русский с душой нараспашку и всякий душевный порыв взвешиваете на весах благоразумие! — с

горечью проговорил Шувалов и подошел к столу, за которым играл его старший брат.

Но и тому не везло: на столе перед ним лежало всего несколько серебряных рублей, из которых один он ставил только-что на карту.

— Ваш брат тоже сидит на мели, — заметил Лесток. — Если вы уж непременно хотите отыграть своего человека, то есть здесь еще один русский, который скорее других войдет в ваше критическое положение...

— Вы про кого это говорите, доктор?

— Да про нашего премьера: у него ведь тоже натура широкая.

— Вот это верно!

И, уже не колеблясь, Петр Иванович завернул в хозяйский кабинет и подошел к Волынскому, беседовавшему еще там с австрийским посланником.

— Не возьмите во гнев, ваше высокопревосходительство, — начал он, — но я в таком безвыходном амбара...

Тот не дал ему договорить и поставил вопрос прямо:

— Вы проигрались?

— В пух и прах, и все на той же проклятой

даме червей! Да дело для меня не в проигранных деньгах; Господь с ними...

— Так в чем же?

— В том, что проиграл я и дорогого мне человека...

— М-да, это уж совсем непростительно.

— Сознаю, ваше высокопревосходительство, и каюсь! Главное, что герцог имеет еще против него зуб и не-весть что с ним сотворит...

— Да это не тот ли молодчик, которого он хотел купить у вас тогда в манеже?

— Тот самый. Помогите, Артемий Петрович, отец родной!

— Это было бы бесполезно: завтра вы его опять поставили бы на карту.

— Клянусь вам...

— Не клянитесь: грех взяли бы на душу. Выиграл его у вас, говорите вы, сам герцог?

— Нет, Салтыков; но герцог готов поставить уже против него полторы тысячи.

— Ого!

— Да Самсонову моему цены нет. Я завтра же верну вам всю сумму...

— Которую займете у ростовщика за без-

божные проценты? Нет, мы сделаем это иначе. Из когтей герцога я беднягу вырву; но самим вам придется с ним уже распротиться. — Я сейчас вернусь, — предупредил Волынский маркиза Ботта направился через первую гостиную во вторую.

— В вашей банке, генерал, разыгрывается живой человек по имени Самсонов? — обратился он к банкомету.

— Да, ваше высокопревосходительство, — отвечал видимо удивленный Салтыков. — Но разыгрываю я его не от себя.

— Знаю; его вам проиграли, и теперь он в вашей кассе. Идет он в полтора тысячах?

— Точно так.

— Такой суммы у меня случайно с собой не имеется; но надеюсь, что я пользуюсь у вас кредитом?

— Еще бы! На всякую сумму.

— Благодарю вас. Так я ставлю за него на даму полторы тысячи.

Светлейший хозяин молчал до сих пор с видом затаенной злобы. Сослаться на «статут» своего дома перед первым кабинет-министром ему было уже неудобно, тем более,

что и некоторые из его сановных партнеров играли уже на мелок.

— А я ставлю столько же и один рубль, — объявил он, высокомерно приосанясь.

— Две тысячи, — по-прежнему не возвышая голоса, сказал Волынский.

— И рубль! — выкрикнул не своим голосом Бирон.

— Три тысячи.

— И рубль!

— Четыре тысячи.

Хмуро-багровое лицо курляндца исказилось бессильною ненавистью.

— *Infamer Mensch!* — пробурчал он, скрежеща зубами.

— Повторите, герцог, что вы изволили сказать? — спросил Волынский с тем же наружным спокойствием, но вспыхнувший в глазах его зловещий огонек выдавал поднявшуюся в душе его бурю. — Я не совсем расслышал.

— Это было не про вас... — уклонился герцог, задыхаясь. — Ну, и проигрывайте на здоровье!

— Ваша светлость, значит, отступаетесь? — переспросил его Салтыков.

— Nun ja, zum Kuckuck!

Банкомет стал снова метать. На этот раз дама наконец ему изменила и вскрылась налево.

— Дама!

— Самсонов, стало быть, от сего часа уже мой? — произнес все так же невозмутимо Волынский.

— Ваш! — отвечал Салтыков. — Но теперь вы имеете дело уже не со мной, а вот с г-ном Шуваловым.

— Завтра же поутру, ваше высокопревосходительство, он будет в вашем доме, — подхватил стоявший тут же Шувалов. — Уж как я вам обязан — слов у меня нет!

В душе он, однако, еще так досадовал, негодовал на самого себя, что, не дождавшись ужина, убрался во-свояси. Когда тут дверь ему открыл Самсонов, — при виде безмятежного и заспанного лица юноши, у Петра Ивановича не достало духу признаться, что он с ним сделал.

"Узнает все равно поутру", — успокоил он себя. Но настало утро, Самсонов подал кофе, молчать долее уже не приходится; а сказать

всю правду попрержнему так совестно...

— Вот что, Григорий...

— Что прикажете?

— Вчера, ты знаешь, был картеж у герцога Бирона... Он завел опять речь о тебе, просил продать тебя ему...

— Боже упаси! Но вы, сударь, ему отказали?

— Прямо отказать, ты поймешь, было очень трудно. По счастью был там и Волынский Артемий Петрович...

— И вступился за меня?

— Да... т.-е. перебил тебя у герцога... Тебе, голубчик, будет у него куда лучше еще, чем у меня: ты знаешь ведь, какая он сила при Дворе..

Самсонов вдруг все понял.

— Скажите уж напрямик, ваше благородие, что проиграли меня в карты!

— Ну да, да... Dieu me damne! И врать-то, как следует, не умею...

От горькой обиды у Самсонова навернулись на глазах слезы.

— Не думал я, сударь, что я для вас гроша не стою!



— Напротив, голубчик, ты пошел в целых четырех тысячах рублях; только мне-то от них ничего не перепало; по губам только помазали. Ну, не сердись, прости!

И бывший господин крепко обнял своего бывшего слугу.

— Бог вам судья... — прошептал Самсонов. — А когда ж мне явиться к г-ну Волынскому?

— Я обещал ему прислать тебя еще нынче с утра. Ты не слишком ведь сердит на меня, а?

Самсонов махнул только рукой, как бы говоря:

"Что пользы сердиться на такого шлопая?"

## **Х. Читатель знакомится ближе с главою русской партии**

**Н**е без сердечного трепета предстал Самсонов перед Артемием Петровичем Волынским, первым, после Бирона, вершителем судеб русского народа.

— Смотришь ты всякому в глаза прямо и смело: это мне любо, — промолвил Волынский, оглядев благообразного и статного юношу строгим, но, вместе с тем, и благосклон-

ным взглядом. — Только смелости, юной прыти этой у тебя не в меру, кажись, много. Сам я видел, какие штуки ты выделывал в манеже. Муштровать лошадей ты — мастер. Но и самому тебе нужна еще муштровка. Ну, кубанец, — обернулся Артемий Петрович к стоявшему тут же дворецкому, — возьми-ка его в свои руки, да доложи мне потом, на что он всего больше годен. Можете оба итти.

Дворецкий, Василий Кубанец, продувной выкрест из татар, был вывезен Волынским еще из Астрахани (где Артемий Петрович был прежде губернатором) и сумел вкрасься в его полное доверие. Неудивительно, что в звании дворецкого у первого министра он сильно зазнался. От зоркого глаза его, однако, не ускользнуло, что Самсонов понравился его господину; а потому и сам он отнесся к нему довольно снисходительно.

— Наслышан я о тебе, прыгун, наслышан, — сказал он. — Куда я тебя теперь суну? Настоящее место было бы тебе на конюшне...

— У господ Шуваловых я был по камердинерской части, — заявил Самсонов. — Кабы твоя милость определила меня к особе Арте-

мие Петровича.

— Ишь, куда хватил! И впрямь прыти этой у тебя не в меру много. Ведает тою частью у нас старый камердин Маркел Африканыч; с ним тебе и поговорить-то за честь, а не то, чтобы... Да, может, ты еще и из брыкливых...

— Стану брыкаться, так отослать на конюшню всегда успеешь. А Маркелу Африканычу я был бы за сподручного. Старику все же было бы легче.

— Нет, любезный, передокладывать сейчас о тебе Артемию Петровичу я не стану. Поработаешь у меня перво-на-перво и в буфетной.

Вначале вся остальная прислуга в доме относилась к новому молодому товарищу с известным предубеждением, и самому Самсонову в этом чужом кругу было не совсем по себе. Но его собственная обходительность и веселый нрав, его расторопность и ловкость заслужили ему вскоре общее расположение. А тут старик-камердинер крепко занедужил и слег.

— Ну, Григорий, — объявил Кубанец Самсонову, — докладывал я сейчас о тебе: что малый ты, мол, умелый и со смекалкой. Доколе

Африканыч наш не встанет опять на ноги, ты заступишь его, якобы его сподручный. Смотри площад!

И «малый» не «плошал», живо приноровился к привычкам и требованиям своего нового господина, так что когда неделю спустя Африканыч, совсем уже расклеившись, стал слезно проситься на поправку в деревню к старухе-жене и детям, — просимый отпуск был ему тотчас разрешен, а Самсонов вступил, хотя и временно, но в безконтрольное уже исполнение обязанностей первого и единственного камердинера.

В кабинете Артемии Петровича, над письменным столом висело под стеклом в золотой рамке его "родословное дерево" {Это родословное дерево, расписанное для А. П. Волынского переводчиком Академии Наук, небезизвестным в свое время писателем Григорием Николаевичем Тепловым (1720–1779), сохранилось и по настоящее время в семье Селифонтовых к которым перешло из семьи Волынских.}.

В отсутствие хозяина, убирая его кабинет, Самсонов имел полный досуг рассмотреть эту родословную. Родоначальником Волынских,

как оказалось, был князь Димитрий Боброк-Волынец, современник великого князя Димитрие Донского, женатый на его родной сестре, княжне Анне.

Когда Самсонов упомянул об этом дворецкому Кубанцу, тот указал ему еще, среди развешанного на другой стене разного оружие, на старинную, поржавелую саблю, которою, по семейному преданию Волынских, прародитель Артемие Петровича сражался в рядах Димитрие Донского в Мамаевом побоище на Куликовом поле.

От того же Кубанца, а также и от других домочадцев, Самсонов постепенно узнал про своего нового господина всю вообще «подноготную».

Отца своего, который был воеводой в Казани, Волынский лишился еще в раннем детстве. Не желая оставить мальчика на руках мачехи, один из родственников, боярин Салтыков, взял его к себе в дом. Под благотворным влиянием своего приемного отца, человека для своего века очень просвещенного, даровитый юноша настолько выдавался среди своих сверстников, что обратил на себя

внимание царя Петра. Двадцати шести лет от роду он был уже царским посланником в Персии, а три года спустя — губернатором во вновь учрежденной Астраханской губернии. При Екатерине I он был переведен из Астрахани губернатором же в Казань. С воцарением Анны иоанновны он был назначен воинским инспектором в Петербург, затем обер-егермейстером и, наконец, в апреле 1738 г., первым кабинет-министром.

Что касается семейной жизни, то Волынский был женат дважды: сперва на двоюродной сестре Петра I, Нарышкиной, потом на не менее родовитой Еропкиной. Овдовев вторично, он воспитание своих трех малолетних детей от второго брака: двух девочек и мальчика, предоставил няням, чтобы всецело отдаться своей государственной деятельности. Ходили, правда, слухи, что он, ради своих малюток, собирался жениться еще в третий раз, и наметил уже будто бы себе невесту в дочери графа Михаила Гавриловича Головкина, но, за делами, так и не привел своего намерение в исполнение.

Пока Бирон способствовал его возвыше-

нию Волынский для виду дружил с ним; достигнув же поста первого министра, он сбросил маску открыто выступил главою русской партии и нажил себе таким образом во временщике, главе немцев, непримиримого врага. Так как сотоварищи его по кабинету; Остерман и Черкасский, склонялись оба скорее в сторону Бирона, то Артемий Петрович озаботился окружить себя единомышленниками из образованных «фамильных» русских людей. Ближе всех к нему были: гоф-интендант Петр Михайлович Еропкин, обер-стер-кригскоммисар Федор Иванович Соймонов, президент коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, советник берг-коллегии Андрей Федорович Хрущов и инженер (впоследствии известный историк) Василий Никитич Татищев. В этот же патриотический кружок имели доступ еще некоторые сочувствовавшие его целям сановники, два архиерея, два врача (в том числе Лесток), несколько офицеров и, наконец, известный поэт-сатирик князь Антиох Кантемир, русский посол сперва в Лондоне, а потом в Париже.

В качестве камердинера Артемие Петровича, Самсонов знал в лицо всех участников патриотического кружка, чаще же других видел, конечно, пятерых выше названных «конфидентов» хозяина и трех его секретарей: Яковлева, Эйхлера и де-ла-Суда.

Весь день у Волынского был распределен по часам: начинался он с приема просителей и с докладов подчиненных; затем следовали совещание с сотоварищами по кабинету, заседание в сенате и разных коммиссиех. Доклады у императрицы происходили вне очереди, так как Анна иоанновна, как уже знают читатели, принимала такие доклады крайне неохотно и только в самых неизбежных случаях. Вечера же, свободные от обязательных выездов во дворец и к другим сановникам, Артемий Петрович проводил до глубокой ночи у себя в кабинете за чтением и подписыванием служебных бумаг или же в откровенных беседах со своими «конфидентами».

Прислуживая беседующим, Самсонов невольно и вольно перехватывал на-лету обрывки этих бесед, и все более знакомился таким образом с личными воззрениями и ха-



рактором своего господина.

## **XI. Макиавелли и иуда-предатель**

— Дивлюсь я тебе, Артемий, — заметил однажды Еропкин, который, как брат второй жены Волынского, был с ним на «ты»: — как это ты, скажи, доселе еще не перегрызся с Бироном и Остерманом и словно даже ладишь с ними...

Артемий Петрович пожал плечами.

— Либо с волками выть, либо седену быть, сказал он. — Что станется с нашей матушкой Россией, если я перегрызусь с ними? Россию они сядят, а мною закусят. По-неволе обращаешься к методу Макиавелли, и делаешься, когда нужно, глух и нем.

— Но оба: и Бирон, и Остерман не упускают случая клеветать на тебя.

— Клевету любят, клеветников презирают. На днях еще я так и сказал государыне: "оправдываться, ваше величество, я считаю для себя унижительным, да и напрасным: правда говорит у вас здесь, во дворце, таким тихим и робким голосом, что до ваших ушей слова ее, все равно, не доходят".

— Однако, Артемий Петрович, это уже во-

все не похоже на Макиавелли! — воскликнул один из собеседников.

— О, кабы я был Макиавелли! большая часть людей ведь недалеко и упрямы, а упрямого человека, все равно, не переупрямишь, не переубедишь. Упрямство — шестой орган чувств у тех, у кого слабы остальные чувства. Лезет этакий упрямец правой рукой в левый рукав кафтана, — ну, и пускай. Сам бы потом уж заметил, опомнился. А я вот, нет-нет, да и ляпну: "куда, дурак, лезешь!" Ну, он из амбиции на зло еще полезет дальше и оборвет всю подкладку, а то и самый рукав. Да, будь я Макиавелли!..

"Макиавелли... Макиавелли..." — повторял про себя Самсонов, тщетно отыскивая в своей памяти это незнакомое ему имя. А на другой день, улучив минуту, когда старший из секретарей Артемии Петровича, Яковлев, был один в кабинете, он спросил его: кто такой — господин Макиавелли?

Яковлев на него и глаза выпучил.

— Да ты, братец, от кого слышал его имя?

— Вечор Артемий Петрович с приетелями поминали об нем, словно бы о великом хит-

роумце.

— Да, такого другого хитроумца поискать!

— А что он, здешний или москвич?

Яковлев расхохотался.

— Не здешний он и не москвич, а разумник всесветный, родом же итальянец и жил слишком двести лет до нас. Столь мудрого государственного мужа еще не бывало, да вряд ли когда и будет.

— Так не его ли поучение наши господа вместе по вечерам и читают?

— Весьма возможно. Ну, да все это, братец, не твоего лакейского ума дело! — спохватился тут секретарь. — Ступай.

Догадка Самсонова была совершенно верна. Волынский и его сообщники сообщали изучали и обсуждали политические сочинения Макиавелли (1469–1527), особенно его знаменитое "Il principe" ("Правитель"), а также сочинение голландца Липсие (1547–1606) и некоторых менее известных политиков Западной Европы. Одни сочинения читались в русском переводе (как напр. "Политические учение" Липсие в переводе или, точнее, в переработке иеромонаха Кохановского), другие —

в оригинале; причем, за недостаточным знанием Волынским иностранных языков, его шурин Еропкин переводил прочитанное тут же по-русски. Татищев в свою очередь знакомил приетелей с своей рукописной еще тогда "Историей Российской", которая, указывая на "повреждение нравов" русского народа, давала возможность проводить параллель между русским государством и иностранными.

Слыша эти чтение и рассуждение по их поводу только мимолетно и урывками, Самсонов, при своем научном невежестве, не мог, конечно, вынести из слышанного сколько-нибудь ясное представление о том, что так занимает собеседников. Но, обладая наблюдательностью и природною сметкой, он догадывался, что эти горячие прение происходят неспроста.

— Вот как польские сенаторы живут, заметил однажды Волынский: — ни на что не смотрят, все-то им можно. Сам круль их не смеет ни чего сделать польскому шляхтичу; а у нас что? Всего бойся, даже за доброе дело берись с опаской да с оглядкой, а вернее вовсе за него не приступай. Отчего все наше

неустройство? — От того, что сильные мира сего не знают узды своему произволу. Двор и барство безмерно роскошествуют, тратят не свои только, но и казенные доходы безотчетно, как воду. А купечество притесняется, разоряется; крестьяне изнывают под непосильными работами и незаконными поборами; законы наши противоречат один другому. Не даром у народа сложилась пословица: "закон — что паутина: муха завязнет, а шмель проскочет". Судьи наши крючкотворствуют в пользу того, от кого им больше посулов. Ох уж эти посулы!

— Грех сладок, а человек падок, — отзывался один из приетелей. — Однакож и этакий грешник охотно поможет ближнему в беде. Душа у русского человека все же еще не совсем заглохла.

— Душа, а не совесть. Совесть у большинства — что палка: когда нужно, он на нее упирается, а когда ее не нужно, он ставит ее в угол. Испортились мы теперь, русские люди: мы друг друга едим и сыты бываем!

— Все от нашего великого невежества и скудоумие.

— От невежества — да, но не от скудоумие. Русский человек от природы ни мало не скудоумен. Оттого-то у меня сердце так и сосет обида. Первее всего нам должно просветить себя от темноты: для воевод и прочих гражданских чинов нужна высшая школа — университет; для духовенства — духовная академия; для разночинцев — низшие школы; для крестьян — школы грамотности.

— Но ведь вы, Артемий Петрович, еще года четыре назад подали в генеральное собрание кабинета министров свои препозиции об экономических нуждах России?

Волынский глубоко вздохнул и поднял глаза кверху.

— Подал, — и все как в воду кануло: самовластью куда поваднее в мутной воде рыбу ловить. Так вот, господа, дабы обуздать самовластье, мною составлен ныне генеральный прожект на иной фасон. Шляхетство должно быть тоже допущено к участию в управлении государством по свободному из своего корпуса выбору. В верхнюю палату — сенат — выбирались бы люди фамильные, родословные; в нижнюю палату — от шляхетства среднего

и низшего... {Кроме своего генерального проекта о новом государственном строе, Волынским было написано еще несколько рассуждений: "О гражданстве", "О дружбе человеческой", "Каким образом суд и милость государям иметь надобно" и другие.}

— Прости, мой друг, — прервал Артемие Петровича Еропкин. — Надумано все это прекрасно; но не есть ли то некий обманчивый фантом? Где мы возьмем сейчас учителей для твоих высших и низших школ? Где мы наберем теперь же просвещенных людей хоть бы на высшие должности?

— На первое время мы будем посылать для сего недорослей из знатных фамилий в заграничные школы, где бы они подготавливались к поприщу государственности и к подвигам отчизнолюбие, как делывал уже то незабвенной памяти царь Петр Алексеевич.

— А Бирон со товарищи, ты думаешь, так вот и попустят твои конюнктуры? Они ведь тоже выдают себя за радетелей о благе общем и славе монаршей.

— С ними я буду иметь, вестимо, не малую прю. Ну, а станут они нам поперек дороги, —

продолжал Волынский, и глаза его засверкали фанатическим огнем, — так мы всех их выметем одной метлой!

— Ты все забываешь, друг милый, что они за спиной государыни, как за каменной стеной.

— Особа ее величества для меня священна. Но у меня изготовляется для государыни еще особая промеморие, которая, крепко надеюсь, возымеет свое действие. В записке сей я вывожу на чистую воду все их подвохи и вымыслы, и в чем их закрытая политика состоит.

— Эх, Артемий, Артемий! Как звался, бишь, тот юный безумец, что привязал себе на спину восковые крылья и взлетел к солнцу, да упал вниз и разбился до смерти? Икар, что ли? Ты давно уже не юнец, а боюсь, такой-же Икар; не растопились бы на солнце твои восковые крылья! Недруги твои не дремлют и постараются тебя погубить.

— Ну, что-ж, — воскликнул Артемий Петрович. — Господь Бог, Вседержитель и Сердцеведец, видит мое сердце. Для блага своего народа я готов и голову на плаху сложить. Таков моей природы чин и склад. Но мы с ними еще



до последнего поборемся, и кто кого в конце концов одолеет, — бабушка еще на-двое сказала.

В это время в кабинет робко заглянула нянюшка, ведя за руку четырехлетнего сыночка хозяина.

— Не погневись, батюшка, — зоговорила она, — но в детской птенчику твоему слышен был отсюда твой зычный голос, и он ни за что, вишь, не давал уложить себя в кроватку, доколе твоя милость не благословит его.

— Золотой ты мой мальчик! поди сюда, поди! — с необычною у него нежностью подозвал к себе мальчугана отец.

Взяв его кудрявую головку в обе руки, он поцеловал его и затем осенил крестным знаменем.

— Счастлив ты, сыночек, что такого отца имеешь. И сам ты, уповаю, станешь раз тоже усердным ревнителем об истинной пользе отечества; в сем уповании я почерпаю бодрость и силу. Ну, ступай теперь с Богом, и спи себе спокойно: отец твой бодрствует за тебя и за всю нашу родную матушку-Русь.

Самсонов, который был свидетелем этой

сцены, глубоко умилился сердцем.

"Пусть он иной раз и не в меру крут и суров с нами, своими рабами, — подумал он. — Но он любит свой родной народ, готов жизнь свою за нас отдать, — и это ему не за такие еще грехи зачтется! Только как-то еще выгорит его записка?"

Узнал о том Самсонов уже в один из ближайших дней. С утра отправясь с докладом в Зимний дворец, Волынский возвратился оттуда сам не свой. Сорвав с себя орденскую ленту, он не дал Самсонову даже снять с него форменный кафтан, а крикнул:

— Яковлева!

Когда тут старший кабинет-секретарь появился в дверях, Артемий Петрович подступил к нему с сжатыми кулаками и обрушился на него с позорнейшим обвинением:

— Криводушный ты человек, иуда-предатель! Я тебя в люди вывел, к себе приблизил, на груди пригрел, а ты, змее подколотная, меня же кусаешь, брызжешь на меня своей ядовитой слюной!

Тот стоял перед рассвирепевшим начальником ни жив, ни мертв, и лепетал побелев-

шими губами:

— Да дерзнул ли бы я, ваше высокопревосходительство, предпринять что-либо против вас, моего главного куратора? Служил я не щадя сил, старался всегда с пунктуальностью выполнять начальственные предначертание... Сам Бог — мой свидетель...

— Молчать! Еще имя Бога, безбожник, берешь в свои нечистые уста! — прервал его Волынский и замахнулся уже рукой, но тотчас опустил опять руку.

— Не хочу и рук марать о такую гадину!

— Заверяю же ваше высокопревосходительство, что я ничему не причинен... У меня и думано ничего такого не было. Наклепал, знать, на меня Эйхлер, либо де-ла-Суда...

— Молчать, говорю я! — гаркнул еще громче Артемий Петрович и ногой притопнул. — Ты, мерзавец, рад и на своих товарищей взвести свои собственные провинности, потопить их за то, что служат они мне честно и неподкупно. Я подал нынче государыне записку о новом государственном устройстве, а она мне в ответ, что таковая ей уже доподлинно известна, что сочинялась она у меня на тайных

ночных сборищах небогомыслящими людьми. Когда же я стал допытываться, кто посмел выдать о моих ночных собраниях и воровским манером списать ту записку, — государыня не сочла нужным скрыть от меня, что получила список от графа Остермана, а Остерман от тебя. Стало-быть, ты — креатура Остермана и присяжный враг своего народа. Себя я успел очистить перед ее величеством от лживых нареканий; она вняла моим добрым побуждением и обещала принять их в соображение. Тебя же, сударь мой, за твои ковы и шиканы она отдала мне в руки: как за блогорассужу, так с тобой и поступил бы.

Предатель повалился в ноги начальнику и, всхлипывая, обхватил его колени.

— Ваше высокопревосходительство! кормилец мой, раделец! Каюсь: грех попутал... Но его сиятельство граф Андрей Иванович обещал обезпечить меня потом довольственной жизнью на весь век... В рассуждение великого искушение и многочисленного семейства нашло некое помрачение ума... Пощадите!

Артемий Петрович с гадливостью оттолкнул ногой пресмыкающегося.

— Прочь! Не ради тебя самого, а только ради твоего семейства я, так и быть, тебя пощажу. Но чтобы в Петербурге и духу твоего уже не было! Сегодня же собирай свои пожитки, а завтра, чем свет, отправляйся на постоянное жительство в Выборг... Самсонов! выведи его вон.

Не ожидая уж, пока молодой камердинер поможет ему подняться, отставленный секретарь вскочил с полу и выскользнул в дверь.

## **XII. Попугай мадам Варленд**

Третью ночь уже под ряд Марта, эстонка-камеристка баронессы Юлианы, мучилась зубною болью. Помещалась она за занавеской в маленькой передней к спальням своей госпожи и Лилли. Привыкнув в деревне вставать спозаранку, Лилли и теперь спала под утро чутким сном. И вот, еще до рассвета (дело происходило в первой половине ноября), ее разбудили сдавленные стоны из передней. Она прислушалась.

"Да это Марта! Верно, опять зубы... Как бы помочь ей? Пойти, посмотреть..."

Спичек тогда еще не было изобретено, и огонь высекался огнивом из кремня. А так

как такое добывание огня было довольно мешкотно, то в спальнях на ночь, обыкновенно, зажигался ночник. Такой же ночник горел и у Лилли. С ночником в руке, в одной сорочке да в туфельках, она прошла в переднюю и отодвинула занавеску перед кроватью камеристки.

— Что, Марта, зубы тебе все спать не дают? — спросила она ее участливо по-эстонски.

— Это ты, милая барышня? — плаксиво отозвалась Марта. — Где тут заснуть уж... Ох!

При этих словах она приподняла голову с изголовья. Одну щеку у нее, оказалось, так раздуло, что нос совсем свернуло в сторону. Лилли не могла удержаться от смеха.

— На кого ты похожа, Марта! Ну, ну, не сердись. Еслиб ты сама могла видеть себя в зеркале... Но после опухоли зубная боль, говорят, проходит.

— "Проходит"! — проворчала Марта, бережно прикрывая ладонью свою вздутую щеку. — Так дергает, так дергает, ой-ой!

— Ах, бедная! Я сама не знаю зубной боли, и никаких капель от зубов у меня нет... Но

вот что: есть у меня кельнская вода; она, слышно, очень помогает. Сейчас принесу тебе...

— Не нужно, милая барышня, оставь. Знаю я эту кельнскую воду: все десны разест. С вечера я положила себе на щеку горячий мешечек, — вот этот самый; так сперва словно полегчало. Да за ночь, вишь, остыл...

— А что в нем такое? — любопытствовала Лилли, ощупывая небольшой пузатый мешечек. — Он будто песком набит.

— Нет, аржаной мукой с кухонною солью. Как нагреть его на горячей плите да потом приложить к щеке, так боль помаленьку и утихает.

— А что, Марта, в кухне, верно, ведь разве-ли уже огонь под плитой? Схожу-ка я на кухню...

— Что ты, душечка, Господь с тобой! Да ты ведь и не одета...

— Одеться недолго.

— Так лучше же я сама...

— Нет, нет, Марта. Ты только хуже еще простудишься. Лежи себе, лежи; я мигом...

И, возвратясь в свою комнатку, Лилли жи-

вой рукой оделась, а затем, с ночником в одной руке, с мешечком в другой, целым рядом горниц и коридоров направилась к черной лестнице, чтобы спуститься в нижний этаж дворца, где была кухня. Вследствие раннего часа, весь дворец был погружен еще в сон и точно вымер. Там и сям только мерцали одиночные масляные лампы; но скудного света их было достаточно для того, чтобы показать Лилли всю безлюдность громадного здания, и от звука собственных шагов ей становилось жутко.

Вот опять совсем неосвещенная проходная комната...

"Бог ты мой! Кто это сидит там на диванчике?.."

Девочка остановилась с бьющимся сердцем и, приподняв в руке ночник, пристально взгляделась.

"Да это дежурный лакей! Устал тоже, бедняга, за ночь и клюет носом".

На цыпочках она прошмыгнула далее, чтобы не тревожить спящего.

Тут из боковой комнаты донесся к ней резкий картавый голос.



"Верно, опять кто-нибудь из прислуги; еще кого разбудит!"

Заглянула она и в эту комнату. Лампы там хотя и не было, но зато топилась большая кафельная печь, и пылавшие с треском растопки освещали ближайшие предметы своими яркими вспышками. Перед большой клеткой с попугаем стоял парень в косоворотке и засунутых в голенища шараварах, — должно-быть, истопник, который только-что затопил печь и со скуки, видно, рад был случаю подразнить глупую птицу.

— Ты что тут делаешь? — спросила, подходя, Лилли, стараясь придать своему голосу возможную строгость.

Парень оторопел.

— Да я ничего-с, барышня... Поговорил только малость с попугаем...

Но сам же попугай уличил его.

— Живодер! живодер! — полушопотом прокартавил он, вызывающе поглядывая из-под своего нарядного красного хохолка то на парня, то на барышню.

— Это ты его научил! — воскликнула Лилли. — Да ведь это никак тот самый, которого

мадам Варленд готовит для герцога?

— Ну, и пуцай услышит! — с явным уж озлоблением возразил истопник. — Живодер и есть: с родного батьки моего кошками шкуру содрал!

Лилли ахнула.

— И отец твой помер?

— Помирает; дай Бог до Рождества дотянуть.

— Это ужасно! Но, верно, старик твой шибко перед ним провинился?

— Знамо, не без того... Да вольнож было этим конюхам немецким хвалиться, что герцог их такой и сякой, чуть не помазанец божий. Ну, а батька мой, грешным делом, подвыпил, да спьяну и выложил им на чистоту всю истинную правду: что герцог их, мол, во все-то не знатного рода, а тоже из подлого люда. Ну, те и пойди, донеси самому, а он как распалился тут гневом...

Оправдываясь таким образом, басистый парень возвысил голос. Попугай в свою очередь, не желая отстать от него, издал пронзительный свист и провозгласил заученную от г-жи Варленд фразу:

— Hoch lebe Seine Durchlaucht! Hurra!  
hurra! hurra!

Дверь в спальню Варленд растворилась, и оттуда выглянула она сама в ночном чепце, в ночной кофте.

— Ты ли это, дитя мое? — удивилась она. — Как ты сюда попала, и кто это с тобой?

Лилли стала по-немецки же объяснять ей. Истопник, не выжидая конца объяснение, дал тягу. Впрочем, и сама Варленд не дослушала, а может-быть, со сна толком и не разобрала.

— И зачем было снимать мой платок с клетки? — перебила она девочку, зевая во весь рот.

— Сняла его нее...

— Ну, все равно; прикрой опять этого крикуна и ступай-ка тоже спать.

"Слава Богу!" — облегченно вздохнула про себя Лилли, когда голова почтенной дамы скрылась за дверью.

Подогрев целительный мешечек на плите в кухне, она отнесла его Марте и тогда уже улеглась сама в постель досыпать свой прерванный сон.

Когда она в обычный час проснулась, ее

ночная прогулка представлялась ей как бы сновидением, и только когда на глаза ей попалась Марта с повязанной щекой, в памяти ее возстали все отдельные моменты прогулки. Первым побуждением ее было — открыться во всем Юлиане Менгден. Но когда она встретилась снова лицом к лицу с корректной до щепетильности, замороженной в придворном этикете, гоффрейлиной, — у нее духу на то не хватило.

Прошло несколько дней. О попугае говорили, но только как о сюрпризе для герцога.

"Попугай, верно, забыл уже то слово", — решила Лилли и совсем было успокоилась.

Подходило 13-ое ноября — день рождение герцога. Но накануне государыня вдруг прислала за принцессой, чтобы вместе с нею сделать репетицию.

— А ты что же, моя милая? — обернулась Анна Леопольдовна к Лилли, когда, в сопровождении Юлианы, выходила уже из комнаты.

— Мне нездоровится... — пролепетала девочка, чувствуя, как сама меняется в лице. — Позвольте мне, ваше высочество, остаться...

— Пустяки, пустяки! Попугай тебя рассеет.  
Идем.

Делать нечего, — пришлось итти.

Мадам Варленд с своим питомцем в клетке была уже в приемной перед внутренними апартаментами императрицы. Клетка на всякий случай была накрыта зеленым тафтяным колпаком, чтобы попугай преждевременно не выболтал всей своей премудрости. Мимоходом кивнув его воспитательнице и стоявшему тут же придворному лакею, Анна Леопольдовна с своей маленькой свитой вошла к государыне; следом лакей внес клетку, а мадам Варленд замыкала шествие.

Кроме герцогини Бенигны, весь штат придворных приживальщиков и шутов обоюга пола оказался также налицо. Никому, видно, не хотелось пропустить занимательной репетиции. После первых приветствий Анна Иоанновна обратилась к г-же Варленд:

— Ну, мадам, начинай!

Та дернула за шнурок, и зеленый колпак раздвинулся. Окружающие вполголоса стали восхищаться пернатым красавцем.

— И как ведь на всех посматривает! — за-

метила сама государыня. — Точно понимает, что им любят. Ну, что же, мадам?

Варленд, нагнувшись к клетке, шепнула что-то попугаю, и тот крикнул во всю мочь:

— Schön guten Morgen! Gut geschlafen? (Доброго утра! Хорошо ли спали?)

— Как четко ведь выговаривает! — одобрила опять Анна иоанновна. — Он у тебя и песни поет?

— Jawohl, Majestät, — отвечала Варленд и снова подсказала своему ученику что-то шопотом.

— "Freut euch des Lebens"! — засвистал он начало известной немецкой песни.

— Вторую строчку он тоже знает, — но не так еще твердо, извинилась учительница.

— До завтра, смотри, подучи его, — приказала императрица. — А поет тоже чисто, что свирель. Ну, еще что же?

— Noch lebe... — можно было слышать подсказывание мадам Варленд.

И послушный воспитанник не замедлил гаркнуть:

— Hoch lebe Seine Durchlaucht! Hurra! hurra! hurra!

Но, о, ужас! вслед затем он прокартавил полушопотом, однако, совершенно внятно:

— Живодер! живодер!

Можно себе представить, какое впечатление должно было произвести на всех такое публичное поруганье всеильного временщика, в присутствии не только его супруги, но и самой императрицы. Последняя, словно ушам своим не веря, молча повела кругом глазами. Но никто не смел поднять на нее глаз; все обмерли и потупились. Одна только герцогиня Бирон, плохо понимавшая по-русски, с недоумением спросила:

— Aber was Heiss das: Schivadör? (Да что это значит: живодер?)

Тут Балакирев, питавший к герцогу курляндскому, как большинство русских, глубокую ненависть, не утерпел пояснить:

— Das Heisst: Schinder.

Герцогиня всплеснула руками:

— Ach, Herr Jesus!

Императрица же, сверкнув очами, указала Балакиреву на выход:

— Вон!

Теперь только ни в чем не повинная Вар-

ленд пришла в себя от своего оцепенение. Со слезами стала она клясться, что ей-Богу же не учила этому попугая.

— Так кто же научил, кто? — спросила Анна Иоанновна.

— Die ist's! — ткнула герцогиня пальцем на Лилли, растерянный вид которой, действительно, как-будто давал повод к такому подозрению.

Но тут вступилась за нее та же мадам Варленд. ее объяснение звучало так искренно и правдоподобно, что ни у кого, казалось, не оставалось уже сомнения на счет виновности истопника, которого Лилли застала перед клеткой.

— Но ты все же слышала, как он учил попугая? — обратилась государыня уже прямо к Лилли. — Не лги у меня, говори всю правду!

— Слышала... — призналась девочка, дрожа всем телом.

— Ах, разбойница! Но умолчала ты о том с какого умысла?

— Я думала, что попугай забудет... да боялась еще, чтоб с этим человеком не сделали того же, что с его стариком-отцом...



— А с тем что сделали? Сказывай, ну!

— Его наказали, по приказу герцога, так нещадно, что он теперь умирает...

— Умирает! — подхватила апатичная вообще, но сердобольная Анна Леопольдовна. — Сын ожесточился из-за отца. Ваше величество! не отдавайте его-то хоть на избиение!

— Бить его на теле не будут, не волнуйся, — проговорила государыня глухим голосом, и по выражению ее лица видно было, как тяжело ей дать такое обещание.

— Но его все же накажут?

— Без всякого наказания оставить его нельзя чтобы другим не было повадно. Страх божьяго не стало на них, окаянных! А озорного попугая своего, мадам, убери вон, да чтобы не было об нем впредь ни слуху, ни духу; поняла?

Мадам Варленд, должно-быть, хорошо поняла, потому что с того самого дня красавец-попугай словно сгинул.

**Конец II части.**

## ЧАСТЬ III

### I. Ледяная статуя

Дни рожденья и тезоименитства членов как Царской Фамилии, так и семьи герцога Бирона, праздновались при Дворе одинаково торжественно: поутру в Зимнем дворце бывал сезд "знатнейших персон" и иноземных посланников для принесение поздравлений, а вечером — бал. То же самое было, разумеется, и 13-го ноября 1739 года, когда герцогу исполнилось 49 лет.

Во время утреннего приема поздравителей Бирон был видимо не в своей тарелке, - что достаточно объяснялось, пожалуй, нанесенным ему накануне заочным «афронтом» с попугаем. Тут, однако, разнесся слух, что виновный истопник подвергся уже и заслуженной каре. Его не били, нет: в этом отношении его светлость строго подчинился выраженной государыней воле. Но от наказания вообще «преступник» не был избавлен, и изобретательный в таких случаях ум курляндца придумал для него небывалую еще пытку. Парня отправили на придворный конюшенный

двор, находившийся в конце большой Конюшенной улицы у речки Мьи (ныне Мойка), раздели здесь до-нага, привязали к столбу у водокачалки и стали окачивать ледяной водой на двадцатиградусном морозе. Но исполнители экзекуции переусердствовали: окачивали несчастного до тех пор, пока тот, покрывшись ледяной корой, не обратился в "ледяную статую". Так передавалось по крайней мере на приеме шопотом из уст в уста, — передавалось с глубоким возмущением, но в лицо светлейшему новорожденному те же уста льстиво улыбались. Сам же он не мог скрыть своего раздражения: истязать «делинквента» до смерти у него все-таки, должно быть, не было намерение.

На вечернем балу главный интерес, по крайней мере, прекрасной половины человечества сосредоточился, прежде всего, на дамских туалетах, отличавшихся, как всегда, большим разнообразием и великолепием. Особенную зависть у многих возбуждала герцогиня Бирон, увесившая себя, ради семейного торжества, всеми фамильными бриллиантами и другими драгоценными камнями;

но сама она, видимо, всего более гордилась своим головным убором и, как китайский болванчик, качала головой, чтобы сидевшая на ее напудренном парике с буклями райская птица с длинейшим разноцветным, металлического блеска, хвостом и с распушенными золотистыми крыльями колыхалась, точно вот-вот взлетит сейчас на воздух. На беду под этим убором было ее собственное, испорченное оспой лицо с туповато-надменной улыбкой. Это не помешало, однако, такому бывалому царедворцу, как Лесток, выразить ей свое "нелицемерное" восхищение:

— Сегодня, герцогиня, вы превзошли себя! Вас можно сравнить разве с павлином, распутившим колесом свой пышный хвост.

Этот сомнительный комплимент недалекая герцогиня приняла за чистую монету и подарила льстеца «очаровательной» улыбкой.

И вдруг у нее явилась соперница в лице молодой иностранки, графини Рагузинской. Все платье красавицы-венецианки было усыпано крупными жемчужинами, из которых каждая стоила сотни, если не тысячи рублей.

Мало того, что все гости так и «пялили» теперь на нее глаза, но даже сама государыня, следившая за танцами в открытые настежь двери соседней гостиной, заметила герцогине:

— А знаешь ли, Бенигна: эта Рагузинская, как всегда, опять царица бала.

Бенигна позеленела от досады.

— Спору нет, что танцует она хорошо, собой недурна...

— И одета богаче меня и тебя.

— А ваше величество верите, что все эти жемчужины на ней настоящие?

— Ты как скажешь, Буженинова? — отнеслась Анна иоанновна через плечо к стоявшей позади ее карлице-калмычке, которая одна лишь из всего шутовского персонала допускалась на придворные балы для ближайших послуг своей царственной госпожи. — Ты знаешь ведь немножко толк в жемчужинах: ходила со мной не раз в мастерскую этого Граве-ро; вон на Рагузинской жемчужины, по твоему, поддельные али нет?

— Не знаю, матушка, — отвечала шутиха: — чего не знаю, того не скажу; не знаю. А

вызвать тебе, изволь, могу.

— Да как же ты вызнаешь?

Карлица с комической ужимкой лукаво усмехнулась.

— Это уж мой секрет! Только ты, матушка, исполни потом мою малую просьбицу.

— А в чем твоя просьба?

— Насиделась я, вишь, в девках: выдай ты меня замуж за доброго молодца!

— Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость его! Кто тебя, дуру, возьмет-то?

— Родимая! кормилица! — взмолилась Буженинова жеманно и плаксиво. — Молодой квас — и тот играет.

Шутиха даже всхлипнула.

— Ну, разрюмилась! — сказала Анна иоанновна. — Ладно. Для такой пригожицы жениха как не найти; только клич кликнуть. Но наперед дознайся все же на счет жемчужин.

— Сейчас дознаюсь.

— Да ты куда, дура, куда? — крикнула государыня, когда карлица мимо нее юркнула вдруг в танцевальный зал.

Но та ее уже не слышала или не хотела слышать. В танцах наступила только-что па-

уза, и Рагузинскую тотчас же окружило несколько поклонников. Обмахиваясь веером, она с снисходительной улыбкой выслушивала расточаемые ей любезности. В это время к ним подлетела шутиха и протиснулась между кавалерами к самой Рагузинской.

— Дай-ка-сь, сударушка, и мне насмотреться на твои галантереи. Фу ты, ну ты! И сама-то жемчужина, и вся-то в жемчужинах! А оне у тебя настоящие?

Не успела та отстраниться, как нахалка наклонилась к ее платью и впила зубами в одну из крупнейших жемчужин. Но венецианка пришла уже в себя ихватила ее наотмашь так хлестко по щеке, что она с визгом отшатнулась.

— Да за что же это, за что?.. Я пожалуйюсь самой матушке-государыне...

— Ступай, жалуйся, — отвечала Рагузинская с спокойным достоинством. — Ежели ты сделала это по ее приказу, то можешь доложить, что благородные венецианки не носят поддельных драгоценностей. Если ж приказа ее не было, то будь довольна, что проучена, и своей жалобой не беспокой ее величество по-

пустому.

Как прибитая собаченка, поплелась карлица обратно к императрице, к которой между тем подошли Бирон и несколько придворных и были таким образом также очевидцами описанной сейчас сцены.

— Ну, что, Буженинова? — спросила с улыбкой государыня. — Отехала не солоно хлебавши?

— Задави ее козел! Ручки-ножки еще трясутся... Никакого политеса...

— А что же жемчужины настоящие?

— Настоящие, матушка, ох, самые настоящие!

— И плюхи тоже самые настоящие? — с грубым смехом заметил герцог.

— Первый сорт, батюшка, как и твои ледяные статуи, — огрызнулась калмычка.

Бирон весь побагровел и не нашелся даже, что сказать.

— А вы ее не слушайте, — герцог, вступилась Анна иоанновна. — Что взять с глупой ефелы? Но дабы впредь она вела себя благопристойней, мы ее, непутную, окрутим с добрым человеком.



— Этакую-то монстру?

— Для кого монстра, а для кого картинка! — обиделась Буженинова. — На вкус и цвет товарища нет. Царица обещалась выдать меня за муж и от царского слова своего не отступится. Только силком за немилого, матушка, не выдавай!

— А ты кого-нибудь себе уже, небось, наметила?

— Наметила, матушка, что греха таить. На него глядя, индо слюна бежит.

— Кто же этот королевич твой?

— А князь Квасник.

— Эко слово брякнула! Он как-никак все же благородного корени отрасль; а ты что? Ты и вся-то мизинного его перстика не стоишь.

— Он — князь, а я — первая твоя затейница и забавница: два сапога — пара. И стану я сиетельной княгиней, и урядишь ты, матушка, мне княжескую свадьбу...

— Дура ты, да не совсем! — улыбнулась Анна Иоанновна. — Вот герцог подарит на свадьбу твоему муженьку шелковую плетку.

— А мне дом хрустальный... с ледяными

статуями.

— Так лучше ж и весь дом ледяной, — подхватил один камергер: — там и свадьбу сыграли б.

По губам Бирона пробежала недобрая усмешка.

— Das ware nicht so libel! (Это было бы недурно!)

— Ну, чтож, коли быть Ледяному дому, так пускай и будет, — решила царица. — А кто же, герцог, его построит?

— Построит его наш первый государственный строитель, г-н Волынский. Попросите-ка сюда г-на Волынского! — отнесся он к подавшему счастливую мысль камергеру.

Казалось, он рад был случаю взвалить на плечи своего главного недруга, и без того обремененного важнейшими государственными делами, эту новую работу, которая ни мало не входила в круг его обязанностей и должна была его еще принизить в глазах всего Двора.

Так понял и сам Волынский, когда ему объяснили, чего от него требуют. Но, не желая дать торжествовать своему противнику, он

не показал виду, что оскорблен, и, склонившись перед государыней почтительно, но не раболепно, спросил, безотменная ли то резолюция ее величества.

Самой ей стало теперь как-будто не по себе.

— Да, Артемий Петрович, пожалуйста, не отказывайся, — отвечала она мягко, словно извиняясь. — Никто иной, как ты, не сумел бы исполнить сие столь благоуспешно. Женых хоть и шут, но титулованный; будет зрителей великое стечение...

— Так вашему величеству угодно, чтобы свадьба была поистине княжеская, но, с тем вместе, все же шутовская, скоморошья?

— Вот, вот; со всякими там огнями артофиальными, переодеваньями и гисториими потешными. Не мне тебя учить.

— Слушаю-с. Но лед на Неве должной толщины для Ледяного дома будет не раньше, по-честь, января месяца.

— Ну, чтож; нам ведь не так уж к спеху. Пригони, примерно, ко дню моего рожденья, а то и ко времени карнавала на масленой неделе. Тогда, даст Бог, и мир с Турцией за-

ключим. Зараз и отпразднуем.

— И ваше величество соизволяете на учреждение для сей надобности особой скоморошьей или, лучше скажем, маскарадной комиссии?

— Даю тебе, Артемий Петрович, на все полную мочь. Да в расходах много не стесняйся. Вперед знаю, что все тебе и на сей раз, как и всегда, удастся к полному нашему удовольствию.

## II. Ледяной дом

Всякая новость стареет и забывается; забылась и бироновская ледяная статуя, на смену которой ожидалась теперь Ледяной дом и ледяная свадьба. Ледяной дом или "ледяные палаты", как называли его официально в делопроизводстве "маскарадной комиссии", решено было возвести на Неве между Зимним дворцом и главным адмиралтейством, а для ледяной свадьбы устроить "национальную процессию", для которой из разных мест империи выписать полтораста пар населяющих ее всевозможных племен в национальной одежде {\*}. (Но так как пути сообщения у нас в ту пору были очень первобытны, то вы-

писанные «пары», особенно из отдаленных местностей, прибывали довольно мешкотно; тотчас же по прибытии оне замыкались в особом здании на так-называемом "Слоновом дворе". (Двор этот, находившийся в конце третьего Летнего сада около Симеоновского моста, на том, приблизительно, месте, где в настоящее время стоит цирк Чинизелли, получил название «Слонового» от содержавшегося там индейского слона.)

{\* Приводим здесь, для примера, один из посланных в провинцию указов, а именно Казанскому губернатору:

"Указали мы для некоторого приуготовляемого здесь маскарата выбрать в Казанской губернии из татарского, черемисского, мордовского и чувашского народов, каждого по три пары мужеска и женска пола пополам, и смотреть того, чтоб они собою были не гнусные, и убрать их в наилучшее платье со всеми приборы по их обыкновению, и чтоб при мужеском поле были луки и прочее их оружие и музыка, какая у них употребляется..."}

Недоброжелатели Волынского не упускали между тем случая прохаживаться на его счет,

как руководителя этой шутовской затеи. Ядовитее других подтрунивали над ним двое: адмирал граф Головин, который не мог простить Артемию Петровичу открытие им злоупотреблений в адмиралтействе, и бывший посланник наш в Париже, а в данное время обер-шталмейстер Высочайшего Двора князь Куракин, враждовавший с ним на личной почве. Желая угодить своему давнишнему «протектору», ТрEDIAKовский сочинил про Волынского тяжеловесную, но довольно злую песенку, а Куракин позаботился распространить ее между придворными; среди тех нашлись, конечно, услужливые люди, подсунувшие стихотворный пасквиль самому Волынскому. Вспыльчивый и крайне самолюбивый, Артемий Петрович был страшно взбешен — не столько даже на Куракина, сколько на самого автора пасквиля.

— Блоха ведь, а туда же — кусаться! — говорил он своим приятелям. — Попомнит он еще меня!

— Невеличка блошка, а спать не дает, — отозвался Еропкин. — Да не много ли чести блохе, что ты так сердишься на нее?

— Rira bien, qui rira le dernier (хорошо смеется, кто последним смеется), — утешал с своей стороны Лесток.

Наконец-то, в начале января (1740 г.), когда в разных местах Невы стали вырубать лед для городских ледников, по середине реки против Петропавловской крепости была отгорожена большая площадь для добычи самого чистого строительного материала, а между дворцом и адмиралтейством был поставлен деревянный забор вокруг места, намеченного для Ледяного дома. Обитатели двух верхних этажей Зимнего дворца имели бы, впрочем, возможность смотреть и поверх того забора, если бы только окна дворца, обращенные на Неву, значит на Север, от сильных крещенских морозов не покрылись ледяными узорами. Обледенели окна и в комнатке Лилли Врангель; но барышню нашу это не затрудняло: она влезала на подоконник и высовывалась из форточки. Так она изо дня в день могла следить за тем, как постепенно вырастает и разукрашивается Ледяной дом.

Длиною дом был в 8 сажен, шириною в 2 1/2 и вышиною в 3. Накладывались ледяные

плиты как кирпичи, одна на другую, обливались тотчас водой и силою мороза скреплялись прочнее, чем лучшим цементом. Когда ледяное здание было доведено до крыши, то впереди оно украсилось ледяным крыльцом с резным фронтисписом, а крыша — ледяной галлережкой с ледяными статуями. По четырем углам дома воздвигались ледяные пирамиды, по сторонам крыльца появились ледяные пушки и мортиры, а перед ледяными же воротами с горшками ледяных цветов и сидящими на них ледяными птицами — два больших ледяных дельфина. В последних же числах января около дома, откуда ни возьмись, вырос вдруг громадный ледяной слон, а на спине у него и по бокам — по ледяному персианину.

Лилли так загляделась на это последнее чудо, что не расслышала даже, как позади ее отворилась дверь, и заметила вошедшую только тогда, когда та взяла ее за талию и стащила с подоконника.

— Ах, это вы, Юлиана?

— С ума ты сошла, моя милая, что в такой мороз высовываешься из форточки!



— В деревне я к морозу давно привыкла, — отвечала с беззаботным смехом Лилли, затворяя форточку, — а теперь светит еще солнце... И как хорош теперь на солнце Ледяной дом: точно весь хрустальный! А эти дельфины, этот слон... Выгляните сами только на минуточку...

— Чтобы схватить воспаление легких? Благодарю покорно! — сказала Юлиана. — Другое еще дело, если б в шубе побывать там на месте...

— Дорогая Юлиана! вот было бы чудно! Пойдемте сейчас, уговорим принцессу...

Лилли так порывисто обняла и поцеловала чопорную фрейлину, что та не успела даже уклониться и не знала, сердиться ей или нет.

— Ну, ну, ну! Ты все забываешь, что ты уже не ребенок, а большая барышня, и не в деревне, а во дворце.

— Но вы попросите принцессу, да? Она сама, может быть, тоже пойдет с нами?

Юлиана уже не упорствовала. Анна Леопольдовна, как всегда, отдохавшая на своей отоманке с романом в руках, выслушала обеих с обычной флегмой, но от посещения с ни-

ми Ледяного дома наотрез отказалась.

— Скоро и без того ведь увидим. Свадьба карликов будет уже 6-го февраля; остается, стало быть, всего две недели.

— А потом опять ее отложат! — воскликнула Лилли. — Ведь сперва назначили ее в январе, на кануне дня рождение государыни...

— Да; но в этот же день будет торжественное вступление наших войск. Волынский совершенно прав, что такому национальному торжеству не вместно быть в один день с шутовскою свадьбой. Если же вам, мои милые, уж так не терпится осмотреть этот Ледяной дом, то ступайте туда одне без меня.

— Да без вас, принцесса, нас туда не пустят!

— А я скажу Эйхлеру.

Эйхлером, который, в качестве не только секретаря Волынского, но и тайного секретаря самой государыни, постоянно бывал у нее за приказаньями, дело было ей доложено, и с ее стороны отказа в столь скромной просьбе наследницы престола, разумеется, не было. Сам Эйхлер вызвался быть путеводителем гофfreyлины принцессы.

Когда они втроем: Юлиана, Лилли и Эйхлер, морозным, но солнечным утром спустились на Неву к Ледяному дому, то у ледяных ворот, к немалому удивлению Лилли, их встретил ее товарищ детства, Самсонов, притом не в лакейской уже ливрее, а в довольно щегольской суконной однорядке и в меховой шапке.

— Да вы откуда его знаете? — спросил по-немецки Эйхлер Лилли. Та объяснила.

— То-то он так просил меня взять его сегодня с собой! — улыбнулся Эйхлер. — Могу с своей стороны засвидетельствовать, что такого "молочного брата" вам нечего стыдиться: я нашел в нем очень полезного сотрудника.

— Но ведь он — камердинер г-на Волынского...

— Был им. Когда мне пришлось посылать во все концы России требование о присылке «маскарадного» персонала для шутовской свадьбы, у меня не достало переписчиков. Тут оказалось, что Самсонов умеет тоже писать, и почерк у него преизрядный. С разрешения моего шефа, я привлек его к переписке; потом и к сведению счетов; а наконец и ко всему мас-

карадному делу, потому что никто лучше его не знает объясняться с этими безмозглыми инородцами. Господь его ведает, как это он подлаживается к их младенческим понятием, как умеет втолковать им все, что нужно. Словом, молодец на все руки! — заключил Эйхлер и покровительственно похлопал Самсонова по плечу.

— Не понимаю, г-н Эйхлер, как вы можете говорить так много на морозе! — заметила Юлиана, пряча свой покрасневший уже нос в муфту.

— А вы, баронесса, озябли? Простите великодушно! Сейчас затоплю для вас камин.

— Это где?

— Да тут же в Ледяном доме.

— Ледяной камин?

— Да, и ледяными дровами. Прошу за мною.

Проведя ее на крыльцо Ледяного дома, а оттуда в одну из двух комнат, он зажег в ледяном камине ледяные же поленья, облитые, как потом разъяснилось, нефтью.

Тем временем Лилли и ее "молочный брат", стоя на дворе перед ледяным слоном,

заболтались о порученных надзору Самсонова инородцах и прибывших вместе с ними животных. Особенно заинтересовали Лилли самоедские олени.

— А правда ли, Гриша, что олени бегут еще скорее лошадей?

— Как ветер! Я несколько раз уже ездил с самоедами на взморье.

— Счастливец!

— Так вы, Лизавета Романовна, охотно тоже покатались бы на оленях?

— Мало ли что!

— Я вам это, извольте, устрою.

— Ты, Гриша? Но каким образом?

Он загадочно усмехнулся.

— Это уж мое дело.

Тут на ледяном крыльце показалась опять Юлиана в сопровождении своего путеводителя. Ледяные дрова ее не согрели, и, вся продрогнув, она заторопилась домой. Так Лилли на этот раз и не пришлось заглянуть внутрь Ледяного дома. Прощаясь с Самсоновым, она успела только спросить его, когда же он устроит ей обещанное; на что получила ответ:

— Потерпите уж до ледяной свадьбы!

### III. Певец поневоле

С 27-го января, когда вступили в Петербург возвратившиеся из Турции победоносные войска, общее настроение при Дворе было уже празднично-приподнятое. У многих царедворцев такому настроению, по правде сказать, не мало способствовало ожидание предвидимых, по случаю заключение мира, "царских милостей", пожалование которых должно было последовать, впрочем, только в середине февраля на масленой неделе.

Войска с музыкой и распущенными знаменами продефилировали мимо Зимнего дворца, офицеры — с лавровыми венками, солдаты — с еловыми ветками на шлемах и касках. Вслед затем состоялся прием императрицею героев-офицеров, сановных поздравителей и секретаря нашего посольства в Константинополе Неплюева, привезшего ратификацию мира. Несмолкающие залпы с Петропавловской крепости возвестили населению столицы о прекращении войны.

Следующий день — день рождение Анны Иоанновны — праздновался еще пышнее.

Утром — торжественное богослужение, прием поздравлений и пушечная пальба; в полдень — банкет-gala с итальянской музыкой инструментальной и вокальной и, во время тостов, опять пальба; вечером — бал, на котором сераскир Очакова Колчак-паша, во главе пленных турок, на турецком языке благодарил государыню за оказанное гостеприимство; а после бала — «блестящая» иллюминация и фейерверк которые, по обыкновению, были увековечены затем "С-Петербургскими Ведомостями" Особенно эффектным на этом фейерверке (по словам газеты) был главный шит, представлявший "высокое рождение ее Императорского Величества в образе на колеснице сидящей зари с блистающей утреннею звездою на которую Россия, под образом жены в надлежащем уборе и радостным видом взирая, гласно как бы надписанные слова живыми речами говорит: — Коликое возвещает нам благополучие".

Все это было, однакож, только как бы предвкусием к невиданному еще зрелищу — свадьбе карликов с "национальной процессией". Подробности держались пока еще в тайне. Из-

вестно было только, что в особой "камере" Слонового двора усердно происходят репетиции танцев, которые будут исполняться в день свадьбы участниками процессии; но допускались к этим репетициям исключительно только члены маскарадной комиссии и ближайшие их сотрудники. В числе последних, как уже упомянуто, был и Самсонов, который таким образом был свидетелем всех происходивших там комических и трагикомических сцен. Так присутствовал он и при одной подобной сцене, оставившей в нем надолго очень тягостное впечатление.

Было то 4-го февраля, т.-е. за два дня до шутовской свадьбы. Прибыв под вечер на Слоновый двор с другими членами комиссии на "генеральную репетицию", Волынский откомандировал состоявшего также в его распоряжении кадета Криницына в Академию Наук за секретарем ее, Васильем Кирилловичем Третьяковым. Возвратился Криницын в самый разгар танцев и впопыхах подбежал к Волынскому,

— Ваше высокопревосходительство... ваше высокопревосходительство...



Тот нахмурил брови.

— Эко запыхался, торопыга! А ТрEDIAКОВ-ского так и не привез?

— Привез... уф! Он сейчас будет жаловаться вам на меня... Не слушайте его...

— Да что у тебя вышло с ним?

— Я сказал ему, будто бы его вызывают в Кабинет ее величества...

— Это зачем?

— Да чтобы он не артачился ехать: нравом он очень уж амбиционный...

— Ну?

— А когда он тут по дороге заметил, что везут его вовсе не в Кабинет, то схватил меня за шиворот: "Ты куда везешь меня?" Да обозвал меня таким словом, что я не смею и выговорить...

— Ладно! дальше.

— Узнавши же от меня, что мы едем на Слоновый двор по требованию вашего высокопревосходительства, но для какой надобности — мне, дескать, не ведомо, — он стал чертыхаться и обещал принести на меня жалобу...

— Ладно, — повторил Артемий Петрович и

обратился к показавшемуся в это время в дверях Василью Кирилловичу:

— Поди-ка-сь сюда, сударь мой, поди.

Пиита наш, в своем секретарском мундире, при шпаге и с треуголкой под мышкой, приблизился не без чувства собственного достоинства, но, при виде пылающего гневом взора первого кабинет-министра, невольно растерялся. Путаясь в словах, он стал объяснять, что вот этот самый юнец облыжно пригласил его в Кабинет ее величества и привел тем его, ТрEDIAKовского, в великий страх, толь наипаче, что время уже позднее; что сел он с непутящим мальчишкой на извозца в великом трепетании...

На этом, однако, объяснение его было прервано Волынским.

— Да как ты смеешь называть моего посланца "непутящим мальчишкой"! Он исполнял только мое приказание, а понося его, ты отказываешь и мне в должном рещпекте...

И неудовольствие свое Артемий Петрович подкрепил двумя звонкими пощечинами, которыми (как заявлял впоследствии сам ТрEDIAKовский в своей челобитной) "правое ухо

ему оглушил, а левый глаз подбил". Хотя ручная расправа высших с низшими была тогда не в такую уж редкость, тем не менее, для секретаря "де ла сиенс Академии", философа и стихотворца, такое обращение с ним в присутствии всех членов комиссии и даже "подлых людей" было нестерпимо; почему он и при дальнейшем разговоре не выказывал требуемой субординации.

— Ну, а теперь к делу, — заговорил снова Волынский. — В голове у тебя хоть и сумятица неразборная, да есть все-таки некий дар слагать вирши.

— Сподобился божественной Иппокрены, — пробурчал с некоторою уже гордостью Василий Кириллович, которому не могло не польстить признание за ним поэтического дара даже со стороны столь безпардонного государственного мужа.

— Ты это о чем? — спросил с недоумением Артемий Петрович, более сведущий в учениках западных политиков, чем в мифологии.

— Сподобился я, говорю, того животворного ключа, что забил из-под копыта парнасского коня, именуемого Пегасом.

— Не при сей ли самой оказии тебя и пришибло конским копытом? Ну, да для дурацкой свадьбы, так и быть, можешь опять оседлать своего Пегаса.

— Так ли я уразумел ваше высокопревосходительство? Вам благоугодно, чтобы я сочинил стихи для дурацкой свадьбы?

— Ну да; на то ты сюда и вызван.

— Прошу от сего меня уволить, понеже дурацкие шутки благородному человеку непристойны!

— А злостные пасквили сочинять пристойно? Еще учить меня вздумал, что пристойно, что нет!

И в новом порыве раздражение Волынский (как выражено в той же челобитной злочастливого стихокропателя), "всячески браня, изволил вновь учинить битие по обеим щекам в три или четыре приема".

— Говорить с тобой, сквернавцем, я больше не стану, — сказал он. — Полковник Еропкин даст тебе краткую материю для твоих виршей. И чтобы на утрие, слышишь, оне были готовы!

При своем благоговении перед Артемием

Петровичем за его заботы о благе родного народа, Самсонов был тем более огорчен его дикой выходкой. Чудака-учителя своего ему было искренно жаль; тот хотя и отказался давать ему уроки с переходом его к главному недругу Бирона, но все-таки продолжал снабжать его книгами. На следующий день его огорчение и жалость получили еще новую пищу.

По словам самого Тредиаковского, он, по возвращении домой, засел тотчас за сочинение заказанных ему «виршей». Тут, "размышляя о своем напрасном безчестии и увечьи, он рассудил поутру пасть в ноги его высокогерцогской светлости".

Однако, и на этот раз ему не повезло. Не дождался он еще выхода Бирона в «антикамеру», как вошел Волынский. При виде Тредиаковского, явившегося, очевидно, искать против него защиты у временщика, Артемий Петрович не мог сдержать своего горячего нрава, снова дал волю своим рукам, после чего отправил беднягу на Слоновый двор, где нижние служители сорвали с него рубашку и "били его палкою безчеловечно, так что спи-

на, бока и лядвеи его все стали как уголь черный". Затем он был заперт до утра на хлеб и на воду в «холодную», служившую обыкновенно для вытрезвление подобранных на улице в пьяном виде обитателей Слонового двора.

По счастью, в описываемый день у Василья Кирилловича не оказалось там товарищей, и потому никто не мешал ему исполнять возложенную на него работу. Но работа не спорилась. Подперши голову обеими руками, он бормотал про себя всевозможные рифмы; потом вдруг схватывал свое гусиное перо и скрипел им по бумаге. Но, перечитав вполголоса написанное, он сулил кому-то сквозь зубы чорта, зачеркивал какое-нибудь слово, а то и целую строку, и ожесточенно грыз бородку пера, пока не находил наконец более удачного слова или стиха.

Вдруг дверь за ним скрипнула. Он оглянулся. При тусклом свете ногоревшего сального огарка он с трудом разглядел вошедшего,

— Самсонов! — проворчал он, и губы его от озлобление перекошились. — Тоже над скорбной главой поглумиться захотелось?

— Господь с вами, Василий Кириллыч! Когда же я-то глумился? — отвечал Самсонов, ставя на стол перед ним кружку молока и тарелку с двумя битками. — Раньше принести, простите, не способно было: того гляди, кому-нибудь из господ бы еще на глаза попался.

— Так ты ко мне сам от себя?

— Да, на свой страх. Держать вас здесь приказано ведь неисходно без выпуска; а вас, я чай, голод уже пронял. Кушайте на здоровье!

Черствого вообще душою стихотворца такая неожиданная внимательность как-будто тронула.

— Ну, спасибо, друг, сугубое на том мерси, — сказал он. — Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. В смиренномудрии и покорстве судьбе утесненная добродетель немотствует; что пользы противу рожна прати? Но утеснителя моего и персонального врага Немезида, рано ль, поздно-ль, не минует! Надругается над тобой, а ты делай перед ним еще благоговейную морду! Тьфу! тфу!

— Горяч Артемий Петрович в гневе своем, точно, и крутенок, — сказал Самсонов, — но

отходчив. Полно вам крушить себя! Вот как изготовите заказанные стихи...

— Торопок ты больно. Так сразу вот по заказу и изготовишь! Схватили соловья за горло: "Пой!" Чорта с два! А в таком деле помощи и не жди.

— Да, в чем другом, а по стихотворной части пособить вам я не могу. Будь тут в Питере господин Ломоносов...

— Типун тебе на язык! — вскричал Третьяковский и, приосанясь, свысока оглядел юношу. — Ты кого это назвал?

— А господина Ломоносова, что сочинил такую прекрасную оду на взятие турецкой крепости Хотина, — отвечал Самсонов, забывший уже сделанное ему полгода назад его бывшим господином Петром Шуваловым предостережение. — Не стихи это, а музыка:

*"Что так теснит боязнь мой  
дух?  
Хладуют жилы, сердце ноет!  
Что бьет за странный шум мой  
слух?  
Пустыня, лес и воздух воеет!  
В пещеру скрыл свирепство зверь;*



*Небесная отверзлась дверь;  
Над войском облак вдруг развил-  
ся;  
Блеснул горящим вдруг лицом;  
Умытым кровию мечом  
Гоня врагов, герой открылся..."*

Несколько раз Василий Кириллович порывался остановить декламацию; наконец он с такою силой хватил по столу кулаком, что кружка с молоком подпрыгнула, и часть содержимого выплеснулась на стол и на вирши.

— А ну его к бесовой матери! Прекрати!

— Не буду, Василий Кириллыч, не буду! — спохватился Самсонов. — Но ваши же ведь академики отправили господина Ломоносова доучиваться в чужие края...

— «Господина»! «господина»! Какой он «господин»? Сын простого рыбака, да бежал еще, не спросясь, из-под отчего крова. Я бы его, бездельника и каналью, не в чужие края отправил, а в свои же российские, паче отдаленные.

— Так из него, по вашему, не выйдет ученого?

— Га! Чтобы из смерда да вышел ученый?

Смехота, да и только! Напляшутся они еще с ним. И ведь наглость-то какая: присылает и мне оттуда, понимаешь: мне! свою дурацкую оду; мало того: в особом еще послании опровергает мои правила стихосложение. "За наилучшие, — говорит, — велелепейшие стихи почитаю, которые из анапестов и хореев состоят: поднимаясь тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают..." Ну, и прочая тому подобная ахинея!

"Уж не зависть ли тебя, батюшка, гложет? — пробежало в голове у Самсонова. — Посмотрим, каковы-то будут завтра твои собственные вирши..."

— Не могу ли я вам, Василий Кириллыч, еще чем служить? — спросил он вслух, озираясь в убогой каморке, всю обстановку которой, кроме некрашенного тесового стола да табурета, составлял грязный мешок, набитый соломой. — Больно уж у вас тут неприятно.

— Претерпевый до конца — той спасется. Но говорились с тобой — и будет. Спасибо, друг, и проваливай. Печенку мне только разбередил, эх!

#### **IV. Ледяная свадьба**

**В** свадебное утро, 6-го февраля, многих ожидало некоторое разочарование: оказалось, что венчать шута и шутиху в дворцовой церкви (как предполагалось вначале) признано неудобным и что они сейчас после заутрени уже повенчаны в ближайшей к Слоновому двору приходской церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, в присутствии двух лишь свидетелей от маскарадной комиссии, посаженной матри — царицыной камерфрау Юшковой, посаженного отца — шута Балакирева и дружка-шута Педрилло.

Зато любители невиданных зрелищ были вполне вознаграждены свадебным поездом, который, незадолго до полудня, тронулся от Слонового двора по Караванной на Невскую перспективу и к адмиралтейству, а оттуда, через Дворцовую площадь, мимо Зимнего дворца по Миллионной.

Впереди величаво шествовал громадный слон, покачивая на своей спине железную клетку, а в клетке — празднично разряженных «молодых». За слоном тянулись непрерывной вереницей разноплеменные поезжане на верблюдах, конях, оленях, ослах, волах,

собаках, козлах и свиньях, с принадлежащею каждому роду (как говорилось потом в официальном отчете) музыкалиею и разными игрушками, в санях, сделанных на подобие зверей и рыб морских, а некоторые в образе птиц странных".

Так как окна Зимнего дворца, обращенные на Дворцовую площадь, — стало быть, на юг, — не обледенели от мороза, то стоявшая у одного из этих окон, в свите принцессы Анны Леопольдовны, Лилли Врангель могла любоваться свадебным поездом на всем его протяжении. Но взоры ее внимательнее всего останавливались на трех самоедских санях, запряженных рогатыми бегунами Полярного круга. Когда тут первые сани поравнялись с ее окном, сидевший в них с своей самоедкой самоед поднял голову, как бы ища кого-то глазами в ряде окон дворца, и вдруг, в знак приветствия, взмахнул своим меховым треухом.

— Кому это он кланяется? — заметила стоявшая около Лилли Юлиана.

— Конечно, нам с вами! — засмеелась в ответ Лилли, но самое ее не охватило при этом не бывалое волнение: "Неужто это Гриша?"

Ведь он обещал прокатить меня потом на оленях... Да нет, быть не может..."

Однакож сердце ее продолжало учащенно биться.

Как только "национальная процессия" скрылась из виду, императрица, а за нею и весь Двор спустились на главное крыльцо, чтобы сесть в поданные туда парадные кареты. Дело в том, что кульминационный пункт свадебного празднества предстоял в бироновском манеже. Маскарадный поезд, двигаясь шегом среди необозримой толпы народа, взял путь с Миллионной на Царицын луг, обошел его дважды и затем через Симеоновский мост завернул уже по той стороне Фонтанки к манежу. Придворный же поезд выбрал кратчайший путь по набережной Невы и таким образом прибыл на место еще за несколько минут ранее.

От одного конца манежа до другого были расставлены накрытые столы с приборами и скамейки для «молодых» и трехсот персон поезжан. Пройдя на другой конец манежа к амфитеатру, государыня заняла свое тренообразное кресло под балдахин, а принцесса

с супругом, цесаревна, представители иностранных держав и все придворные разместились кругом на амфитеатральных сиденьях, откуда свободно можно было обозреть весь манеж.

Тут входные двери широко распахнулись, чтобы впустить «молодых», снятых со спины слона. Ожидавший их у входа с другими членами маскарадной комиссии Волынский махнул платком, — и из угла манежа грянул приветственный туш трубачей. Новобрачные, как пара гномов, приходились рослому и статному председателю комиссии едва по пояс, а потому по всему амфитеатру пронесся легкий смех, когда он с преувеличенною почтительностью проводил их через весь манеж на верхний конец ближайшего к амфитеатру стола и усадил там на почетную скамью, покрытую турецким ковром. По мере появления остальных участников маскарадной процессии, члены комиссии указывали им точно так же предназначенное каждому место за столами.

Глаза Лилли искали, однако, только представителей одной национальности — само-

едов.

"Ну, конечно, это он, он! На целую ведь голову выше остальных, да и куда их красивей. Как-то он станет есть их национальные кушанья, приправленные, говорят, ворванью?"

Вот прислуживавшие столующим придворные лакеи поставили перед шестью самоедами и самоедками большую мису с какой-то похлебкой. Самсонов хлебнул ложку, хлебнул другую — и скорчил такую гадливую гримасу, что Лилли с трудом удержалась от громкого смеха.

"Но голодать же он не станет. Как-то он дальше поведет себя?"

А повел он себя очень практично: отнесся к сидевшим насупротив великорусским молодым мужикам и молодкам, и те охотно поделились с ним своим обильным обедом, состоявшим из щей с ватрушками и пряженцами, из жареной баранины с кашей и из оладьев, а потом угостили его еще и своими напитками: брогой и медом. С своей стороны Самсонов старался, видно, отплатить им забавными шуточками, потому что молодницы то-и-дело фыркали в рукав. Лилли даже досада взяла:

"Как им с ним весело! Хоть бы раз сюда глянул".

Вначале трапезующие стеснялись, должно быть, присутствие матушки-царицы и были заняты главным образом утолением голода и жажды, к концу же обеда, благодаря хмельным напиткам, ободрились, и весь манеж загудел как улей.

Тут из боковой двери появился долговязый субъект в "потешном" платье и в маске. С подбострастными поклонами в сторону императрицы, он подошел к новобрачной чете и принял торжественную позу.

— Кто это чучело? — шопотом спрашивали друг друга зрители на амфитеатре.

Некоторые же узнали его по журавлиной походке.

— Да это стихотвор де сиенсе Академии Третьяковский!

— Но для чего он в маске?

— Свадьба маскарадная, так как же иначе?

— Нет, господа, лицо у него еще в синяках от тяжелой руки Волынского.

— Ч-ш-ш-ш! Дайте ж послушать, господа.

И среди всеобщего молчание раздался па-



тетически-гробовой голос «стихотвора», ни мало не соответствовавший «гумористично-му» содержанию его стихов:

— Здравствуйте, женившись, ду-  
рак и дурка,  
Еще ...тота и фигурка!  
Теперь-то прямое время нам весе-  
литься,  
Теперь-то всячески поезжанам  
должно беситься.  
Ну, мордва! ну, чуваши! ну, само-  
еды!  
Начните веселье, молодые деды!  
Балалайки, гудки, рожки и волын-  
ки!  
Сберяте и вы, бурлацки рынки.  
Гремите, гудите, брянчите, ска-  
чите,  
Шалите, кричите, пляшите!  
Свящи, весна,  
Свищи, красна!  
Невозможно нам иметь лучшее  
время:  
Спрягся ханский сын, взял ханское  
племя,  
Ханский сын Квасник, Буженинова  
ханка,  
Кому того не видно, кажет их

осанка.  
О, пара!  
О, не стара!  
Не жить они станут, но зоблить  
сахар.  
И так надлежит новобрачных  
приветствовать ныне,  
Дабы они все свое время жили в  
блогостыне:  
Спалось бы им да вралось, пилося  
бы да елось.  
Здравствуйте ж, женившись, ду-  
рак и дурка,  
Еще ...тота и фигурка!"

Трудно себе представить, чтобы эта пошлая рубленая проза могла придтись по вкусу кому-либо из Царской Фамилии или придворных. Но государыня в своем благодушном настроении милостиво захлопала, и весь Двор последовал ее примеру. Это было хоть некоторой наградой бедному автору за перенесенные им телесные и душевные страдания. Отвешивая на все стороны поклон за поклоном, он пятился назад бочком-бочком, пока не уперся в стену, и затем скрылся за тою же дверью.

Обед между тем пришел к концу. По знаку Волынского, многочисленную придворную прислугой посуда, столы и скамейки были живо убраны; под самым амфитеатром были поставлены для карликов-новобрачных двадцать детских креслица, и на очищенной арене начались национальные танцы поезжан, выступавших последовательно при звуках "музыкалий" и песен каждой народности.

Такого разнообразного балета при русском Дворе никогда еще не было видано, и каждая народность поощрялась более или менее щедрыми хлопками. Так дошла очередь и до самоедов.

"Ай, Гриша, Гриша! как-то ты теперь вывернешься?" вздохнула про себя Лилли.

Вывернулся он, однако, опять на диво: выделывал сперва все то же, что и другие самоеды, подпрыгивал, приседал и кружился точно так же, только куда ловче и изящней. Когда же те окончили свой танец и, тяжело отдуваясь, отошли в сторону, он совершенно уже экспромтом пустился в русскую присядку, да так лихо, с таким прищелкиваньем пальцами, гиком и при свистом, что весь ам-

фитеатр загремел от рукоплесканий и криков "браво!".

— Скажи-ка, Артемий Петрович, — обратилась императрица к Волынскому; — неужели это тоже самоед? Лицо у него слишком пригоже, да мне словно бы даже знакомо.

— Ваше величество не ошиблись, — был ответ. — Это тот самый малый, Самсонов, буде изволите припоминть, что проштрафился на маскараде в Летнем дворце, а потом отличился здесь же, в манеже.

— То-то вот! Но как же он попал в эту национальную компанию?

— Один из самоедов, государыня, опился вечер до безчувствие и до сегодняшнего утра еще не протрезвился. А Самсонов состоял у меня при Слоновом дворе, подглядел, как они пляшут, и взялся заместить пропоицу.

— Пропоицу накажи, как заслужил, а плясуна я сама награжу: передай ему этот перстень.

Наступил третий и последний фазис шутовского празднества — Ледяной дом. «Молодые» в своей клетке на слоне и сопровождающая их разноплеменная свита направились

туда окружным путем по главным улицам, чтобы дать лишний раз обывателям столицы насладиться редким зрелищем; государыня же со всем Двором свернула опять на набережную и в несколько минут была уже у спуска к Ледяному дому, откуда ее приветствовали громогласными салютами ледяные пушки и мортиры.

Спустились уже ранние зимние сумерки, и только в сторону взморья небо алело еще вечернею зарей. Но небесные краски положительно бледнели перед огнями Ледяного дома. Из пастей двух ледяных дельфинов вылетали фонтаны горячей нефти. Ледяной слон, издавая оглушительный рев, выпускал из хобота огненный же водомет на высоту 3 1/2 сажень. В ледяных пирамидах по сторонам Ледяного дома светились, сквозь круглые окна, большие зажженные фонари с вертящимися "смешными фигурами". Такие же "смешные картины" просвечивали сквозь ледяные стекла самого Ледяного дома.

— Ты, Артемий Петрович, на сей раз превзошел себя, — похвалила Анна иоанновна после подробного осмотра всех наружных ди-

ковин. — Как-то удалось тебе внутреннее убранство?

Обе комнаты Ледяного дома были уставлены теперь полною домашнею утварью, которая сделана была точно так же из чистого льда, но выкрашена "приличными натуральными красками". В гостиной, служившей одновременно и столовой, находились: изящной резьбы стол, два дивана, два кресла и резной поставец с чайной посудой, стаканами, рюмками, блюдами. На столе красовались большие часы и лежали игральные карты с марками. По двум же углам комнаты стояли два ледяных купидона с повязанными глазами.

В спальне, кроме двухспальной ледяной кровати, имелись ледяные же: туалет, два зеркала и табуретик. На туалете горели намазанные нефтью ледяные шандалы, а в камине пылали облитые нефтью же ледяные дрова.

— Обо всем-то ведь ты позаботился, Артемий Петрович, одобрительно промолвилась снова императрица. — Только дрова твои мало что-то греют. Ну, да у молодых супругов кровь горячая! — прибавила она, оглядываясь

с усмешкой на окружающих, которые не замедлили рассмеяться над всемилостивейшей шуткой.

## **V. Лилли отмораживает щеку**

**Т**ак как от Ледяного дома до Зимнего дворца было, как говорится, рукой подать, то по отезде царской кареты некоторые из придворных не сели уже в свои кареты, а пошли пешком. В числе последних были также Юлиана и Лилли, которых проводить до дворца взялся младший Шувалов. Когда они поднялись с Невы на берег, то застали уже здесь «молодых», которых только-что снимали со спины слона. Тут же оказался и Самсонов со своими оленями.

— А олени уже поданы, Лизавета Романовна, — сказал он, приподнимая на голове свой самоедский треух.

— Что такое, Лилли? — обратилась гоф-фрейлина, недоумевая, к своей юной спутнице.

— Он обещал покатать меня на оленях... пролепетала Лилли.

— Та-та-та-та! — вмешался со смехом Шувалов. — Да ты, Григорий, скажи-ка по чистой

совести, не сам ли и опоил вчера самоеда?

— Был грех, ваше благородие, — признался Самсонов. — Но без того я не сдержал бы своего обещание Лизавете Романовне...

— Дорогая Юлиана! покатаемтесь вместе? — попросила Лилли.

— Уж не знаю, право...

— Смею доложить, — вмешался Самсонов, — что место у меня в санях только для одной особы.

— А ее одну без себя я не пущу! — объявила Юлиана.

— Но он же "молочный брат", а с братом как же не пустить? — вступился Шувалов.

— Да вы не бойтесь, сударыня, за Лизавету Романовну, — успокоил гофfreyлину с своей стороны Самсонов. — Я подвезу ее потом в сохранности к самому дворцу.

Согнав с саней сидевшую еще там самоедку, он посадил на ее место Лилли, бережно укутал ей колена оленьим мехом, сам уселся рядом и, гикнув на оленей по-самоедски, погнал их под откос на Неву.

— Смотри, не отморозь носа и ушей! — поспела только крикнуть еще вслед Юлиана.



Отвечать Лилли не пришлось: они уже внизу, на льду, огибают вокруг Ледяного дома и несутся во всю оленью прыть в сторону взморья.

— Как хорошо, ах, как хорошо! — вырвалось из груди восхищенной Лилли.

Загнув на спину свои ветвистые рога, олени летели вперед, как на крыльях. Вот они промчались и в пролет меж двух плашкаутов Исаакиевского моста, и впереди открылась снежная речная равнина. А над этой равниной, на самом горизонте, там, где недавно закатилось зимнее солнце, тяжелый облачный полог как по заказу раздвинулся, и на чистом фоне неба вечерняя заря, прежде чем совсем потухнуть, заиграла усиленным заревом, заливая волшебным розовым отблеском и всю белоснежную реку, и оба ее берега с домиками и опушенными снегом деревьями.

— Смотри-ка, Гриша, — зоговорила Лилли: — мы точно догоняем солнце, сейчас его догоним...

— И догоним! — отозвался Самсонов. Замахнувшись длинным шестом, служившим ему вместо бича, он так зычно гикнул на

олений, что те еще понаддали, а сидевшая неподалеку стая ворон, каркая, разлетелась в стороны.

— Как ты напугал их! — рассмеелась Лилли. — А там-то что за красота!

Олени вынесли их уже на самое взморье, на морской простор. И закат, казалось, запылал еще ярче, будто и вправду покажется сейчас солнце. Лилли глянула на сидевшего рядом с нею молодого возницу: весь он был обят тем же огненным сиеньем.

— Ты, Гриша, точно в огне! — сказала она. — А я, посмотри-ка?

Он повернул к ней голову, — и в глазах его отразилось то же сиенье, но как бы усиленное еще собственным его огнем.

— Знаете ли, Лизавета Романовна, кто вы теперь такая?

— Кто?

— Сказочная царевна!

— А ты сам верно Иван-царевич, что увозит меня на край света?

— И увезу!

В голосе его звучала такая восторженная нота, что Лилли даже жутко стало.

— Нет, Гриша, — сказала она серьезно. — Ты еще нас опрокинешь; дай-ка мне править.

Он безпрекословно отдал ей возжи; но тут вдруг на пунцовой от мороза щек ее он за метил белое пятнышко.

— У вас щека отморожена!

Отняв опять у нее возжи, он остановил оленей и подал ей ком снега.

— Вот потрите, да хорошенько, хорошенько!

Она принялась оттирать отмороженную щеку.

— Если бы ты знал, как это жжет!

— Тем лучше.

— Ну да! Вот посмотри: прошло или нет?

— Прошло, — отвечал он — и, точно на него нашло затмение ума, губы его прикоснулись к ее щеке.

Лилли с криком выскочила из саней и быстрыми шагами пошла обратно в сторону Петербурга. Не сделала она, однако, и двадцати шегов, как Самсонов в санях нагнал уже ее и поехал рядом.

— Простите, Лизавета Романовна, меня окаянного! — умолял он раскаянным то-

ном. — Сами вы ведь назвали меня Иваном-царевичем... Словно неодолимая сила тут меня толкнула... Ну, простите! До Петербурга ведь еще верст пять...

Она, не отвечая, ускорила только шаги.

— Ну, будьте умненькой, сядьте! — продолжал он. — Я сам, поверьте, еще больше вас терзаюсь. До города я ни разу на вас глаз не подниму, ни словом не промолвлюсь. Все равно ведь не дойдете и в пути еще замерзнете.

Последний аргумент был настолько убедителен, что она, попрежнему не удостоивая его ответа, решила, однако, сесть, дала и обложить себе опять ноги теплым оленьим мехом.

Не слыша уже ни гика, ни свиста, олени затрусили мелкой рысцой. Самсонов еле шевелил возжами, а Лилли уткнулась лицом в свою муфту. Вся зимняя картина кругом разом переменялась. От догорающего заката они повернули обратно к сумеречной тьме, и чем дальше, тем глубже погружались в эту безпросветную тьму. Потухло совершенно и светлорадостное возбуждение на душе у Лилли, но гнев ее также остыл и уступил место

более спокойному рассуждению:

"Назвала его Иваном-царевичем, а он сей час и вообразил уж... Вот глупый-то! Поделом вору и мука."

Вдали замелькали огоньки Петербурга, а немного погодя на вспыхивающем горящею нефтью фон Ледяного дома вырисовался и темный силуэт Исаакиевского моста. Мысли Лилли невольно перенеслись к новобрачным в Ледяном доме, и сердечко ее наполнилось жалостью.

— А ведь карлики-то до утра там, пожалуй, замерзнуть! — проговорила она вслух. — Не отдать ли им эту оленью шкуру? Она очень греет...

Самсонов издал в ответ только какой-то нечленораздельный звук.

— Ты что там бурчишь?

Тот же глухой звук.

— Что у тебя язык во рту примерз?

— Я, Лизавета Романовна, ведь обещался молчать... Все вот думаю, не придумаю, чем бы мне откупиться... Знаю! Я брошу здесь перстень, что пожаловала мне нынче государыня.

Он снял перчатку с правой руки и взялся уже за перстень, как оказалось, с огромным рубином, окруженным бриллиантиками.

— Не смей! — остановила его Лилли. — Ты должен особенно дорожить этим подарком.

— Но вину мою вы мне так и не отпустите?

— И не жди! И на глаза мне уж не показывайся!

— Помилосердитесь! Назначьте хоть какой-нибудь срок.

— Хорошо, — смилостивилась она: — сегодня 6-е февраля? Так ровно через год в этот самый день ты можешь явиться ко мне во дворец.

— Лизавета Романовна! через полгода?

— Сказано раз: через год, так тому и быть.

А вот уже и Ледяной дом. Ты не забудешь отдать карликам эту полость?

— При вас же ее отдам.

Окликнув стоявшего у ледяных ворот часового, Самсонов передал ему от имени будто бы Волынского, оленью шкуру для новобрачных а повез затем Лилли далее до самого дворца. Когда тут сани остановились у бокового крыльца, Лилли сошла с саней со слова-

ми:

— Итак до 6-го февраля будущего года.

Она ожидала, что он еще раз повторит свою просьбу, и тогда, быть может... Но он пожелал ей только на прощанье упавшим голосом:

— Храни вас Бог!

Так закончился для них памятный день ледяной свадьбы карликов,

Что касается самих новобрачных, то на другое утро их нашли в Ледяном их дом в полубморочном состоянии, прижавшись друг к дружке, около потухшего ледяного камина, и если в них теплилась еще искра жизни, то благодаря лишь покрывавшей их теплой оленьей шкуре.

Был еще один страдалец, долго помнивший ледяную свадьбу, — Василий Кириллович Тредиаковский. Но свою обиду он на этот раз не перенес уже молча, а вошел с челобитной к своему главному начальнику, президенту Академии Наук, барону Корфу. Корф с своей стороны откомандировал к жалобщику академика-доктора Дювернуа, и тот донес, что... "на квартиру к помянутому Тредиаков-

скому ходил, который, лежа на постели, казал мне знаки битья на своем теле. Спина была у него в те поры вся избита от самых плеч даде поясницы; да у него ж под левым глазом было подбито и пластырем залеплено. Для предостережение от загниение велел я ему спину припарками и пластырями укладывать, чем он чрез несколько дней и вылезился"...

Этим донесением до поры до времени и ограничилось участие академического начальства к своему злосчастному секретарю: обидчик его, первый кабинет-министр, был еще в слишком большом фаворе у императрицы. Сам Василий Кириллович, однако, не стерпел и забежал с заднего крыльца еще к Бирону, а этому его жалоба послужила желанным оружием, чтобы погубить наконец своего ненавистного соперника.

## **VI. Арест Волынского**

**В**торая половина Масляной недели 1740 г. была посвящена празднованию мира с Турцией: после чтения герольдами на площадях мирного договора, с бросанием в народ золотых и серебряных жетонов, следовали: мо-



лебствие, разводы с пушечной пальбой, во дворце маскарад — для купечества, а на Дворцовой площади жареные быки с фонтанами красного и белого вина — для народа, которому царица с балкона бросала также горстями деньги; по вечерам же ежедневно фейерверк и иллюминации (на которую, сказать в скобках, по счетам придворной конторы, было отпущено от Двора одного говяжьего сала 550 пудов). Для обывателей это был пестрый калейдоскоп непрерывных увеселений, для придворных же чинов, как доводится, посыпались еще, как из рога изобилие, щедрые пожалования. В числе пожалованных не был забыт и председатель маскарадной комиссии, Волынский, удостоенный денежной награды в 20 тысяч рублей.

За этим наступило затишье Великого поста, — для Артемия Петровича — затишье перед бурей. По поводу требования саксонско-польским правительством возмещения ему убытков от прохождения русских войск через Польшу во время войны с турками, он не воздержался указать императрице на чрезмерную расточительность Двора, особенно

безконтрольные расходы герцога курляндского, истощающие и без того скудные ресурсы казны.

— Будет! — сухо оборвала его Анна иоанновна. — Твоими трудами, Артемий Петрович, по свадьбе карликов я много довольна и не обошла тебя наградой...

— За что я имел уже счастье принести вашему величеству мою всенижайшую благодарность, — подхватил Волынский. — Но горько мне, государыня, отдавать моих русских братьев чужеземцам на утеснение...

— Ты опять свое! Не гоже нам твои речи слушать. Язык у тебя — острая бритва. Берегись, как бы тебе зря самому не порезаться!

После этого в обращении с ним государыни Артемий Петрович не мог уже не заметить некоторого охлаждения; а чрезвычайно чуткая ко всяким таким симптомам высочайшей немилости вельможная знать не замедлила с своей стороны использовать эту немилость. Записной придворный остроумец князь Куракин, обедая раз во дворце вместе с Бироном и другими приближенными царицы, стал восхвалять ее царствование, столь же слав-

ное-де, как и царствование царя Петра Алексеевича.

— В одном лишь ваше величество ему уступаете, — добавил он со вздохом, — в одном!

— В чем же это? — спросила Анна иоанновна.

— Царь Петр знал господина Волынского за такие дела, что накинул ему уже веревку на шею, а ваше величество по мягкости сердечной вот уже десять лет не имеете духу затянуть петлю.

Острота, не смотря на ее грубость, вызвала на губах государыни улыбку; Бирон же с громким смехом чокнулся с острословом — и все близсидящие не преминули сделать тоже.

Нашлись, понятно, добрые люди, которые довели об этом случае до сведения Волынского. Терпение крайне самолюбивого государственного мужа наконец лопнуло. Целую ночь до утра просидев со своим секретарем Эйхлером за письменным столом, он уснул секретаря спать и кликнул Самсонова.

— Вот что, Григорий, — сказал он: — могу я довериться тебе? Ты не выдашь моей тайны?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство! — воскликнул Самсонов. — Всякая тайна ваша в груди у меня как огонь в кремне скрыта. Лучше я дам руку на отсечение...

— Ну, рука-то твоя мне и нужна. Почерк у Эйхлера нечеткий, а у тебя весьма даже изрядный. Так вот у меня, видишь ли, изготовлено секретное доношение государыне императрице, о коем, кроме тебя да Эйхлера, ни одна душа человеческая не должна до времени знать, чтобы не пошло в огласку; понял?

— Понял-с.

— Возьми же сие и перебели возможно чище на царской бумаге,

Взял Самсонов "доношение", стал его перебеливать; но чем далее писал он, тем тревожнее становилось у него на душе; а когда дописал до конца, то тяжелым предчувствием, как железными тисками, грудь ему сдавило: в докладной записке своей Артемий Петрович открывал государыне глаза, без всякой уже утайки, на целый ряд возмутительных жестокостей и злоупотреблений временщика-курляндца, который в конце концов должны были возстановить и против нее, государыни,

любящий ее русский народ.

Самсонов решился поделиться своими опасениями с Эйхлером; но тот прервал его:

— Да ты не видишь, что ли, что дело идет здесь о пресечении непорядков?

— Как не видеть. Но, неровён час, государыня осерчает. Все это можно бы сказать помягче, просить, а не требовать.

— Где надо просить, там не требуют, а где надо требовать, там не просят!

— И удостоится ли еще записка воззрение государыни? Отведут ей очи...

— Сам Артемий Петрович, я думаю, гораздо лучше нас с тобою знает, что делать, а мы только его исполнители.

Опасение Самсонова, однако, оказались не напрасными. "Секретное доношение" Волынского было передано императрицею самому Бирону для представление своих объяснений, а тот категорически заявил, что считает ниже своего герцогского достоинства оправдываться от злостных изветов человека, который осмелился нанести побои секретарю Академии Наук Третьяковскому в императорском дворце, в собственных его, герцога, покоях и

тем выказал неуважение к особ самой государыни.

— Служить вместе с Волынским я долее не могу! — заключил герцог. — Либо он, либо я!

рассказывали, что Анна иоанновна никак сперва не соглашалась пожертвовать Волынским, проливала слезы, но что Бирон стоял на своем. И вот Волынскому было прислано из дворца официальное извещение, что ее величеству до времени не благоугодно видеть его при Двор.

— Ну, что я вам говорил, Артемий Петрович! — не удержался тут заметить ему Эйхлер. — При Дворе слагаются теперь про вас уже всякие небылицы: что вы бунтовщик и конспиратор, что и башкирские-то бунты, и поджоги в разных местах не обошлись без ваших наущений.

Волынский горько улыбнулся.

— Еще бы! — сказал он: — Теперь я и злодей, и разбойник, потому что этому курляндцу надо, во что бы то ни стало, стереть меня с лица земли. Не даром вспомнишь поговорку Разумовского: Не говори: "гоп!", пока не перескочишь.

Настало Светлое Христово Воскресенье. Все население столицы встретило его радостно на за утрене при перезвоне колоколов. Один только первый кабинет-министр с своими малолетками-детьми да немногими из самых преданных ему слуг сидел у себя в четырех стенах. А когда поутру явился к нему Эйхлер поздравить с Светлым Праздником, Артемий Петрович поник головой и угнетенно промолвил:

— Господь Бог знает и все дурные мои, и все добрые дела. Да будет же надо мною Его святая воля! Но недруги мои, я чую, ищут теперь только претекста, чтобы довести меня до плахи.

Предчувствие его не обмануло. В конюшенной конторе выкопали старое дело, из которого усматривалось, что два года назад из этой конторы были отпущены 500 руб. дворецкому Волынского, Василью Кубанцу, на "партикулярная нужды" его господина. Тотчас последовал указ об аресте Кубанца. Подвергнутый начальником канцелярии тайных розыскных дел, генералом Ушаковым, "пристрастному допросу", калмык поведал о тайн-

ственных собраниях в доме Волынского, с целью будто бы ниспровержение престола, а кстати наплел на своего благодетеля и всевозможные другие провинности, начиная с того времени, когда тот был еще губернатором в Астрахани, где обирал будто бы и правого, и виноватого, похитил даже будто бы из монастыря драгоценную ризу, украшенную жемчугом и самоцветными камнями, стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Этих голословных показаний выкреста-татарина оказалось совершенно достаточно, чтобы объявить Волынскому и остальным «зоговорщикам» домашний арест и нарядить над ними следственную комиссию. Едва только успел Артемий Петрович сжечь в камине наиболее компрометирующие бумаги, как к нему нагрянули чины от "заплечного мастера" (как называли тогда лютого генерала Ушакова) и опечатали все, что еще не было сожжено. Вслед затем начались допросы Волынского и его сообщников, а 18-го апреля домашний арест был распространен и на всех его домоладцев. Возвратясь опять под вечер с такого допроса (разумеется, под конвоем), он позвал



к себе Самсонова.

— Ну, Григорий, — объявил он, — нам придется с тобой распрощаться и, думаю, уж навсегда.

— Но за что, сударь, такая немилость?! — воскликнул Самсонов. — Чем я это заслужил?..

— Напротив, — отвечал Артемий Петрович: — тобой я как нельзя более доволен и потому не хотел бы губить тебя вместе с собой. Покамест ты ничем еще не опорочен, а я (он мрачно усмехнулся), я — государственный преступник! Но и тебя, совсем уж безвинного, мои злодеи могут притянуть к ответу: ведь последняя моя докладная записка государыне перебелена твоей рукой. Сегодня меня допытывали, кто ее переписывал. Я отвечал, что сам. Мне, понятно, не поверили: мой почерк им слишком хорошо известен.

— Но они должны же понимать, что вы хотели одного добра...

— Видит Бог, что так, да не задалось! Им-то разве нужно добро? Злой человек — враг добра. Им надо было утопить меня в болоте — и утопят; сам себя за чуб уже не вытащишь!

Теперь мне осталось одно — выдержать до конца. Ты же еще молод, и путь в тебе, я чаю, будет. Посему тебе надо спастись, и теперь же.

Глаза Самсонова наполнились слезами.

— Нет, Артемий Петрович, — сказал он: простите, что я прямо вас так называю, — в беде я вас уже не покину; пусть они делают со мной то же, что хотят...

— Эх, милый ты человек! Мне-то ты этим ведь ни чуть не поможешь. Меня все равно возьмут в застенок, а из застенка одна дорога — под топор.

Волоса у Самсонова от ужаса шевельнулись на голове.

— Да быть этого не может! — в отчаянии вскричал он. — Ведь государыня же знает, как вы ей преданы...

— Жалует царь, да не жалует псарь. А теперь я и ее величества благоприетства лишился. Умел я жить — сумею и умереть. Тебе же быть щитом я уже не могу, и оставаться тебе у меня нельзя ни одного часу. Как бы вот тебе только выбраться из дома: у всех выходов караул поставлен.

— Как-нибудь да выберусь, это уж моя забота... — пробормотал со вздохом Самсонов. — Но не могу ли я что сделать, если не для вас самих, то хоть бы для ваших деток? Когда вас (не дай Бог!) уже не станет, кому пещись о сиротках? Не дадите ль вы мне от себя к кому-либо записочку...

— Спасибо, любезный, за добрую мысль. Пстой-ка, дай пораздумать...

Склонившись головой на руку, Волынский погрузился в думу.

— Да! никого другого в виду нет, — заговорил он снова. — Самые близкие мне люди все сидят точно так же уж под арестом. За другими единомышленниками моими, я уверен, установлен тоже строгий надзор, да и сами они от тебя теперь, пожалуй, открестятся. Есть в Петербурге один только человек, очень сильный и вне всяких подозрений: это — фельдмаршал граф Миних. Он хоть и из немцев, но не клевет Бирона и служить русскому престолу верой и правдой. Со мной он всегда тоже ладил, и исполнит, уповаю, мою предсмертную просьбу: не оставить моих малюток.

Взяв перо и бумагу, Волынский стал писать. Дописав, он вложил записку в конверт, запечатал и отдал Самсонову.

— В письме к фельдмаршалу я кстати упомянул и о тебе, - сказал он: — лучшего покровителя тебе не найти; а так как обыска у него, наверно, не будет, то в доме его ты как у Христа за пазухой.

— Премного благодарен, сударь! Но не во гнев спросить: чем я буду у него? таким же крепостным человеком?

— Пишу я ему, что сам бы дал тебе сейчас вольную, но что это тебе ни к чему бы не послужило: тебя все равно забрали бы в тайную канцелярию и — аминь! Так вот я передаю тебя на собственное его усмотрение: что он решит с тобой, то и благо. Корыстолюбив он (что греха таить!), зело жаден к деньгам (у кого нет своей слабости!), но не криводушен и справедлив. Сам ты только служи ему так же честно, как мне, - и он тебя, верно, не обидит. Ну, а теперь простимся...

Когда тут Самсонов припал губами к протянутой ему руке, Артемий Петрович наклонился над ним и поцеловал его в голову.

— Дай Бог тебе всякого успеха, а меня не поминай лихом!

Это были последние слова, которые слышал в своей жизни Самсонов из уст великого патриота, заранее уже обреченного на позорную смерть.

## **VII. Скачка с препятствиями**

**В** настоящее еще время существует в самом близком соседстве от Невского проспекта Волынский переулок названный так при Анниоанновне по ее первом министре. Проходит этот переулок, параллельно Невскому, от реки Мойки до большой Конюшенной, и все пространство по правую его сторону принадлежало некогда Артемию Петровичу Волынскому. Главное здание, в котором жил сам Волынский, выходило на Конюшенную; надворные же строения тянулись до самой Мойки; причем незанятые постройками промежутки вдоль переулка отделялись от него высоким досчатым забором. В заборе имелись две калитки; но перед каждой из них во дворе расхаживал часовой с ружьем; а по переулку взад и вперед разезжал конный жандарм. Таким образом, всякая попытка Самсонова пе-

релезть через забор была бы, по всей вероятности, замечена часовыми, а жандарм не преминул бы тотчас нагнать беглеца. Приходилось пуститься на уловку — отвлечь внимание часовых и завладеть лошадью жандарма.

Взяв из поставца в столовой полный штоф тройной водки и чарку, Самсонов спустился во двор и направился к одной из калиток.

— Ты куда? — гаркнул на него часовой. — Назад!

— А ты, брать, знать, раскольник? — спросил Самсонов. — Вина не уважаешь?

— Да это у тебя нешто вино?

— Нет, молоко... от бешеной коровы. Артемий Петрович у нас душа-человек: видит, что с утра тут добрые люди под ружьем маются; как не подкрепить этаким молочком?

— Эй, Орешкин! — окликнул часовой своего товарища. — Подь-ка сюда.

Когда Самсонов налил первому полную чарку, тот перекрестился размашистым крестом; "Господи, благослови!" и опорожнил чарку. Но тройная была, видно, очень уж забористая: он так и остался стоять с открытым ртом, как галченоч.

— Подлинно от бешеной коровы... — промолвился он наконец. — Индо дух захватило.

— Эх ты! — презрительно заметил ему подошедший товарищ и, приняв от Самсонова свою чарку, привычным взмахом опрокинул ее в глотку, после чего только причмокнул и крикнул. — А знатное пошло! Ну-ка, миляга, еще на другую ножку.

— Да сколько вас всех-то тут будет? — спросил Самсонов.

— Опречь нас двоих, у задних ворот на речку еще двое, да конный стражник, жан-дар.

— Ну, вот. А потом один никак еще тут по переулку разезжает?

— Этот то зарок дал не пить.

— Что так?

— Крепко тоже хмелем зашибался; да после зароку капли в рот не берет. Лучше и не подходи, — изругает.

"Этот путь, стало быть, отрезан! — сказал себе Самсонов. — Через главное крыльцо на Конюшенную тоже не выбратся: в швейцарской — полицейский офицер, на крыльце — двое часовых, а на улице — конный страж-

ник. Остается один выход — через задние ворота".

— Ну, что ж, — произнес он вслух: — коли так, то, пожалуй, угощу вас еще по второй.

Угостив того и другого, он пошел к задним воротам. Ворота были заперты; калитка в них плотно притворена. Приставленные здесь два караульных встретили Самсонова сперва не менее сурово, как и их товарищи во дворе, но излюбленный народный напиток сделал их также стоворчивее. Гарцовавший перед воротами жандарм равным образом не отказался от доброй чарки. Но Самсонов объявил, что за калитку к нему не выйдет: не приказано, мол, так и шагу туда не ступить.

— Стану я из-за тебя слезать с коня! — заворчал жандарм.

— Твое дело, — отвечал Самсонов. — Сиди себе да облизывайся; а винцо-то за редкость, прямо с господского стола.

— Что и говорить! — подтвердил один из караульных: — в жисть такого не пивал: все нутро ожгло! Дай-ка-сь, я ему поднесу.

— Как же! Сам, небось, и выпьешь? Нет, пускай слезает; из моих рук и примет.



Забранился опять жандарм, однакож спешился и вошел к другим под ворота, оставив калитку за собой полуотворенной.

— Чем богат, тем и рад, дяденька, — сказал Самсонов, с поклоном подавая ему штоф и чарку: — угощай себя уж сам, сколько душа требует. Да с плеткой тебе не способно; дай ка-сь, я подержу, прибавил он, отнимая у него плетку.

Оба караульные жадными глазами следили за тем, как «дяденька» наливает себе свою порцию, и один его еще предостерег:

— Да ты осторожней! половину даром разольешь.

Самсонова все трое хватились только тогда, когда он юркнул в калитку и захлопнул ее за собой. Когда они тут, один за другим, выскочили также на улицу (жандарм еще со штофом в одной руке, с чаркой в другой), Самсонов верхом на жандармской лошади скакал уже к Зеленому (теперь Полицейскому) мосту. Сзади его грянул выстрел, мимо уха его просвистела пуля. Он и не оглянулся. Но у самого моста ему волей-неволей пришлось осадить лошадь: по Невской перспективе, попе-

рек его пути, тянулась похоронная процессия.

Похороны были богатые и притом иноверческие: впереди, в черных одеяниях, шли факелбщики, с пылающими факелами; за ними на дрогах, запряженных шестеркой парных лошадей в черных пополах и с ноголовниками из черных страусовых перьев, следовал обитый черным сукном гроб, без покрова, но зато весь покрытый пальмовыми ветками и роскошными венками из живых цветов. Над гробом покачивался черный балдахин с пучками черных страусовых перьев по углам. За дрогами выступал пастор в черном бархатном "берете" и черном "таларе"; за ним — толпа дам и мужчин, дамы — в глубоком трауре с развевающимися креповыми вуалями, мужчины — с креповыми же повязками на шляпах и левом рукав. За пешеходами виднелся еще целый ряд пустых карет. Процессия двигалась торжественно-медленно около самой панели, а на мосту — около перил. Самсонов снял картуз и набожно перекрестился.

Вдруг за спиной его раздался конский топот. Он обернулся: к нему мчался конный жандарм, очевидно, тот, что разезжал по пе-

реулку. Где уж тут переждать! Скачи да кричи...

— Гей, поберегись! поберегись! Дорогу!

Визг дам и ропот мужчин. Но дорогу-таки дали, Самсонов пустился вскачь через перспективу по берегу Мьи (Мойки) к Белому (теперь Красному) мосту.

И снова позади его гремят по булыжной мостовой кованные копыта: жандарм, по его примеру, не постеснился нарушить погребальное шествие, чтобы нагнать его во что бы то ни стало.

В настоящее время по левому берегу Мойки, от Полицейского до Красного моста, кроме углового — у Невского — дома графа Строганова, стоять одни лишь казенные здание (Николаевского сиротского института, Воспитательного Дома и Училища глухонемых). В 40-х годах XVIII столетие здесь были дачи разных вельмож, между прочим, также и обергофмаршала графа Лёвенвольде. Только-что Самсонов поравнялся с воротами графской дачи, как оттуда показалась пара кровных рысаков с каретой. От налетевшего на них вихрем всадника рысаки шарахнулись в сторону,

и всадник проскочил мимо, провожаемый проклятиями пузатого кучера. Жандарм же подоспел только тогда, когда кучер выехал уже совсем из ворот и стал заворачивать лошадей в сторону Невского, совершенно зогораживая таким образом путь по узкой набережной Мойки. Вследствие этой задержки, преследователь отстал от преследуемого на лишнюю сотню шагов. Когда первый миновал только белый мост, второй приближался уже к следующему — Синему.

— Держи его, держи! — неумолчно доносился вслед ему зычный рев жандарма.

И нашелся человек, внявший этому кличу, — ражий дворник, сгребавший перед одним домом в кучу накопившуюся за зиму грязь. С поднятой в руках лопатой он выступил на середину улицы. Но Самсонов с налету сшиб его с ног, а сам полетел далее.

Вот и Синий мост. Тут только беглец наш отдал себе отчет в том, что цель его ведь — фельдмаршал Миних. Дом фельдмаршала был на Васильевском острове, по набережной большой Невы, между 11-й и 12-й Линиями (где теперь Морской корпус). Единственным

же сообщением с Васильевским островом служил тогда Исаакиевский мост между сенатом и адмиралтейством, напротив церкви Исаакие далматского. Стало быть, туда!

На широком пространстве от Синего моста до Исаакиевского был для скачущего полный простор. Так как, однако, Исаакиевский мост был построен недавно — в 1727 году, — то для возмещение произведенных на него расходов существовал еще так-называемый "мостовой сбор", и все переезжающие или переходящие через мост должны были вносить мостовому сборщику установленную лепту, становясь для этого в очередь. Самсонов дожидаться, понятно, не стал и не в очередь прорвался на мост. Сборщик кричал вслед ему что-то; но он летел вперед без оглядки, без усталости работая плеткой, потому что за ним по деревянной настилке моста стучали уже копыта жандармского скакуна.

Недалеко от конца моста встретилось новое препятствие: навстречу ехали, обгоняя друг друга, два лихача-извозчика, а на остров, очевидно — на биржевую таможду, тянулся обоз нагруженных ломовых подвод. Произо-

шла некоторая заминка.

— Задержите его, ребята! — вопил ломовикам жандарм.

— Эвона! Так для тебя и задержим! — был ему ответ. — Скачи, малый, улепетывай!

Сейчас вот и конец мосту; но на углу — будка, а перед будкой — будочник с алебардой. Завидев скачущих друг за другом Самсонова и жандарма, он выбежал вперед и протянул перед первым свою алебарду в вид рогатки.

— Стой!

Самсонов стегнул свою измученную уже лошадь со всего маху и гикнул. Как окрыленная, она всеми четырьмя ногами взвилась на воздух. Но будочник еще выше поднял алебарду. Лошадь задела за нее задними копытами, перекувырнулась, да так и осталась лежать, придавив собой одну ногу всадника.

"Пропал! — решил про себя Самсонов. — Притвориться разве мертвым?"

— Эй, ты, долголь еще лежать-то будешь? — окликнул его жандарм.

— Знать, шибко убился, до обумертвие, — подал голос будочник. — Да и лошадь, вишь,

на него навалилась.

— Так подыми ее, за хвост-то.

Стал будочник тащить ее за хвост.

— Ну, ну, вставай, что ли!

Лошадь сделала попытку приподняться, но опять повалилась.

— Да ты бы в бок ее лебардой! — командовал жандарм.

Алебарда подействовала: после нового усилия лошадь поднялась на ноги, но дрожала еще всеми членами.

— Эх, эх! и колена-то себе как отшибла! — заметил будочник. — А бегунок твой все еще без памяти.

— Так растолкай его!

Стал будочник расталкивать "бегунка", но тот по-прежнему не подавал и признаков жизни.

— Нет, как есть мертвое тело!

— Эка служба каторжная! — пробурчал жандарм, нехотя слезая наземь.

Но едва только он подошел к "мертвому телу", как тело ожило, схватило его за обе ноги, и сам он растянулся на земле. В тот же миг Самсонов вскочил на ноги и — на собствен-

ную лошадь жандарма.

— Вот так так! Ай, молодца! Ха, ха! — раскатило загрохотали ломовики, свидетели всей этой сцены. — Ну-ка, лови его теперь, лови!

Пока ошеломленный жандарм пришел в себя да собрался ногонять беглеца на оставленной ему чужой лошади, с трудом передвигавшей свои разбитые ноги, — того и след простыл.

## **VIII. Фельдмаршал граф Миних**

Во второй половине апреля солнце заходить в Петербурге довольно поздно — около 8-ми часов вечера. Когда описанная сейчас скачка с препятствиями пришла к концу, солнце было уже за горизонтом; но темноты еще не наступило, а потому ехать к дому графа Миниха прямым путем по набережной у всех на виду было бы безрассудно.

Проскакав вниз по Кадетской линии до большого проспекта, Самсонов завернул по проспекту налево, а когда миновал несколько линий, то взял опять направо и мчался так все вперед, пока не достиг Малого проспекта.



Здесь в те времена была еще почти сплошная дичь и глушь: кое-где лишь убогий домишко, а то заборы, огороды или по-просту пустыри, поросшие кустарником.

Весь Малый проспект, и вверх и вниз, точно вымер; свидетелей, значить, не было. Сойдя с лошади, Самсонов потрепал ее сперва в благодарность по шее; потом сорвал с куста добрый хлыст (плетку во время падения он потерял), повернул лошадь головой в сторону большой Невы и вытянул ее хлыстом. Неприготовленная к такому обращению после испытанной только-что ласки, она сделала воздушный прыжок и ускакала вон.

Теперь только Самсонов оглядел свое платье: сверху до низу оно было забрызгано, замазано уличною грязью. Он взялся за голову: и картуза на нем уже не было! Ну, как в таком виде предстать перед фельдмаршалом?

На помощь ему пришла сама природа. С Ладожского озера нагнало дождевую тучу, закрапал дождь и вдруг полил как из ведра.

Подставляя под ливень, как под душ, то лицо и грудь, то бока, то спину, Самсонов смыл с себя все следы улицы, а затем, в виду сгустив-

шихся уже сумерек, решился двинуться к конечной своей цели. Четверть часа спустя он входил под колоннаду крыльца фельдмаршалского дома. У входа горели два масляных фонаря, а потому стоявший за стеклянной дверью швейцар мог хорошо разглядеть всю неприглядную фигуру юноши, с непокрытой головы и всей одежды которого вода бежала ручьями. Поэтому же он встретил входящего далеко нелюбезно:

— Чего лезешь парадным ходом! Еще на-  
следишь тут у меня...

— Уж не взыщи, почтеннейший, — с скромною развязностью извинился Самсонов, хотя сердце под камзолом у него сильно стучало. — Я к его сиятельству фельдмаршалу по самонужнейшему делу. Ну, уж погодка!

— А картуз твой где?

— Картуз?.. Да на мосту, вишь, ветром с головы сорвало и в Неву снесло.

— Гм... — промычал с некоторою как бы недоверчивостью швейцар. — Да как я пущу тебя к его сиятельству в таком обличье? Тебя кто послал-то?

"Кого ему назвать? Назову-ка сына фельд-

маршалского; ведь, он каждый день, почитай, дежурит в Зимнем дворце."

— Послал меня к своему родителю молодой граф; государыня его нынче дольше задержала...

— Почто же ты о том сряду не сказал? Ты малый, не финтишь ли?

В это время к крыльцу подкатила карета.

— Да вот и сам молодой граф! воскликнул швейцар и выбежал на улицу.

Сквозь стеклянную дверь Самсонову было видно, как швейцар, открыв карету и высадив своего молодого господина, начал что-то наскоро ему докладывать.

"Смелость города берегь!" — сказал себе Самсонов и стал у самого входа.

Таким образом, молодой Миних, входя, тотчас его увидел.

— Это он и есть? — спросил он швейцара.

— Он самый, ваше сиетельство.

— Ты что это наплел на меня? — обратился он к Самсонову. — Да постой, лицо твое мне словно знакомо...

— Ваше сиетельство не раз уже меня видели, — отвечал Самсонов и прибавил шопо-

том: — Прислан я к господину фельдмаршалу под кровом глубочайшей тайны, дабы чести его порухи не было.

— Отойди-ка, — сказал Миних швейцару. — Кто ж это прислал тебя?

— Артемий Петрович Волынский.

При имени павшего в немилость кабинет-министра молодой граф побледнел и нахмурился.

— Ты, верно, с письмом от него? — спросил он.

— С письмом; но мне велено передать его в собственные руки вашего батюшки.

— Я уже передам; а ты здесь обождешь.

И, взяв письмо Волынского, сын фельдмаршала удалился.

Минуты ожидание были для Самсонова томительны и страшны.

"А ну, как старый граф не захочет ввязаться в это дело и отошлет меня назад, или просто прикажет арестовать меня?"

Ждал он, пожалуй, десять, много двадцать минут, но протянулись, сдавалось ему, целые часы, пока не явился наконец денщик и не повел его с собой. Поднявшись по широкой,

устланной ковром лестнице во второй этаж, они через приемную прошли в графский кабинет. Освещался кабинет столовой лампой, покрытой большим абажуром, а потому в нем царил мягкий полусвет.

Старик-фельдмаршал сидел за письменным столом в кресле, но, несмотря на свои 57 лет, сидел по-солдатски браво, как говорится: точно аршин проглотил. Благодаря строгому образу жизни, правильные черты лица его и теперь еще не расплылись, не обрюзгли. С головы до пяток он был так сухощав и крепок, что ему можно было предсказать очень долгий век; здоровый организм его только больше все высушал бы и становился бы оттого еще как бы прочнее. В светло-голубых глазах его, почти лишенных бровей, светился сухой же и трезвый, непреклонный ум; бледные губы были скептически сжаты.

"Вот кто привык повелевать!" мелькнуло в мыслях Самсонова.

Граф Бурхард Христофор Миних не даром начал свою военную карьеру под начальством двух знаменитых полководцев: принца Евгение Савойского и герцога Мальбуртско-

го. Затем он отличился, как инженер, постройкою в ландграфстве гессен-кассельском канала между двумя реками; в 1717 году поступил в саксонско-польскую армию с чином генерал-майора, а в 1721 году, по предложению русского посланника в Варшаве князя Долгорукова, перешел навсегда на русскую службу, на которой сперва выказал себя достройкою Ладожского канала и учреждением первого у нас кадетского корпуса. В данное время он был президентом военной коллегии, генерал-фельдцейгмейстером, главным начальником инженерного корпуса, и, в качестве генерал-фельдмаршала, в войнах с врагами России покрыл русское оружие неувядаемою славой.

Выслав вон денщика, фельдмаршал подозвал к себе Самсонова, приподнял абажур на лампе и, прищурясь, внимательно взгляделся в лицо юноши, точно изучая его характер; а затем заметил по-немецки сидевшему тут же сыну:

— Знаешь ли, он мне нравится.

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, — заявил тут Самсонов, — я понимаю по

немецки.

— А! Где ж ты научился этому языку?

Самсонов объяснил, что наслышался в детстве от управляющего имением своих прежних господ, Шуваловых, барона Врангеля и его детей.

— Так ты, пожалуй, и говоришь тоже по-немецки?

— По малости.

— Это облегчит еще дело. Но скажи-ка, как тебя пропустили ко мне? Ведь все у вас там под арестом?

— Я, ваше сиятельство, не спрашиваясь, убегом ушел.

И в нескольких словах он поведал о своей "скачке с препятствиями".

— Прехвально; не даром же пишет Артемий Петрович, что ты — малый ловкий и умелый, в одно ухо влезешь, а в другое вылезешь, — сказал старый граф и указал глазами на лежащее перед ним на столе вскрытое письмо: — Знаешь ты, о чем он меня просит?

— Сказывал он мне, что в уважение доброй приезни кланяется вашему сиятельству земно быть малюткам его заступником, буде

с ним самим что недоброе случится. Умило-сердуйтесь над ними!

— Доколе сам он жив, о детях его говорить нет здравого резона, — сухо прервал фельд-маршал. — Содержатся они ныне купно с ним без выпуска. Чинить что-либо касательно их ничего пока невозможно. Вопрошаю я о тебе самом: ведь ты — крепостной Артемии Петровича?

— Крепостной-с.

— Что впоследствии с его другими крепостными — одному Богу известно. Тебя же он от сего часу отдает в мое распоряжение, дабы и тебе жилось, и мне от тебя была некая польза. Но быть за тебя в ответе и претерпеть ущерб мне не приходится. Посему и для отвода очей мы с сыном положили услать тебя не медля из Петербурга. Завтра же, чуть свет, ты отправляешься в Лифляндию, в вотчину сына Ранцен. Управляющий вотчиной давно уже просить прислать к нему отсюда волонтера, что помогал бы ему присматривать за рабочими да за конским заводом. Ты ведь, слышно, большой мастер укрощать лошадей?

— Готов служить вашим сиетельствам с



истинною ревностью, чем только умею, — уверил Самсонов. — Отныне я ваш по гроб жизни.

— Ну, вот; так в Ранцене ты будешь волонтером. Чем ты был доселе — и там не должно быть гласно. Имя твое ведь Григорий?

— Так точно-с.

— А родился ты в какой губернии?

— В Тамбовской.

— Так, дабы тебя не опознали, ты в Ранцене будешь называться Григорием Тамбовским.

— Но мне, ваше сиятельство, придется еще выправить новый вид на жительство...

— В моей вотчине от тебя никакого вида не потребуют, — вмешался тут молодой граф. — Я дам тебе записку к моему управляющему; для него это будет вернее всякого документа. А платье для тебя найдется в моем гардероб.

Так Самсонов-Тамбовский на следующее же утро беспрепятственно и безследно исчез из Петербурга.

## **IX. "Казнен невинно"**

Полицейские чины, допустившие побег одного из арестованных в дом Волынского, благоразумно умолчали перед своим грозным начальством про свою оплошность. Беглец для всех, кроме Минихов отца и сына, как в воду канул. Не подозревала ничего, конечно, и Лилли Врангель, не выдавшая своего "молочного брата" со дня «ледяной» свадьбы.

"Какой ведь послушный! — не без самодовольства думала она. — Вот уже третий месяц глаз не кажет. Посмотрим, выдержит ли он искуc до конца?"

Тут и до нее дошел слух об аресте первого кабинет-министра со всеми его домочадцами, и ожидающая Самсонова участь не на шутку стала ее беспокоить. При случайной встрече с младшим Шуваловым она решилась спросить его, не слышал ли он чего про своего бывшего камердинера.

— Весь дом Волынского оцеплен, — отвечал Шувалов: — ни одна мышь не проскользнет ни туда, ни оттуда. Но в государственном преступлении Волынского Самсонов вряд ли замешан.

— Я сама так думаю; но у него, может быть,

станут выпытывать какие-нибудь важные признание... взведут на него небывалый провинности...

— М-да, за противное ручаться трудно. У генерала Ушакова на этот счет своя определенная система. Что можно узнать — я узнаю. Главное — не тужите.

И она не тужила. Но прошло более недели, а ветреный камер-юнкер цесаревны не показывался, точно забыл уже данное обещание.

"28-го числа — день коронавание государыни; в церкви будет молебствие: тут Шувалов верно, подойдет опять к нам и у меня уже не отвертится!" — решила Лилли.

Действительно, когда 28-го апреля весь Двор сехался в Зимний дворец, и в 11 часов в придворной церкви началась литургия, Шувалов стал подбираться к стоявшей позади принцессы Анны Леопольдовны баронессе Юлиане. Но та, строго соблюдая, в присутствии остальных придворных, установленный этикет, не повела и бровью, с смиренно-набожной миной следя за торжественной службой. Петру Ивановичу ничего не оставалось, как обратиться вспять. Когда он тут про-

ходил мимо Лилли, глаза их встретились; но на ее вопросительный взгляд он пожал только с сожалением плечами.

"Значит, никаких вестей!"

Относительно же процесса Волынского до нее с разных сторон доходили всевозможные слухи, которые, переходя из уст в уста, разрослись, подобно снежному кому, до чудовищных размеров. Так, рассказывали, будто бы Волынский, поднятый на дыбу, под кнутом сознался, что замыслил полный государственный переворот: всех немцев, начиная с Бирона, хотел будто бы выгнать из России; принцессу Анну Леопольдовну, вместе с ее супругом, принцем Антоном-Ульрихом, посадить на корабль и отправить во-свои в Германию; императрице Анне иоанновне предложить свою руку, после же венца или в случае ее отказа заточить ее в монастырь; с цесаревной Елисаветой Петровной поступить точно так же, а самого себя провозгласить императором всероссийским.

У сообщников Волынского, как гласила та же молва, были равным образом вымучены в застенке самые тяжкие обвинения как про-

тив них самих, так и против Волынского. Самсонова, однако, в числе пытаемых не называли, и это отчасти успокаивало Лилли.

С 20-х чисел мая, когда в сыскной канцелярии приступили к "пристрастному допросу" Волынского, в здоровьи императрицы, давно уже страдавшей подагрой и каменной болезнью, обнаружилось заметное ухудшение. Прописываемые ей докторами лекарства она принимала с большим, отвращением, а то и вовсе не принимала.

— Ваши лекарства мне, все равно, ничем не помогут; главная моя болезнь вот где! — говорила она, указывая на сердце, и на глазах у нее при этом выступали слезы.

Тогда доктора стали настаивать на переезде ее за город — в Петергоф. Сначала она и слышать о том не хотела, так как не любила Петергофа. Но когда ей доложили, что Волынского, по всей вероятности, ожидает смертная казнь, с нею сделался нервный припадок с мучительными болями, и она отдала распоряжение о немедленном отезде из Петербурга, чтобы не быть там в день казни. Вместе с государыней переехала на лето в большой пе-

тергофский дворец и Анна Леопольдовна с своей свитой. Здесь же, в Петергофе, 23-го июня 1740 г., Анной иоанновной был подписан приговор, с некоторым, впрочем, смягчением сентенции суда относительно Волынского, которого судьи находили нужным до смертной казни посадить еще живым на кол.

Четыре дня спустя, ранним утром, в Петербурге на Сытном рынке, близ Петропавловской крепости, вокруг высокого деревянного помоста стеклась огромная толпа народа поглазеть на казнь "великих зоговорщиков". Осудили их ведь на точном основании законов, стало быть, и жалеть их грешно! Тем не менее, у многих из зрителей, надо думать, дрогнуло сердце, когда у помоста появились искалеченные уже пыткой осужденные, во главе с бывшим первым кабинет-министром Артемием Петровичем Волынским, у которого рот был повязан платком, пропитанным кровью, так как ему раньше уже вырвали язык, и кровь не унималась...

И совершилась публичная казнь: Волынскому была отрублена правая рука, а затем как сам он, так и ближайшие его два друга,

Хрущов и Еропкин, сложили голову под топор. Соймонов и Эйхлер были наказаны кнутом, де-ла-Суда плетьюми, а графу Мусину-Пушкину "урезан" язык, после чего все четверо отправлены в Сибирь — первые трое на каторгу, а последний в вечную ссылку.

Замолвил ли фельдмаршал граф Миних с своей стороны за сирот Волынского доброе слово, о котором просил его их отец, — сказать мы не умеем. Если же замолвил, то безуспешно; двух маленьких дочек Артемие Петровича отправили в отдаленный сибирский монастырь для пострижения в свое время в монахини, а сыночка — в Камчатку для отдачи его на 16-м году жизни навсегда в гарнизонные солдаты.

Из конфискованного в казну имущества осужденных значительная часть была роздана, как полагалось, в награду разным "преданным слугам отечества". Считая себя также одним из таковых слуг, Василий Кириллович Тредиаковский не замедлил теперь выступить также претендентом на частицу наследства Волынского. В слезном всеподданнейшем прошении, по пунктам, с присушим ему

семинарским красноречием, жалуясь на претерпенные им от своего "жестокого мучителя и безсовестно-злобного обидителя нестерпимое безчестье и безчеловечное увечье, притом в самом ее императорского величества апартаменте", пиита наш просил, "дабы повелено было из оставшихся после Волынского пожитков учинить ему, просителю, милостивейшее наградительное удовольствие".

Но прощению этому до времени не было дано ходу, так как императрицу вообще не желали беспокоить чем бы то ни было, что было связано с именем Волынского. Что сама она не могла еще забыть покойного и приняла во внимание его указание на необходимость упорядочить государственные средства, доказывал, между прочим, сделанный сенату в июле того же года в именном указе Высочайший выговор:

"...Весьма удивительно, что ныне в деньгах недостаток явился. Все нужнейшие государству нашему полезные дела упущены и до того дошли, что о пополнении государственных доходов ни малой надежды нет, в сборах многие непорядки явились, и оттого сборы



умалются; доимки в нескольких миллионах состоят, казенные деньги частными лицами похищены и другими коварными вымыслами захвачены"...

Всегда богомольная, Анна иоанновна проводила теперь целые часы в молитвах, как бы ища в духовном общении с Богом облегчение наболевшей душе.

Особенно же, как передавали шопотом, она была потрясена признанием, безотчетно вырвавшимся у одного из судей Волынского. В их числе был также шурин последнего, Александр Нарышкин. Вместе с другими подписав приговор, Нарышкин поехал домой; но в экипаже он впал в обморочное состояние, а по возвращении домой с ним сделалась горячка.

— Я изверг! — кричал он в бреду: — я осудил невинных, я послал на смерть своего брата!

Считаем уместным по этому поводу привести здесь замечательный отзыв Екатерины Великой, которая, вскоре по вступлении своем на престол, просмотрела все дело о Волынском: "Сыну моему и всем потомкам советую

и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали бы от такого незаконного примера в производстве дел. Злодеи Волынского взвели на него изменнический умысел, будто он себе присвоить хотел власть государя, что отнюдь на деле не доказано. Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменник, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным поправлением своего отечества"...

На могильной же плите Волынского (у церкви Сампсоние на Выборгской стороне), по приказанию Екатерины, была добавлена надпись: "Казнен невинно".

## **Х. Лилли няньчит наследника престола**

**К**ак только переезд Двора на летнее пребывание в Петергоф был окончательно решен, были приняты самые энергичный меры к приведению в надлежащий вид как большого петергофского дворца, так и лежащего под ним Нижнего сада. "Зимние" палаты, предназначенные для самой государыни, выходили на солнечную сторону, и так как она, по своему болезненному состоянию, не могла

спускаться в сад, то единственная ее прогулка из опочивальни была на стеклянную галерею, служившую столовой для "придворных кавалеров". Для защиты от солнечного зноя на этой галерее были устроены полотняные ширмы, под прикрытием которых императрица сидела по часам в кресле, вдыхая свежий аромат посеенных внизу "для плезиру ее величества" (как значилось в счетах дворцовой конторы) ржи, овса, ячменя и гречи.

К услугам всех других обитателей петергофского дворца были тенистые аллеи Нижнего сада, где все фонтаны были капитально исправлены и выложены раковинами, пруды вычищены, дороги и дорожки заново утрамбованы, в «приличных» местах поставлены зеленые «лавки» и проч., и проч. Но гуляющих было мало. Общее настроение во дворце, особенно на половине принцессы Анны Леопольдовны, было очень тревожное и удрученное, как бы перед неминуемой катастрофой. Шопотом обменивались разными предположениями относительно будущего, так как, по отзыву врачей, дни государыни были сочте-

ны. Передавали за верное, что посол наш при датском Дворе Бестужев-Рюмин, сторонник Бирона, вызывается из Копенгагена в Петербург для замещение открывшейся после Волынского вакансии кабинет-министра. Таким образом, было основание опасаться, что Бирон, не скрывавший своего нерасположение к принцессе, воспользуется в решительную минуту случаем устранить ее от престола.

В это-то время совершилось событие, разом разрядившее грозную атмосферу Двора: 12-го августа у Анны Леопольдовны родился сын; стало быть, имелся законный, мужеского пола наследник престола! А опека над ним ближе всего, конечно, должна была принадлежать ей же, родной матери.

Для герцога курляндского это было, без сомнения, страшным ударом; он не давал себе и труда скрывать свою досаду. Супруга же его, при всей своей ограниченности, умела лучше притворяться, выказывала особую нежность к новорожденному принцу и выговорила себе право пеленать его собственноручно. Более же всех, даже более самой матери, обрадовалась государыня: по ее приказанию, колы-

бель младенца в тот же день была перенесена в комнату, смежную с ее собственной опочивальней, и для него была взята здоровая кормилица из простых баб соседней чухонской деревушки. Затем в Петергоф были вызваны два почтенных академика Академии Наук: Крафт Георг-Вольфганг и Эйлер Леонард, которым было поручено, как «астрономам», составить по небесным светилам «гороскоп» новорожденного. В наше время об астрологии говорят не иначе, как с снисходительной улыбкой. В те времена и большинство ученых верило, что у каждого смертного есть "своя звезда", и оба академика вывели для сына принцессы Анны Леопольдовны такой ужасающий гороскоп, что не решились предъявить его больной царице, а представили ей другой, вполне благоприятный. По странной случайности, однако, первоначальный гороскоп, как говорят, до точности верно предсказал трагическую судьбу первенца Анны Леопольдовны.

Надо было выбрать и имя для маленького принца. Между молодыми родителями заранее уже происходили по этому поводу оживленные споры. Принц Антон-Ульрих, как лю-

теранин, хотел дать сыночку несколько имен и все немецких; он никак не мог взять в толк, что православные получают при крещении всего одно имя и притом лишь из тех, что значатся в православных святцах. Императрица своим властным голосом положила конец пререканием:

— Родитель мой был иоанн; так пускай же и наследник мой будет иоанном!

Возражать уж не приходилось.

Для Лилли Врангель царственный младенец был также светлым лучом в окружающих, потемках. Покои принцессы находились на противоположной стороне дворца, а потому Лилли по несколько раз в день навещала маленького принца иоанна, чтобы приносить молодой матери известие о состоянии его здоровья. Вначале у нее вышло из-за этого даже столкновение с самой герцогиней Бирон. Когда Лилли входила раз в детскую, герцогини там не было. Кормилица, только-что откормив младенца, укладывала его в, колыбельку. Не досыта ли он насосался, или же грубые руки дюжей чухонки обращались с ним недостаточно нежно, — но он запищал.

— Ах ты, мой птенчик! — сжалилась Лилли и, вынув ребенка из колыбели, начала его убаюкивать колыбельной песенкой.

За этим застала ее герцогиня.

— Да как ты смеешь его трогать! — запальчиво напустилась она на непризванную няню и выхватила маленького принца из ее рук.

Тот не оценил, однако, этой чести и заявил громкий протест.

— Вот видите ли, ваша светлость, — заметила Лилли: — у меня он совсем уже утих, а вы его опять разбудили.

— Я же и виновата? Ты забываешься!

И в сердцах герцогиня принялась так размахисто укачивать младенца, что он разорался уже благим матом. Так ламентации его в полуотворенную дверь царицыной опочивальни достигли и до слуха Анны иоанновны, и сама она появилась на пороге.

— Что вы тут делаете с ним?

Герцогиня мотнула головой на Лилли:

— Да все вот она!

— У меня, ваше величество, он уже уснул, — почтительно приседая, стала оправ-

дываться Лилли, — но герцогиня отняла его у меня. Я знаю, как няньчиться с детьми...

— Где же ты этому научилась?

— У кузины моей в Лифляндии: у нее такой же крошка-сыночек, и я всегда укладывала его спать.

— Ну, посмотрим, как-то ты сладишь с нашим крикуном. Отдай-ка ей его назад, Бенигна.

Приняв «крикуна» от герцогини, Лилли тотчас удостоверилась в главной причине его неудовольствие.

— Да его надо перепеленать!

И точно: как только она переменяла пеленки, маленький принц перестал кричать и задремал. Тогда она опустила его в его нарядную колыбельку и прикрыла не менее нарядным одеельцем.

— Ну, что, Бенигна, что ты теперь скажешь? — обратилась императрица к герцогине.

Та бросила на Лилли далеко не дружелюбный взгляд и заметила, что "его высочеству наскучило наконец плакать".

— Ну, конечно, — улыбнулась государы-



ня. — Во всяком разе обходиться с ним она умеет, и ты ей напредки уже не препятствуй.

На шестой день после рождение нового наследника престола состоялись его крестины. Происходило таинство не в дворцовой церкви, а в собственной опочивальне ее величества, в присутствии цесаревны Елисаветы, кабинет-министров, иностранных послов и придворных особ обоего дола, из которых, впрочем, многие, за теснотою помещение, должны были оставаться на смежной галлерее. Будучи единственной восприемницей своего внучатного племянника, Анна иоанновна, несмотря на свое тяжкое недомоганье, первую половину обряда держала его на руках, не садясь в поставленное за нею кресло. В двух шагах позади ее стояли герцогиня Бенигна во всем блеске своих бриллиантов и чухонка-кормилица в своем безвкусном национальном наряде.

Царственный младенец, перед тем накормленный, вел себя вполне благоприлично, изредка лишь в полусне издавая неопределенные звуки. Но вот главный придворный священник взял его из рук августейшей воспри-

емницы, чтобы троекратно погрузить в купель, — и комната огласилась таким раздира- тельным криком, что государыня, приняв его обратно от священника, поспешила передать его герцогине, кормилице.

Но бедный ребенок не хотел угомониться. Анна иоанновна, в изнеможении опустившаяся уже в свое кресло, растерянно оглянулась. Увидев тут в дверях детской, среди десятка женских лиц, и Лилли, она сделала ей знак.

Можно себе представить общее удивление, когда робкими шагами, с густым румянцем смущения на миловидном личике, приблизилась молоденькая камер-юнгфера принцессы и отобрала вопящего младенца в свою очередь у кормилицы. Как и прежде, на руках у нее он почти тотчас присмирел.

По окончании священного обряда, государыню обступили сановные поздравители, чтобы наперерыв один перед другим принести ей наилучшие пожелание. Двоих из поздравителей: Бестужева-Рюмина и Миниха-сына, Анна иоанновна с своей стороны поздравила: Бестужева — вторым кабинет-министром и Миниха — камергером при наслед-

ном принце иоанне Антоновиче.

Лилли воспользовалась общей сутолокой, что бы, сбыв новоокрещенного кормилице, самой стусеваться. Но ее удержала за руку безотлучная спутница цесаревны, Аннет Скавронская.

— Пстой же, милочка! И поздороваться не хочешь? Если-б ты знала, как ты была мила! Старики — и те даже спрашивали: "Кто эта прелесть?"

— Перестань, Аннет, говорить вздор...

— Вовсе не вздор. Ты распустилась, право, как цветок...

— Ну, прошу тебя, Аннет! Лучше скажи-ка: как ты провела лето?

— Да как его проводить в городе? Хорошо еще, что окна нашего дворца выходят на Царицын Луг, где все лето стоят лагерем войска. На зеленой мураве раскинуты их белые палатки и происходят всякие экзерсии, кампаменты военные; на солнце так и сверкают ружья и сабли...

— Так что ты, пожалуй, и думать забыла про своего Воронцова?

— Т-с-с-с! Ведь никто здесь ничего еще и не

подозревает...

— А он все еще в своем линейном полку в провинции?

Скавронская глубоко вздохнула.

— Уж и не говори! И когда-то еще оттуда выберется! А я вот сохни тут и сокрушайся... Иной раз, знаешь, просто отчаянность находить. А что, Лилли, твой Самсонов?

Лилли не то смутилась, не то рассердилась.

— Какой он «мой»! Отвратилась от него душа моя...

— Что так?

— Да так. С самого дня свадьбы карликов я ничего об нем не знаю... Да и знать не хочу!

В это время сквозь окружающий многоголосый гул чутки слух ее расслышал за соседнею дверью детский плач.

— Прости: маленький плачет!

И она скрылась в детской.

## **XI. Катастрофа надвигается**

**В**какой зависимости телесное здоровье находится от расположение духа — особенно наглядно можно было видеть на императрице Анне иоанновне: со дня рождение принца

иоанна, обезпечивавшего престолонаследие, у нее проявился необычайный подъем духа, отразившийся тотчас на аппетите, а затем и на всем организме. Она не только стала ежедневно выезжать в открытой коляске, но предалась снова и своей до страсти любимой потехе — охоте.

До апреля 1740 г. придворными охотами, в качестве обер-егермейстера, заведывал Волынский. После его казни, "командующим над охотами" был назначен один из любимцев Бирона, полковник второго Московского полка фон-Трескау. Давно страдая одышкой от ожирение сердца и всего вообще тела, он рассчитывал, должно-быть, что, при болезненности государыни, новая должность будет для него синекурой. Осмотр петербургских зверинцев: Малого и Екатерингофского, трех дворов для содержание зверей придворной охоты: Зверового, Слонового и Ауроксов (зубров), а также садков в дворцовых садах, он отложил до возвращение государыни осенью в Петербург и жил в свое удовольствие на казенной даче, отведенной ему при петергофском зверинце. Как вдруг, громом из ясного

неба, последовал высочайший приказ — к завтрашнему же дню приготовить «гоньбу» оленей. Господи Ты Боже мой, что случилось с бедным фон-Трескау! Почтенный толстяк заметался, как угорелый: в петергофском зверинце не оказалось потребного числа оленей, а в целом Петергофе необходимого количества полотна для ограждение той части Нижнего сада, где должна была происходить гоньба. Полковник поскакал в Петербург и за оленями, и за полотном. Вернулся он оттуда уже под утро; но к определенному часу все было готово для гоньбы. Нижний сад огласился звуками охотничьего рога, лаем гончих и ружейной пальбой.

Не успел фон-Трескау перевести дух после гоньбы оленей, как ему было предписано устроить «парфорсную» охоту на лосей, кабанов, диких коз и зайцев. И так изо дня в день.

Не описывая более подробно этих облав и травлей, укажем лишь на красноречивые цифры, сохранившиеся в "С.-Петербургских Ведомостях" 1740 г.: по 26-е августа императрицей самолично было застрелено 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волк, 374 зайца, 68

диких уток и 16 больших морских птиц.

В конце августа погода резко переменилась: пошли непрерывные дожди; ни о прогулках, ни об охоте не могло быть уже и речи. Душевное настроение, а с тем вместе и здоровье государыни разом опять ухудшилось. Она не покидала уже опочивальни, никого не желала видеть, кроме своей камерфрау Юшковой да герцогини Бирон. По совету врачей, было решено переселиться опять в Петербург, — на первое время еще в Летний дворец. Но перебраться затем в Зимний Anne иоанновне так и не было уже суждено. К участвующимся подагрическим припадкам и болям в почках прибавилась бессонница, а затем и кровохарканье. Первый лейб-медик Фишер глядел очень мрачно; другой придворный врач, португалец Санхец, успокаивал окружающих, что немец смотрит на все сквозь черные очки, что пока никакой опасности нет.

Но лейб-медик немец оказался прав. 6-го октября, за обедом, императрица вдруг закатила глаза и головой склонилась на бок: с нею сделался глубокий обморок. Так, в безмятстве, ее и перенесли на постель.

Во дворце поднялся, понятно, страшный переполох; созвали общий консилиум придворных врачей. Даже оптимист Санхец опешил; а Фишер прямо объявил, что он ни за что уже не отвечает, и что если болезнь будет идти тем же ускоренным ходом, то вскоре вся Европа облечется в траур.

Такой приговор побудил Бирона к решительным действием: на случай кончины государыни следовало без всякого промедления точно определить порядок управления государством впредь до совершеннолетия малолетнего наследника престола. Обер-гофмаршал граф Лёвенвольде лично обехал всех трех кабинет-министров и фельдмаршала графа Миниха, чтобы пригласить их к вечеру того же дня на тайный совет во дворец герцога.

Принцесса Анна Леопольдовна собиралась уже идти ко сну, и Лилли заплетала на ночь косу, когда ушедшая уже к себе Юлиана снова вошла к ним.

— Простите, ваше высочество, — сказала она, — но зять мой, молодой Миних, желал бы вас сию минуту видеть.



— Он, верно, прислан своим отцом?

— Да, фельдмаршал только-что вернулся домой от герцога...

— Так проси, проси!

— Но ваше высочество не можете же принять его в ночном туалете.

— Отчего же нет? Он — камергер моего малютки и сам женат. Пускай войдет.

Гофfreyлина пожала плечами; ничего, дескать, с нею не поделаешь! — и ввела в комнату молодого сына фельдмаршала.

— Войдите, войдите, — сказала ему Анна Леопольдовна когда он в видимой нерешительности остановился в дверях. — Вы с вестями о секретном совещании у герцога?

— Да, ваше высочество, — отвечал Миних — Отец мой приехал бы и сам, но нашел, что будет осторожнее известить вас через меня. То, что я имею сообщить, однако, предназначено только для вашего высочества...

Он покосился при этом на Юлиану и Лилли.

— Оне ничего не разболтают; можете говорить свободно, — сказала принцесса. — Кроме вашего отца, у герцога были и все три каби-

нет-министра?

— Только двое младших: Остерман не явился, отговариваясь простудой и подагрой. Прежде чем подать свой голос, эта старая лиса хочет выждать, какое течение при Дворе возьмет верх. Вместо него, герцог допустил к совещанию графа Лёвенвольде. Его мой отец застал уже там; кабинет-министров еще не было. Герцог был в слезах...

— Я тоже плачу, — заметила принцесса, утирая глаза рукавом своей ночной кофты, — но плачу потому, что теряю любимую тетюшку. Герцог же плачет с досады, что теряет власть.

— Этого он и не скрывает, хотя выразился в несколько иной форме: "с кончиной моей благодетельницы, удостоившей меня безграничного доверие (говорил он моему отцу), все мои заслуги перед Россией будут забыты, так как у меня гораздо больше врагов, чем друзей; есть враги и среди немецкой партии. Вы, граф, — настоящий немец"...

"— Простите, герцог, — перебил его мой отец: — по происхождению я хотя и немец, но служу русской монархии. Как человек воен-

ный, я верен своей присяге и не принадлежу ни к какой партии: ни к русской, ни к немецкой.

"— Но, стоя вне партий, вы тем беспристрастнее можете понять всю мою скорбь...

"— Скорбь вашу я вполне разделяю, как всякий верноподданный ее величества, — отвечал отец. — Что же собственно до персоны вашей светлости, то я прекрасно также понимаю, сколь горько должно быть вам, стоявшему столько лет у кормила правлений, передать это кормило в другие, менее опытные руки.

"— Вот именно! — вскричал герцог. — Ведь наследник еще младенец в колыбели. В прежние правление малолетних царей народ был недоволен временными правителями; как-то он будет доволен новыми? Между тем, ближайшие враги наши, шведы, не перестают вооружаться и выжидают у нас только внутренних беспорядков, чтобы атаковать нас. Вы, граф, блестящий полководец и в конце концов, нет сомнения, управитесь с ними. Но во что обойдется России такая новая война! Потребуется новые тяжелые налоги, поднимет-

ся ропот в народе; а слабой ли женской руке задушить гидру народную? Для этого нужна рука железная..."

— У меня рука, действительно, не железная, — с волнением прервала рассказчика Анна Леопольдовна. — Но тетушка еще до моего замужества выбрала меня своей наследницей...

— То же самое сказал герцогу и мой отец. Но герцог на это возразил, что таково было желание ее величества до рождение наследника мужского пола. С рождением же принца иоанна государыня выразила твердую волю, чтобы этот принц, а не кто иной, наследовал после нее престол. В это самое время прибыли князь Черкасский и Бестужев-Рюмин. Приехали они в одной карете и нарочно, как оказалось, заехали еще перед тем к Остерману. Но тот и на словах уклонился от решительного ответа.

— Ну, разумеется! И что же они у герцога порешили насчет регентства?

— Когда зашла речь о кандидатах на регентство; Черкасский, пошептавшись с Лёвенвольде, прямо заявил:

— Если уж кому быть регентом, то только, тому, кто доселе с таким искусством управлял государственным кораблем."

— По крайней мере, откровенно! — вырвалось у Анны Леопольдовны. — И Лёвенвольде тотчас поддержал это предложение?

— И Лёвенвольде, и Бестужев: в карете он с Черкасским, верно, уж сговорился.

— А фельдмаршал?

— Отец мой был поставлен в крайне-щекотливое положение. Что бы он ни возражал, — он остался бы в единственном числе, и мнение его, все равно, не прошло бы. На выздоровленье государыни надежда ведь еще не потеряна, не все медики еще отчаиваются. Надо было выиграть время. Поэтому отец предложил выслушать сперва мнение лучших русских людей. Герцог понял, что напролом итти нельзя, и заявил, что сам он ни на что не решится, доколе не узнает мнение других благонамеренных патриотов. Прежде всего государынею должен быть подписан манифест о назначении принца иоанна наследником престола.

— А манифест будет скоро изготовлен?

— Эту же ночью на дому у Остермана. Но герцог, вместе с манифестом, может подписать к подписи ее величества и декларацию о регентстве. Так вот завтра же, пока будут присягать наследнику, а после присяги сенат с генералитетом станут рассуждать о регентстве, не можете ли ваше высочество повидать государыню, чтобы убедить ее ни за что не подписывать декларацию о регентстве Бирона.

— Да ведь меня к тетушке не пускают, и тогда не пустят.

— М-да, этого отец мой не предвидел. Герцогиня Бирон, конечно, заодно с мужем и получила от него строгую инструкцию. Но кто в таком случае мог бы предостеречь ее величество?..

— Я! — неожиданно подала тут голос молчавшая до сих пор Лилли.

Анна Леопольдовна недоверчиво воззрилась к молоденькой камер-юнгфере.

— Ты, дитя мое? Да как же ты это сделаешь?

— А очень просто: детская маленького принца находится ведь рядом с спальней государыни. В детскую мне дозволено входить

во всякое время. Я понесу принца к государыне, да тут и попрошу ее от вашего имени, ради Бога, не подписывать ничего о регентстве, пока вас не выслушает.

— Смотрите, что ведь выдумала! Ты как думаешь, Юлиана?

— План недурен...

— А ваше мнение, граф?

— Если никому другому доступа к государыне нет, то придется обратиться к этому последнему средству.

— Значить, на нем и остановимся.

## **XII. Последние дни Анны иоанновны**

**Н**а следующее утро на набережной большой Невы перед Летним дворцом были выстроены четыре полка лейб-гвардии в парадной форме. К главному подезду подкатывали карета за каретой, из которых высаживались военные генералы в киверах и касках с пышным плюмажем и статские чины в обшитых золотым позументом треуголках. В числе статских оказался и больной старик, которого прямо из кареты посадили в кресло и внесли так в подезд.

"Остерман! — догадалась Лилли, стоявшая

у окна. — И его, стало быть, удалось уговорить Бирону, чтобы иметь еще лишнюю поддержку. Пора в детскую".

Супруга временщика, ни мало, конечно, не подозревая, что внезапная атака готовится со стороны детской, не заглядывала уже туда и ни шагу не отходила от ложа императрицы. Сам же герцог, вполне полагаясь на бдительность герцогини в царской опочивальне, собрал в своих собственных покоях, кроме вчерашних сотоварищей, еще некоторых из наиболее преданных ему сановников, чтобы заручиться и их одобрением сочиненного ночью проекта манифеста. В числе этих преданных были, разумеется, и трое главных деятелей процесса несчастного Волынского: князь Куракин, своим злым языком подавили первый повод к этому позорному процессу, генерал-прокурор князь Трубецкой, председательствовавший в комиссии, осудившей Волынского, и генерал Ушаков, его истязатель и исполнитель жестокого судебного приговора.

Нечего говорить, что против проекта манифеста о престолонаследии ни поднялось ни одного голоса.



Когда же Бирон затронул вопрос о регентстве впредь до достижения принцем Иоанном 17-летнего возраста, Лёвенвольде поспешил заявить с своей стороны, что вот господа кабинет-министры и фельдмаршал граф Миних еще вчера выставили первым кандидатом на регентство герцога, но его светлость не решается принять на себя столь ответственное звание. Тут и те из присутствующих, которые не участвовали во вчерашнем совещании, стали хором упрашивать Бирона не отказываться. Не высказывался один только Остерман. Угнездившись в глубоком кресле, хмурясь и значительно поводя глазами, он видимо очень внимательно следил за каждым словом других, и временами только, когда кто-нибудь на него слишком пристально взглядывал, корчил гримасу как бы от внезапной подагрической боли, кашлял в платок и утирал себе лоб.

— А вы, граф, того же мнения, как и мы все? — приступил к нему уже прямо Лёвенвольде. — Или у вас иные препозиции?

Тут у Остермана сделался страшный пароксизм кашля. Ворочая зрачками так, что

видны были одни белки, он кашлял без перерыва несколько минут, то забрасывая голову, то опуская ее на грудь, — что можно было, при желании, принять и за знак согласие. Так истолковал это движение и Бирон, который обратился к присутствующим с благодарственной речью (по обыкновению, по-немецки):

— Глубоко тронут, милостивые государи, вашим лестным доверием и постараюсь оправдать его всеми мерами. Возлагаемое вами на меня бремя весьма тяжело, но в уважение к великим благодеанием государыни императрицы, из горячей привязанности к ее высокой фамилии и по собственному моему расположению к славе и благоденствию Российской империи, я не считаю себя в праве отказаться. Но манифест о престолонаследии еще не подписан, а сенат и генералитет созваны уже в дворцовую церковь. Вы, граф Остерман, как первый министр, благоволите прочитать государыне проект манифеста и поднести к подписанию, а затем спросить соизволение ее величества, кого ей угодно будет назначить после себя регентом.

В кашле Остермана наступила небольшая пауза, и он имел на этот раз возможность ответить:

— Прочитать манифест и отдать его к подписи, извольте, я могу. Но вопрос о регентстве возбужден не мною; прошу от него меня и теперь избавить.

— Но кто же в таком случае, помилуйте, доложить об нем государыне?

— Ни я, ни мои сотоварищи по кабинету: мы все трое одинаково заинтересованы в том, чтобы регентом был не кто иной, как ваша светлость. Всего безпристрастнее в настоящем случае, мне кажется, мог бы выступить наш досточтимый фельдмаршал граф Миних.

— Совершенно справедливо! — в один голос подхватили оба других кабинет-министра. — Императрица так уважает ваше сиетельство...

Фельдмаршал стал было тоже отговариваться; но герцог и все присутствующие присоединились тут к настоянием трех кабинет-министров; Миниху ничего не оставалось, как уступить.

— Теперь, господа, к государыне, - сказал

Бирон, и все, следом за ним, двинулись к царской опочивальне.

Дежуривший у входа туда камергер доложил о них и затем пригласил всех войти. Ни один из спутников герцога не имел еще случая видеть Анну иоанновну со времени ее переезда из Петергофа, а потому всех поразила ужасающая перемена, происшедшая с нею за какие-нибудь пять-шесть недель. Целая горка пышных подушек подпирала спину и голову полулежавшей на своей постели, смертельно больной монархини. Но тучный корпус ее, не заключенный по-прежнему, как в панцырь, в стальной корсаж, своей безформенной массой глубоко вдавился в пуховую подпору. Голова точно так же бессильно склонилась на один бок.

Только когда Остерман (оставивший свое кресло за дверью и опиравшийся теперь на испанскую трость) выступил вперед с пергаментным листом в руке и начал докладывать, что, согласно выраженной ее величеством воле, зоготовлен высочайший манифест о назначении принца иоанна Антоновича наследником всероссийского престола, каковой ма-

нифест он будет иметь счастье сейчас прочитать на предмет одобрение оногo ее величеством, — Анна иoанновна повела глазами в сторону герцогини Бирон, стоявшей у ее изголовья, и чуть внятно прошептала:

— Принца...

Несколько тугая на ухо герцогиня склонилась ухом к губам государыни и переспросила, что ей угодно.

— Принца принеси!

Обделенная и мыслительною способностью Бенигна с недоумением оглянулась на своего супруга.

— ее величество требует, чтобы принц-наследник присутствовал при чтении манифеста! — резко заметил ей по-немецки герцог.

— Ja so! — поняла она наконец и поспешила в детскую.

Здесь маленький принц оказался на руках Лилли. Расхаживая взад и вперед, она его укачивала, тогда как чухонка-кормилица, проводшая с ним беспокойную ночь, прилегла на кровать.

— Вставай! вставай! — затормошила ее герцогиня.

— Государыня верно желает видеть принца? — догадалась Лилли.

— Ну да, да! А где его парадное одеело?

"Или теперь, или никогда!" решила про себя Лилли и, наскоро завернув младенца в «парадное» одеельце, проскользнула в царскую опочивальню. Тут, однако, неожиданно очутившись перед целым собранием государственных мужей в раззолоченных мундирах, она растерялась и приросла к полу. Влетевшая за нею герцогиня не замедлила отнять у нее малютку-принца. Но сделала она это опять слишком порывисто; одеельце развернулось, и от холодного дуновенья, а, может быть, и от неумелого обращенья, засыпавший уже царственный младенец разом пробудился и заявил о своем неудовольствии во все свое младенческое горло. Сановники украдкой переглядывались. Императрица не выдержала и отрывисто заметила своей не по разуму усердной статс-даме:

— Отдай его ей, отдай... Дура!

Последнее слово пробормотала она, впрочем, уже настолько невнятно, что расслышали его, должно быть, только сама герцогиня

да Лилли. Возражать, конечно, не приходилось, и принц перешел обратно на руки к Лилли. И, странное дело! едва только прижала она его к своей груди, как безутешный, точно попав в родное лоно, мигом успокоился.

Теперь Остерман имел возможность прочитать государыне и ее наследнику манифест, — что и исполнил не слишком тихо и не слишком громко, дабы, с одной стороны, ее величество могла слышать каждое слово, а с другой — не было нарушено душевное равновесие ее наследника. На столе, по распоряжению Бирона, заранее уж был приготовлен письменный прибор. Когда Остерман, закончив чтение, поднес манифест императрице, герцог вручил ей обмакнутое им в чернила лебединое перо. Умиравшей стоило, повидимому, большого усилия начертать даже свое имя. После этого все присутствующие сановники по очереди стали подходить к столу, чтобы царскую подпись «контрасигнировать» и своим рукоприкладством.

Когда тут Миних, откланявшись вместе с другими, взялся уже за ручку двери, Бирон

остановил его:

— А что же, граф, ваше обещание? Или забыли?

Поморщился фельдмаршал, но, — делать нечего, — подошел снова с поклоном к государыне и заговорил слегка дрогнувшим голосом:

— Ваше императорское величество! Все мы желали бы, чтобы главным куратором по-прежнему был его светлость герцог курляндский, и все о том всеподданнейше просим.

Ответа он, однако, не дождался: Анна Иоанновна лежала без всякого движения, как бы в летаргии, уставив мутный взор в пространство.

— Ну, что ж, идемте! — в сердцах проговорил Бирон, и оба вышли вон за другими.

Трепетавшая своего грозного супруга и повелителя, герцогиня Бенигна не спускала с него своих испуганных глаз, пока дверь за ним не затворилась. Тут только она обратила внимание, что Лилли все еще няньчится с принцем.

— Дай его сюда! — прошипела она и, отобрав у нее спящего младенца, вынесла его в



детскую.

Лилли это только и нужно было. Приблизившись к больной, она заговорила вполголоса:

— Ваше величество! Меня прислала к вам принцесса Анна Леопольдовна...

Императрица, словно очнувшись из забытья, повела на нее недоумевающим взглядом.

— Принцесса умоляет вас, — продолжала Лилли: — не подписывайте бумаги о регентстве, пока она сама не переговорит еще с вами! Ради Бога, ваше величество, ничего не подписывайте!

При последних словах Лилли невольно настолько возвысила голос, что герцогиня в полуоткрытую дверь ее услышала и тотчас же возвратилась. Схватив Лилли за руку, как провинившегося ребенка, она потащила ее вон в детскую, а здесь накинулась на нее, как фурии:

— Что ты говорила государыне? что?

— Ничего я не говорила...

— Вот я пожалуйюсь герцогу и твоей принцессе...

— Жалуйтесь; принцесса моя, во всяком

случае, поверит мне скорее, чем вам.

— Дерзкая девчонка! Чтобы и ноги твоей здесь никогда не было!

Лилли уже не возражала и вышла вон, говоря себе:

"Что можно было сделать — я сделала; а теперь — будь что будет!"

Было же вот что:

По прочтении в дворцовой церкви подписанного императрицею манифеста, все собравшиеся там высшие воинские и гражданские чины приняли присягу новому наследнику престола. Были приведены к присяге поротно и выстроенные перед дворцом гвардейские полки. В то же время сделано было распоряжение об объявлении манифеста во всех столичных церквях. Сочинение же "декларации" о регентстве было поручено Бестужеву-Рюмину.

По настоянию баронессы Юлианы, Анна Леопольдовна сделала еще раз попытку проникнуть к своей августейшей тетке, но герцогиня Бирон, как и раньше, не допустила ее до нее: лейб медики, дескать, строго-настрого запретили беспокоить умирающую.

Между тем Бестужев изготовил как "декларацию", так и челобитную от имени сената, синода и генералитета о назначении будущим регентом герцога курляндского, и ни у кого из этих "знатнейших" особ не оказалось настолько гражданского мужества, чтобы не подписаться под общей челобитной. Доложить челобитную государыне, по требованию герцога, взялся Остерман. Удостоился он аудиенции только через два дня. И что же? Анна Иоанновна, выслушав докладчика, не подписала декларации, а положила ее себе под изголовье, со словами:

— Оставь... Я еще подумаю...

Весть об этом, понятно, ни для кого из придворных не осталась тайной.

— Вот видите ли, ваше высочество! — заливовала Лилли. — Государыня меня тогда услышала. Помяните мое слово: регентшей будете вы!

— Уж право, не знаю, радоваться ли мне этому или нет! — вздохнула принцесса. — В государственных делах я ничего не смыслю...

— Вместе мы как-нибудь в них и разберемся, — заметила Юлиана. — А останься все

управление в руках Бирона, так нам с вами совсем житья бы уже не стало.

Тут вдруг явился камергер принца-наследника, граф Миних-сын.

— А я к вашему высочеству посредником от герцога курляндского.

— Что же ему еще от меня нужно? — удивилась Анна Леопольдовна.

— Вопрос о регентстве все еще висит на воздухе.

— Да я-то тут причем?

— Без регентства государство остаться не может. Так вот не соблаговолите ли вы, для ускорение дела, просить также герцога принять на себя регентство, а потом сказать об этом и ее величеству.

— Да что он с ума, видно, сошел! — вскричала Юлиана. — Чтобы принцесса сама же просила его отнять у нее власть?

— Власти я не ищу, отозвалась с своей стороны принцесса. — Но в государственные дела я не мешаюсь, а предложение герцога нахожу по меньшей мере странным. Жизнь моей тетушки хотя и в большой опасности, но, с Божьей по мощью, она может еще поправить-

ся.

— Так ему, значит, и передать?

— Так и передайте.

Бирон на этом, однакож, еще не успокоился. На следующее утро перед Анной Леопольдовной предстала целая депутация высших сановников с тем же предложением. Но ответ им был тот же. Тогда временщик решился на последнюю меру — лично уговорить государыню, и что ему это наконец удалось, доказывало то, что вслед за тем, 16-го октября, Остерман был снова вызван на аудиенцию к императрице. Оставался он у нее с полчаса времени, а когда вышел, то объявил ожидавшему его Бирону, что декларация ее величеством, слава Богу, подписана и положена камерфрау Юшковой на хранение в шкатулку с драгоценностями, стоящую около царской кровати, а также что государыне благоугодно теперь же видеть принцессу Анну с принцем-супругом и цесаревну Елисавету. Возвратилась Анна Леопольдовна оттуда в свои собственные покои вся в слезах.

— Государыня вас еще узнала? — спросила Юлиана.

— Узнала... Она была так ласкова и со мной, и с цесаревной... Герцог обещал ей, что отказу нам ни в чем не будет...

— А вы так и поверили его обещанию?

— Если он его не сдержит, то это будет на его совести.

— Да у этого изверга разве есть совесть! И вы ничего не возражали?

— Где уж тут было возражать! Доктор Фишер сейчас только сказал мне, что сегодня те-тушке немножко легче, потому что Остерман своей аудиенцией приподнял ее нервы; но что за этим наступит реакция, и завтра все будет уже кончено.

Лейб-медик оказался прав. На другой день, 17-го октября 1740 года, у умирающей отнялась левая нога, а к вечеру начались предсмертные конвульсии. Когда принцесса с супругом и цесаревна пришли к ней в последний раз проститься, государыня была еще в сознании. Блогословив их поочередно, она послала за своим духовником с певчими и за высшими придворными чинами. Первым подошел старик Миних, и она его еще узнала.

— Прощай, фельдмаршал... — был ему ее

последний привет.

Началось соборование, а когда дыхание ее окончательно прекратилось, двери опочивальни открылись настежь для всех желающих поклониться ее праху. Среди общих всхлипов и воплей обращала на себя внимание не столько принцесса, мать наследника престола, тихо плакавшая в углу, сколько герцог-регент, который в искренней, казалось, горести рыдал громче всех и метался по комнате, как полоумный. Впрочем, уже через пять минут он настолько оправился, что мог выйти в смежный зал и предложить генерал-прокурору князю Трубецкому прочесть вслух всем собравшим там сановникам декларацию о назначении его, герцога, регентом.

Недолго погодя, еще до полуночи, заунывный звон со всех городских колоколен возвестил населению столицы, что благоверная царица Анна иоанновна отошла от сей жизни в вечную, — отошла на 11-м году своего недоброй памяти царствование и всего 3 месяца и 20 дней спустя после своего даровитейшего подданного, безвременно погибшего Волын-

ского.[1]

**Конец.**



# Два регентства

## Глава первая

### РЕГЕНТ БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Скончалась императрица Анна Иоанновна в своем петербургском Летнем дворце, оттуда же должно было последовать и ее погребение. На другое утро по ее кончине, 18 октября 1740 года, младенец-император Иоанн Антонович был перевезен в Зимний дворец, вместе с ним переселились туда и его молодые родители — принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон-Ульрих. Регент, герцог Бирон, еще накануне заявил, что сам он не покинет Летнего дворца, пока тело незабвенной монархини находится еще там и не предано земле.

По этому поводу обер-гофмаршал граф Левенвольде счел нужным еще раз переговорить с регентом. Когда дежурный паж пригласил его в герцогский кабинет, Бирон сидел еще за утренним кофе в своем светло-голубом шлафроке с оранжевыми лацканами и об-

шлагами. Он вообще любил яркие цвета, а голубой и оранжевый были к тому же цвета родной его Курляндии.

"А черная одежда была бы теперь все же пристойнее", — подумал про себя гофмаршал, и ему невольно вспомнилось известное острословие: "Для чего наружные знаки печали? Была бы душа черна!".

Но он поспешил отогнать от себя нечестивую мысль и с почтительностью прикоснулся к протянутой ему руке. Пожелав регенту доброго утра, он осведомился, не переменял ли его светлость своего вчерашнего намерения пробыть здесь, в Летнем дворце, до похорон.

— Что мною раз решено, — был ответ, — то отменено быть не может.

— Я и не посмел бы понапрасну беспокоить вашу светлость, — заметил Левенвольде, — если бы не обычай русского народа поклоняться праху царствующих особ, а по наведенной справке тело усопшей особы выставляется публично в течение не менее шести недель.

— Дабы всякий желающий мог исполнить свой христианский долг? Вполне одобряю. И

мы назначим для сего не шесть, а целых десять недель! На какой день придутся тогда похороны?

Обер-гофмаршал подошел к висевшему над столом стенному календарю и стал рассчитывать.

— Ну? — спросил Бирон.

— Придутся они на двадцать шестое декабря, то есть на второй день Рождества, но тогда ведь не хоронят...

— Гм... Так, скажем: двадцать третье декабря, дабы на другой день в рождественский сочельник вся Россия могла единодушно вознести свои молитвы за упокой души обожаемой царицы.

— Слушаю-с. А до тех пор ваша светлость так и не выедете отсюда?

— Ни я, ни мое семейство. Здесь же будет собираться и особая комиссия для разработки формы придворного траура и всего церемониала погребения. Вы, Левенвольде, составьте мне нынче же к вечеру список членов комиссии, а также подробную справку о тех милостях, которые прежде даровались народу при перемене правления.

— Ваша светлость все ведь предусмотрите! — почел долгом умилиться обер-гофмаршал. — Народ будет благословлять вашу доброту...

— Эх, милый мой! К чему эти фразы? Мы оба прекрасно знаем, что русский народ нас, немцев, терпеть не может.

— Простите, герцог, не всех немцев. Фельдмаршала Миниха, например, вся армия очень любит...

Бирон досадливо поморщился.

— Ну, так нас, курляндцев! — поправился он. — Народ цепной ведь пес, который рычит на всякого пришельца. Вот мы и бросим ему кость.

— Смеею заметить, что против вашей светлости настроен не один только простой народ, но и многие из высших слоев общества до сенаторов и самой принцессы Анны включительно.

— Мы никого не обойдем, а принцессу да и цесаревну облагодетельствуем теперь же.

Герцог позвонил в колокольчик. На пороге вырос саженный камердинер-курляндец.

— Что угодно вашей светлости?

— Одеваться!

Первый выезд Бирона был в Зимний дворец к молодой матери государя. С отменной, невиданной еще любезностью он возвестил ей, что определил ей годового содержания 200 тысяч рублей, а когда принцесса попросила еще назначить к ее особе гофмейстера, он выбрал для должности камергера при ее сыночке молодого графа Миниха, к которому очень благоволила как сама принцесса, так и ее гофрейлина и первая фаворитка Юлиана Менгден, свояченица Миниха.

После этого герцог поехал к главе русской партии цесаревне Елизавете Петровне, чтобы обрадовать и ее назначением ей дополнительного годового оклада в 50 тысяч рублей. Но цесаревна его не приняла, и ему ничего не оставалось, как затаить до времени свою злобу и ехать дальше. Он велел кучеру везти себя в сенат.

Господам сенаторам он объявил, что желает поднять значение правительствующего сената и впредь часто будет посещать их заседания. Польщенные сенаторы, в свою очередь, определили ему тут же 500 тысяч на соб-

ственные расходы и вместо титула «светлости» предложили ему именоваться "императорским высочеством". Бирон, однако, показал столько такта, что удовольствовался титулом «высочества», причем выговорил тот же титул и родителю государя, принцу Антону-Ульриху. Но вместе с тем он дал знать в сенатскую типографию, что высочайший указ о его собственном титуле должен быть напечатан во всеобщее сведение на другой же день, 19 октября, указ о титуле принца и денежных пожалованиях принцессе и цесаревне — только несколько дней спустя.

Каждый день затем приносил доказательства благодушия регента: многие ссыльные получили разрешение вернуться в Петербург с возвращением им и чинов, кому был сокращен срок заключения, кто и вовсе избавлен от наказания. Особым манифестом было предписано строго соблюдать законы, чинить суд правый и беспристрастный, во всем повсюду равный, без богоненавистного лицемерия и проклятых корыстей. Часовых, мерзнувших до сих пор в зимнюю пору в своих подбитых ветром епанчах, было велено снаб-

дить шубами, а для уменьшения придворной роскоши, виновником которой выставляли до тех пор самого Бирона, последовало воспрещение носить кому бы то ни было платье дороже четырех рублей аршин.

Не забыл герцог, наконец, и своего преданного слуги, секретаря Де-сиянс академии, Василия Кирилловича Тредиаковского. Указом сената от 1 ноября 1740 года было постановлено: "Ему, Тредиаковскому, за бесчестье и увечье его Артемием Волынским награждение выдать из взятых за проданные его, Волынского, пожитки и имеющих в рентерее денег 360 рублей".

Все недовольные были, казалось, улажены, наступила тишь и гладь и Божья благодать.

Доверчивее многих других была простодушная и до слабости мягкосердная Анна Леопольдовна. Особенно тронула ее оговорка в подписанном покойной императрицей манифесте о престолонаследии, что "ежели Божиим соизволением оный любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе на-

следников, преставится, то в таком случае определяем и назначаем в наследники первого по нему принца, брата его, от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны, от светлейшего принца Антона-Ульриха, герцога брауншвейг-люнебургского рожденного, а в случае и его преставления, других законных из того же супружества рожденных принцев всегда первого".

— Без согласия Бирона этого не было бы сказано, — говорила она. — Стало быть, он и не думает вовсе устранить меня и моих детей... Я могу быть спокойна.

И она успокоилась. Первые дни, правда, горесть ее по любимой тетушке была как бы безутешна, и на совершаемых ежедневно в придворной церкви панихидах из глаз ее текли обильные слезы. Но источник слез у нее, как это бывает у неглубоких натур, довольно скоро иссяк. Да к тому же надо было позаботиться ведь о трауре! Заседавшая в Летнем дворце, где оставалось еще тело почившей императрицы, печальная комиссия назначила траур на целый год с распределением на



четыре квартала. Чтобы комиссия как-нибудь не напутала насчет нарядов, принцесса нарочно откомандировала туда своего нового гофмейстера Миниха-сына с подробной инструкцией. Сообразно последней, было выработано описание траурного одеяния как самой принцессы, так и цесаревны Елизаветы Петровны.

Интересовал Анну Леопольдовну, понятно, и печальный наряд покойной государыни: серебряной парчи шлафор и такая же роба, украшенная серебряным шнуром и широкими большими лентами, белые лайковые башмаки с белыми и желтыми лентами и пунцового бархата одеяло с золотым позументом. Пышному наряду отвечала и вся обстановка царицыной опочивальни и прилегавшего к ней малого зала: стены были обиты малиновой материей, а пол зеленым сукном, тогда как в остальных помещениях стены, потолки, полы, печи, а также зеркала и мебель были затянуты черным сукном.

— Тетушка не выносила черного цвета, — говорила принцесса. — Так пускай же и теперь вокруг нее не будет ничего мрачного.

Своим собственным глубоким трауром, впрочем, принцесса была довольна.

— Граф Линар тоже ведь находил, что черный цвет мне очень к лицу, — заметила она своим двум фавориткам фрейлине Юлиане Менгден и камер-юнгфере Лили Врангель, когда на третий или четвертый день при их помощи облекалась опять в траур.

— А ваше высочество все еще не забыли своего рыцаря? — сказала Юлиана. — Пора бы, кажется.

— И никогда не забуду! Это единственный светлый луч в моей тусклой жизни.

— Но у вас есть теперь и муж, и сын...

— Что ж из того? Мои отношения к Линару так же чисты, как в средние века были отношения между рыцарями и дамами их сердца. У меня одно только желание, чтобы его назначили опять посланником к нам в Петербург!

В это время послышался легкий стук в дверь и голос пажа:

— Письмо из-за границы!

Анна Леопольдовна схватилась за сердце.

— Это от него! Я это чувствовала... Войди!

Вошедший паж с низким поклоном подал ей запечатанный конверт. Принцесса дрожащими пальцами вскрыла и развернула письмо. На оживленном лице ее выразилось полное разочарование.

— Из Мекленбурга от отца!

— Отец ваш, верно, прослышал тоже про смертельную болезнь государыни, — заметила Юлиана. — Уж не хочет ли он приехать в Петербург?

— Он ожидает только официального приглашения.

— Бога ради, принцесса, не зовите его сюда! При своем неуживчивом характере он на верное повздорит с Бироном, и тогда все пойдет вверх дном.

— Ты думаешь?.. Чего ты тут ждешь? — обратилась Анна Леопольдовна к стоявшему еще на месте пажу.

— У меня еще письмо к баронессе Врангель, — отвечал паж, поглядывая в нерешительности поочередно то на молоденькую камер-юнгферу, то на молодую фрейлину.

— Дайте-ка сюда, — сказала фрейлина, отнимая у него письмо.

— Да ведь оно не к тебе, Юлиана, а к Лили? — вступилась принцесса.

— Но я отвечаю за нее перед вашим высочеством.

— Все равно. Чужих писем, милая, не читают. Отдай ей его сейчас, она нам уже скажет, от кого оно.

— Право, не знаю, кто мог бы мне писать? — недоумевая, отозвалась Лили и, распечатав письмо, стала его читать.

Вдруг хорошенькое лицо ее до ушей залило горячим румянцем.

— Вот видите, принцесса! — воскликнула Юлиана. — От кого письмо, Лили? — говори.

— От моей лифляндской кузины Мизи Врангель.

— Неправда! Зачем же ты так покраснела?

— Божусь вам, что от нее.

— А не от Самсонова?

— От какого Самсонова? — спросила Анна Леопольдовна.

— Да от молочного брата ее покойной сестры Дези. Покажи-ка.

— Подпись, извольте, я вам покажу, — сказала Лили и, накрыв ладонью самый текст

письма, оставила на виду одну лишь подпись.

— "Deine dich liebende Cousine Misi Wrangel", [2] - прочитала Юлиана. — Гм... верно. Но что она тебе пишет?

— Оставь ее, Юлиана! — вмешалась опять принцесса. — Ты все забываешь, что она уже не ребенок, что ей шестнадцать лет.

— На Рождестве, ваше высочество, будет семнадцать, — поправила Лили.

— Тем более. У всякой ведь из нас есть в сердце свой потайной уголок, куда без спросу никто не допускается. А кухня твоя, верно, твоих же лет, Лили?

— Одним годом меня старше.

— Всего-то? Ну, так что же может быть в ее письме, кроме милых глупостей? Но ты еще не дочитала?

— Не успела, ваше высочество...

— Так ступай же к себе и дочитай, да никому, чур, не показывай! — со снисходительной улыбкой добавила принцесса.

## Глава вторая

# ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Удалившись в свою комнату, Лили первым делом замкнула дверь на ключ, потом расположилась удобнее на угловом диванчике, поджав под себя ноги, и тогда уже принялась опять за письмо кухни с самого начала. Письмо было написано, разумеется, по-немецки, в переводе же на русский язык содержание его было такое:

*"Милая Лили!*

*Ясно вижу отсюда, как твои большие незабудковые глаза от удивления еще вдвое расширились; что нужно ей вдруг, этой несносной Мизи, у которой в ответ на все письма за целую вечность не нашлось ни строчки?*

*Не стану уверять, что у меня были какие-нибудь важные занятия, что во мне неожиданно проснулась совесть, заговорили родственные чувства и тому подобный вздор. Приступаю прямо к делу.*

*Ты, вероятно, еще помнишь, что с нашим имением граничит имение Мини-*

хов — Ранцен. Когда года два назад сын фельдмаршала женился на баронессе Анне-Доротее Менгден (сестра ее Юлиана ведь гоффриейлиной у твоей принцессы Анны?), старик-фельдмаршал, по брачному контракту, закрепил Ранцен за своим сыном. Этим-то имением издавна заведует дальний родственник нашего управляющего Люти. Годами Лютиц не так еще стар, но давно уже страдает ревматизмом ног, а прошлую зиму по неделям не вставал с постели. Сельское хозяйство он и до сих пор ведет образцово, но, хворая, не имеет уже возможности лично наблюдать за работами. Так вот, на подмогу ему был прислан из Петербурга волонтер.

Все это, скажешь ты, в порядке вещей, но что за дело твоей кухне, родовой баронессе, до какого-то волонтера, безродного Кунца или Гинца?

Верно, но то-то и есть: точно ли это безродный Кунци или Гинци?

Ты знаешь, как у нас в провинции всякое новое лицо, чем-либо выдающееся из общей серой массы, делается предметом бесконечных сплетен и пересу-

дов. Этот волонтер, называющий себя Григорием Тамбовским, заставил также говорить о себе не потому, чтобы он допустил себе какие-нибудь выходки дурного тона, о, нет! Ведет он себя совсем благоприлично. Но его окружает какой-то непроницаемый туман. О его прошлом никому, даже прямому его начальнику, Лютицу, ничего не известно. По крайней мере, сам Лютиц, говорил так нашему управляющему, который ему не только родня, но и добрый приятель. Домашним своим и работникам Лютиц внушил строго-настрого отнюдь не беспокоить г-на Тамбовского какими бы то ни было расспросами. Очевидно, на этот счет Лютицу дана строгая инструкция из Петербурга. Так с полгода уж по нашему мирному краю разгуливает ко всеобщему соблазну какой-то загадочный сфинкс.

Своим образом жизни, впрочем, он ничем не отличается от всякого усердного рабочего: с солнечного восхода он уже в поле, весной сам ходил также за сохой, летом брался за косу, за серп, за цепи, не на целый день, а так, на час,



на другой, не то для моциона, не то для надзора за рабочими. Вернется домой — и тотчас на конский завод, на конюшню, на скотный двор. А кончат свое дело другие, он сам не думает еще об отдыхе, засиживается до полночи за конторской работой и книгами. Временами ездит и в уездный город заключить продажу или контракт. Лютиц им просто не нахвалится: молодому человеку двадцать лет, не больше, а на диво, дескать, толковый, рассудительный, принимает к сведению всякое наставление, если же раз возразит, то так метко, что поневоле согласишься, неизменно вежлив и приветлив, но без раболепного искательства. С крепостными и с батраками он, пожалуй, чересчур даже кроток: обращается как равный с равными, никого еще, кажется, не побил, почти никогда не возвышает голоса и только лентяям не дает потачки. Говорит он с людьми, представь себе, уже по-эстонски: изумительная способность к языкам! Но по происхождению он, несомненно, русский: по-немецки хотя и объясняется довольно свободно, но

акцент и обороты речи у него явно русские.

Все это, конечно, не давало бы ему еще права на внимание у наших дворян: попадаютса ведь и среди плебеев порядочные люди. Интригует всех главным образом перстень на указательном пальце его правой руки. Откуда у простого волонтера мог взяться такой драгоценный перстень: с огромным рубином и с бриллиантовыми вокруг розетками? Мы нарочно поручили нашему управляющему выпытать у него историю этого перстня. И что же ты думаешь? Когда тот неожиданно поставил ему вопрос, не подарок ли это высокопоставленного лица, он видимо замялся:

— Да, подарок...

— Но с таким чудным рубином, точно кровь! А кстати, о крови высокопоставленных лиц, — прибавил управляющий. — Слышали вы, что вашему первому кабинет-министру Волынскому, по повелению царицы, отрубили голову?

Молодой человек как смерть побледнел, сорвал с пальца перстень и хотел

уже, казалось, бросить его, но вдруг все-таки одумался и положил в карман. С тех пор никто уже не видел на руке у него перстня.

Какое же отношение имеет тот перстень к казенному кабинет-министру? И кто он сам, этот таинственный незнакомец? Не опальный ли аристократ?

После всего этого ты поймешь, конечно, что и мне хотелось взглянуть раз на него. Я попросила отца пригласить его к нам, как знатока лошадей. Отец написал ему записку. Он не заставил себя ждать и приехал к нам на другой же день. Когда отец прошел с ним на конюшню, я вошла туда же. Отец представил нас друг другу. Он чинно мне поклонился, но когда поднял голову и взглянул на меня, то вдруг покраснел и сейчас же заговорил с отцом о лошадях. Говорил он дельно и умно, как старый коневод, но избегал глядеть на меня, а в то же время украдкой все-таки посматривал в мою сторону, точно сравнивая меня с кем-то. Тут мне вспомнилось, что между нами с тобой есть большое фамильное

сходство.

— Скажите, господин Тамбовский, — спросила я его. — Вы ведь прямо из Петербурга?

Отрицать этого он не мог и отвечал:

— Да, из Петербурга.

— И бывали при дворе?

Он опять как будто смешался.

— При дворе?.. — повторил он. — Я не из придворного круга.

— Однако же все-таки встречали, быть может, мою кузину Лили Врангель?

Все лицо его как огнем охватило.

— Н-нет... то есть я имел как-то случай видеть вашу кузину, но с нею не знаком... Простите, господин барон, — обратился он к моему отцу. — Я отлучился из Ранцена на самое короткое время, там меня ждут...

Отец его не удерживал.

Ты, Лили, пожалуйста, не думай, что я им серьезно заинтересовалась, ай, нет! Собой он хоть и недурен, но русского типа, и поэтому уже не может идти в сравнение с нашими баронами. Интересует меня только вопрос: зачем он скрывает свое знакомство с тобой? И

я решила искать новой встречи с ним, чтобы проникнуть в эту тайну, понимаешь, только для этого, ни для чего иного!

От нас до границ Ранцена, как ты знаешь, всего три версты. После твоего отъезда я редко уже ездила верхом: одной ездить скучно. Теперь же я велела седлать себе Стеллу каждый день и проезжала большой дорогой по владениям Миниха, а иногда и мимо самого замка. Так я почти всякий раз видела Тамбовского (обыкновенно также верхом) то там, то сям, в поле или около надворных построек среди рабочих. Но он меня как будто нарочно не замечал.

Однажды (то было уже в августе) у моей Стеллы ослабла подпруга. Я крикнула ранценским мужикам, чтобы кто-нибудь помог мне подтянуть ремень. На этот раз Тамбовский не мог уже сделать вид, что меня не слышал. Он пустил свою лошадь в карьер, перелетел через ров, через плетень и был уже у меня. Такого ловкого всадника я, признаюсь, никогда еще не видела. Пока он подтягивал подпругу, я

ему заметила, что у меня никогда не хватило бы духу перескакивать через рвы и плетни.

— Всякое начало, баронесса, трудно, — сказал он. — Для меня, например, было вначале также непривычно пахать землю, косить траву...

— Но для чего вы это вообще делаете? — спросила я и взглянула при этом на его руки: они у него загорели от солнца, но были чисты, ногти опрятны, как у дворянина, а на указательном пальце правой руки белела светлая полоска от снятого перстня.

— Да ведь должен же я уметь делать все то, что делают рабочие, — отвечал он. — Теперь я сам могу всякого обучить его делу.

— Так вы думаете, что и я тоже научилась бы брать препятствия?

— Без сомнения.

— Но мы со Стеллой моей обе такие трусихи... Вот если бы вы показали нам, как это делать...

Он не мог уже, конечно, отказаться. — С удовольствием, — сказал он. — Вы, баронесса, только не отставайте от меня.

И вот мы поскакали рядом. Представь себе, Стелла, в самом деле, перенесла меня через ров! Взять плетень я, однако, еще не решилась.

— Ну, как-нибудь в другой раз, — сказал он.

И так-то, чтобы научиться этому, я на другой день съехала с ним снова, а потом еще... Не стану распространяться. Встречаясь, мы, разумеется, не молчали, говорили о том, о другом, а всего больше о Петербурге. Весь придворный круг, оказывается, он знает как свои пять пальцев, но ни о себе самом, ни о тебе ни слова. Когда же я сама упоминала о тебе, он тотчас переводил речь на что-нибудь другое.

С сентября полевые работы кончились, а с ними сами собой прекратились и наши верховые прогулки. Скоро уже месяц, что я его не видела, и не то что скучаю по нем, а так будто чего-то мне недостает. Знай я наверное, что в жилах его течет синяя кровь, можно было бы пригласить его бывать у нас в доме; если же он из простых, то я о нем, понятно, больше и думать не стану.

Так вот, милая Лили, моя просьба: напиши мне все, что тебе известно про этого Григория Тамбовского (или как бы он там ни назывался), а также что у тебя вышло с ним? Описывать его тебе едва ли нужно, но, чтобы не было никаких уже недоразумений, дам тебе его портрет: ростом он выше среднего, строен и гибок, волосы у него темно-русые и курчавые, глаза серые, но смотрят необыкновенно ясно и приветливо, а уж улыбка!.. Чтобы слишком тебя не раздражить, лучше не дописываю. Прибавлю только, что у него привычка пощипывать, покручивать свои усики, которые, признаться, ему очень к лицу.

Итак, я жду твоего ответа с первой же почтой. Если ты мне не сейчас ответишь, то я тебе этого никогда не прощу, слышишь — никогда!

Твоя тебя любящая кузина  
Лизи Врангель".

Читая это письмо, Лили несколько раз менялась в лице, кусала до крови губы. Дочитав до конца, она в сердцах смяла письмо в комок и бросила на пол. Но, немного погодя, подня-



ла его опять с полу, тщательно разгладила и стала перечитывать. Результатом был следующий ответ:

*"Милая Мизи!*

*Кто твой таинственный незнакомец, я хоть и догадываюсь, но открыть тебе не смею, так как сам он того, по-видимому, не желает. Могу сказать тебе разве одно, что в жилах его нет ни капельки синей крови и что удален он отсюда сроком на один год. Но так как новый наш регент, в числе разных милостей, сократил также многим ссыльным срок наказания, то к возвращению твоего незнакомца теперь же в Петербург едва ли есть препятствия. Если ты хочешь сделать ему приятность, то, может быть, дашь ему знать об этом.*

*Твоя тебя любящая кузина  
Лили Врангель".*

## Глава третья

# РЕГЕНТ БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ

Недолго продолжалось благодушное настроение Бирона. Во всех гвардейских полках у него были свои «уши», руководимые главным шпионом, майором Альбрехтом, они аккуратно доносили о каждом подслушанном ими неосторожном слове гвардейцев. Всего решительнее высказывался поручик Преображенского полка Ханыков:

— Для чего министры управление империей поручили герцогу курляндскому помимо родителей императора? Лучше бы до возраста государева управлять его отцу или матери. Регентово намерение, сказывают его служители, ко всем милость показать, а к нам в Преображенский полк все рослых людей из курляндцев набирают, чтобы полку-де оттого красота была, и немцами нас, русских всех, того гляди, из полка вытеснят. Учинить бы тревогу барабанным боем: вся гренадерская рота пошла бы за мною, пристали бы к нам и другие солдаты, и убрали бы мы регента и его

сообщников.

Ханыкову поддакивали некоторые товарищи, а на шестой день регентства Бирона, 23 октября, все они были уже арестованы и подвергнуты допросу, сперва обыкновенному, а потом и пристрастному.

На следующий день в "Сенатских ведомостях" был опубликован от имени младенца-императора указ о ежегодных выдачах его родителям и цесаревне Елизавете. Но цесаревна не приняла подачки регента в 50 тысяч и велела сказать ему, что довольна уже тем, что ей раньше назначено по милости покойной царицы, грабить малолетнего царя она не желает.

Легко себе представить, как такой резкий ответ должен был взбесить высокомерного Бирона.

А тут к нему поступили еще доносы на принца Антона-Ульриха, который, по словам секретаря конторы принцессы Анны, Семенова, сомневается будто бы в подлинности указа усопшей императрицы о регентстве, посылает своего адъютанта Граматина с тайными поручениями к посланнику брауншвейгско-

му Кейзерлингу и намерен сам захватить власть. Семенов, Граматин и некоторые близкие им лица были тотчас также взяты и отсланы для допроса в тайную канцелярию розыскных дел. Сам же Бирон отправился к принцу и со свойственной ему грубостью наговорил ему разных дерзостей. Когда же вспыхивший Антон-Ульрих схватился невольно за рукоятку шпаги, герцог брякнул своей собственной шпагой и крикнул:

— Вам угодно, принц, чтобы я разделался с вами этим путем? Извольте!

Принц оторопел.

— Да я вовсе и не думал...

— То-то, что вы ни о чем, кажется, не думаете! Вы, может быть, рассчитываете на свой Семеновский полк? Напрасно. Если русские не очень-то любят меня, курляндца, то вас, иноземца, они знать не хотят. А принцесса сама называет всех русских канальями. Так чего же вы оба хотите, чего добиваетесь? Чтобы я вызвал из Голштинии молодого принца Петра?[3] Он родной внук царя Петра I, и русский народ примет его с восторгом.

— Ниче-че-го я не хочу-чу-чу... — оконча-

тельно опешил бедный заика-принц.

Не успел он еще прийти в себя, как его пригласили в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета. Оказалось, что он предстал в качестве обвиняемого перед верховным судилищем. Бирон изложил собранию все показания, выпитанные у арестованных в тайной канцелярии, а в заключение поставил Антону-Ульриху прямой вопрос:

— Ваше высочество не станете теперь, я надеюсь, отпираться, что у вас была тайная цель — изменить постановление о регентстве?

Растерявшийся принц, глотая слезы, залепетал что-то невнятное.

— Да или нет? — переспросил его регент.

— Да...

— Вы хотели произвести бунт и завладеть регентством?

Антон-Ульрих в ответ только всхлипнул.

— Извольте видеть, милостивые государи? — обратился Бирон к собранию, театрально разводя руками.

Тут поднялся с места генерал Ушаков, на-

чальник тайной канцелярии, или, как его называли в народе, "заплечный мастер", и заговорил менторским тоном:

— Если вы, принц, будете вести себя так, как приличествует отцу царствующего императора, то вас и будут почитать таковым, в противном же случае с вами будут обращаться как с другими нарушителями законов. По свойственному молодости тщеславию и неопытности, вы дали обмануть себя, но буде вам удалось бы исполнить ваши преступные ковы и произвести алярм,[4] я вынужден был бы с крайним прискорбием обойтись с вами столь же строго, как с последним подданным его величества.

За "заплечным мастером" выступил снова герцог.

— Вот подлинная декларация незабвенной нашей царицы Анны Иоанновны о регентстве, — указал он на лежавший на столе перед ним пергаментный лист и повторил содержание декларации, дополняя ее своими комментариями. — Так как я имею право отказаться от регентства, то пусть настоящее собрание сочтет ваше высочество к оному более

меня способным, я в сей же момент передам вам правление.

— Помилуйте, герцог! Продолжайте, пожалуйста, править для блага России! — раздались кругом голоса.

— Просим, просим! — подхватили остальные.

Благосклонным наклоном головы поблагодарив собрание за высокое доверие, Бирон взял со стола пергаментный лист и показал его первому кабинет-министру, графу Остерману:

— Позвольте спросить ваше сиятельство: та ли самая эта декларация о регентстве, которую вы подносили к подписи покойной государыне?

— Та самая, — подтвердил Остерман.

— И никто за сим из вас, милостивые государи, в подлинности оной уже не сомневается?

— Никто, никто! — отвечал дружный хор голосов.

— Если так, то я покорнейше просил бы все почтенное собрание скрепить сей документ своими подписями и печатями.

Все присутствующие члены верховного судилища, по старшинству, приложили к документу и руку, и печати. Тогда Бирон подал перо и Антону-Ульриху:

— Не угодно ли и вашему высочеству поставить здесь ваше имя?

Всякое возражение было бы принято за новый протест, и принц, не прекословя, расчеркнулся. Но, возвратясь во дворец, он тотчас же прошел к своей супруге и излил перед ней и ее двумя фаворитками всю накипевшую у него на сердце горечь.

— И вы, принц, поверили тоже и подписались! — воскликнула Юлиана.

— Он подпишет свой собственный приговор, лишь бы не перечить Бирону! — не утерпела со своей стороны заметить и Анна Леопольдовна.

Предсказание ее, если и не буквально, то в переносном смысле, оправдалось. Несколько дней спустя Антону-Ульриху было предложено подписать такого содержания просьбу к его собственному сыну:

"Всепресветлейший, державнейший великий государь-император и самодержец все-



российский, государь всемилостивейший!

По всемилостивейшему ее императорского величества блаженным и вечнодостоянным памяти определению пожалован я от ее императорского величества в чины — подполковника при лейб-гвардии Семеновского полка, генерал-лейтенанта от армии и одного кирасирского полка полковника.

А понеже я ныне, по вступлении Вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при Вашем императорском величестве всегда неотлучным быть, того ради Ваше императорское величество всенижайше прошу, на оное всемилостивейше соизволяя, от всех тех донныне имевшихся чинов меня уволить и Вашего императорского величества указы о том, куда надлежит, послать, также и всемилостивейше определение учинить, чтобы порозжие через то места и команды паки достойными особами дополнены были.

Вашего императорского величества нижайший раб Антон-Ульрих".

В удовлетворение такой просьбы, 1 ноября

последовал высочайший указ, подписанный, от имени императора, "Иоганном регентом и герцогом".

Между тем стали ходить упорные слухи о том, будто бы старшего сына своего, Петра, регент намерен женить на цесаревне Елизавете, а свою дочь выдать замуж за герцога голштинского Петра, чтобы таким образом обезопасить себя от двух этих претендентов на русский престол. Толковали еще, будто бы ко дню рождения герцога, 13 ноября, из Москвы прибудет командовавший там войсками брат его, и как брат, так и зять герцога, генерал Бисмарк, будут произведены в фельдмаршалы. Фельдмаршал же Миних, первый министр Остерман и несколько других, не в меру влиятельных лиц, будут арестованы. Говорили, наконец, что принца и принцессу Бирон замышляет вовсе услатить из России, чтобы они не могли уже вмешиваться в его регентство от имени их сына.

## Глава четвертая

# ПРЕЛЮДИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВАНТЮРЕ

Так наступило 7 ноября. Молоденькая камер-юнгфера и любимица принцессы, баронесса Лили Врангель, понятно, разделяла тревоги своей августейшей покровительницы. Но беспокоило ее столько же, если еще не более, свое личное дело: будет ли иметь какое-либо последствие ее ответ кузине Мизи Врангель относительно Гриши Самсонова, который какими-то судьбами очутился в Лифляндии и зачем-то переименовался в Григория Тамбовского. Правда, что сама она ведь, в сердцах за его безумную дерзость, запретила ему показываться ей на глаза в течение целого года. Вот он и убрался вон, даже не простившись... Вернется ли он теперь или не вернется?

Так волновалась она, когда внезапно ее вызвали в приемную, где ее желал бы видеть мужик из деревни.

— Мужик? — переспросила она, недоуме-

вая. — Из какой деревни?

— А из Лифляндии от ваших родных.

Лили чувствовала, как она побледнела и как сердце в груди у нее екнуло.

"Верно, от Гриши! Или, пожалуй, с новым письмом от Мизи".

С трудом подавляя свое волнение, она отправилась в приемную. Там не оказалось никого, кроме приезжего.

То был действительно мужик в нагольном тулупе с густой русой бородой, и поздоровался он с нею по-эстонски:

— Terre, terre, prälen! (Здорово, барышня!)

Голос как будто знакомый, да и вся фигура и оклад лица, но эта бородаща... Она спросила на том же языке, от кого он прислан. Вместо ответа мужик рассмеялся, обнажив при этом ряд своих белых и ровных, словно выточенных из слоновой кости, зубов. Тут у нее не осталось уже никакого сомнения, что это он же, друг ее детства.

— Так это все-таки ты сам, Гриша! — проворкотала она, вся радостно зардевшись. — Но как ты оброс!

Опасливо оглядевшись по сторонам, он

снял свою приставную бороду. Только над верхней губой у него чернели его собственные усики, придававшие его загорелому юношескому лицу некоторую возмужалость.

— Этак, Лизавета Романовна, я, может, больше на себя похож?

— Теперь-то ты опять самим собой стал.

— А вы совсем уже другие: настоящей придворной фрейлиной стали. Да как похорошели!

Лили насупилась.

— Не говори глупостей! Расскажи-ка лучше, как ты от Вольнского попал к молодому Миниху в Лифляндию?

При имени покойного первого кабинет-министра, незаслуженно погибшего такой позорной смертью, ясные черты юноши омрачились.

— Я сейчас только с могилы Артемия Петровича, — проговорил он со вздохом. — Упокой Господь его душу!.. Когда его арестовали, он дал мне на прощанье записку к фельдмаршалу графу Миниху. Чтобы меня здесь не хватились, молодой граф услал меня тотчас в свою вотчину Ранцен...

— Так тебя могут и теперь взять к допросу в тайную канцелярию, как других людей Волынского!

— Могут каждую минуту, очень просто. Вот потому-то я и купил себе дорогою в Нарве у брадобрея эту фальшивую бороду.

— Так надень же ее поскорей, надень! Неравно тебя кто-нибудь здесь еще узнает... А молодой граф не очень осерчал, когда ты вернулся в Петербург без спросу?

— Не то чтобы осерчал, а испугался: из-за меня ведь и ему может не поздоровиться от Бирона.

— Но что ты сказал ему, чтобы оправдаться?

— Да ведь осенние работы в Ранцене все справлены. Лютц, старик-управляющий, до весны легко может обойтись без меня. Вот я и испросил себе у старика отпуск, чтобы лично, мол, доложить графу обо всем, что сделано там за лето и что следовало бы сделать будущим летом.

Говоря так, Самсонов привязал себе опять фальшивую бороду. При этом Лили имела случай проверить то, о чем ей писала кузи-

на ее Мизи: что руки и ногти у него вполне опрятны и что на указательном пальце у него нет уже драгоценного рубинового перстня с бриллиантами, который был пожалован ему царицей Анной Иоанновной во время свадьбы карликов.

— А куда ты, Гриша, дел свой перстень? — не утерпела спросить Лили.

— Носить его я все равно не стал бы после того, как он, можно сказать, обагрился неповинной кровью Волынского, — отвечал Самсонов.

— Но что же ты сделал с ним? Подарил кому-нибудь?

— Нет, продал сегодня бриллиантщику Позье.

— Продал! Но ведь деньги за него тоже кровавые?

— Я их и не оставил себе, а отдал все до копейки священнику церкви Самсония на вечное поминовение души раба божия Артемия...

И бывший слуга казенного первого кабинет-министра отвернулся, чтобы украдкой отереть с ресниц непрошеную слезу.

— Ты очень, знать, любил Вольтинского? — сочувственно заметила Лили.

— И не говорите! Что-то без него станется с нашей бедной Россией!

— Да и с нами со всеми!

— Ну, вам-то, Лизавета Романовна, и горя мало: вы состоите при самой принцессе.

— Да ведь Бирон злобится на принцессу, а того более на принца, и грозил уже услать обоих домой в Брауншвейг. На будущей неделе — день его рождения, и ожидают, что он выпустит еще какой-нибудь манифест, чтобы самому совсем укрепиться. Того гляди, что всех нас тоже арестуют...

— Так чего же вы еще медлите? Ведь вся гвардия его ненавидит. Арестуйте его самого и спровадьте куда-нибудь на край света.

— Так вот его и арестуешь! Двумя гвардейскими полками командуют его близкие родные: Конным полком — его старший сын Петр, а Измайловским — родной брат Густав Бирон.

— Поговорить бы принцессе насчет этого с фельдмаршалом Минихом...

— А тот ее, ты думаешь, не выдаст?



— Помилуйте! А уж войска за него в огонь и в воду. Кто вел их в туретчину? Миних. Кто день и ночь пекся о том, чтобы им жилось тепло и сытно? Миних. Родом он хоть и из немцев, но душа у него, как вот у вас, русская.

Слова товарища детства произвели на молодую девушку глубокое впечатление.

— Да кто надоумит принцессу?.. — проговорила она в раздумье. — Она слушает только фрейлину Юлиану.

— Так потолкуйте с фрейлиной.

— Нет, та меня и слушать не станет.

— В таком случае ничего не остается, жак попытаться вам самим. Не откладывайте только в долгий ящик. А теперь, Лизавета Романова, будьте здоровы.

— Да, да, Гриша, уходи, да, смотри, не попадись бироновцам.

До вечера Лили не имела случая говорить без свидетелей с принцессой, так как, по желанию самой Анны Леопольдовны, она почти весь день проводила в царской детской. Дело в том, что еще с лета в Петергофе Иоанн Антонович до такой степени привык к Лили, что на руках у нее успокаивался даже скорее, чем

у собственной кормилицы-чухонки. Но в данное время у него прорезывались первые зубки, и Лили не удалось еще уложить его в постельку, когда в детскую вошла принцесса, чтобы перед сном поцеловать сыночка.

— Он все еще не может заснуть? — спросила она. — Что с ним?

— Верно, предчувствует, бедняжка, что его скоро разлучат с родителями! — со вздохом отвечала Лили.

— Что ты болтаешь такое! От кого ты слышала?

— Это в воздухе носится. В четверг все, вероятно, решится.

— В четверг?

— Да ведь в четверг, ваше высочество, тринадцатого ноября — день рождения герцога, и в этот день, говорят, сыновья его будут провозглашены ближайшими наследниками на русский престол, а вас с принцем попросят уехать в Германию.

Анна Леопольдовна, слышавшая уже нечто подобное от Юлианы, не на шутку всполошилась.

— Нет, этому я не верю, не верю! — пробормо-

мотала она. — Герцог все-таки не посмеет...

— Простите, принцесса, — еще настоятельнее заговорила Лили, — но чего этот человек не посмеет? Он до того уже зазнался, что самых знатных, самых почтенных лиц принимает у себя в шлафроке, вместо всей руки подает кому три, кому два пальца. Если же кто по ошибке назовет его по-прежнему светлостью, а не высочеством, то он приходит в ярость. Помяните мое слово: его будут величать уже не высочеством, а величеством.

— Но это ужасно! Это Бог знает что такое! — воскликнула Анна Леопольдовна. — И никого, ни одной души, кто защитил бы меня от чудовища!

Она заплакала и, ломая руки, бессильно упала в кресло.

— Вашему высочеству не надо сразу отчаиваться, — продолжала Лили, — вам надо действовать.

— Действовать?

— Прежде чем герцог успеет привести в исполнение свой замысел, арестуйте его самого.

— В уме ли ты; моя милая! Мне ли, слабой

женщине, пускаться в такую авантюру?

— Само собой разумеется, что распорядиться всем должен фельдмаршал Миних. Он вам искренне предан, а самого его войско боготворит.

— Это-то правда... Разве уж посоветоваться с фельдмаршалом?

— Непременно, ваше высочество, и не отлагая ни одного дня. Молодой граф, должно быть, еще здесь; он мог бы передать ваше желание отцу.

— Но как же так, без Юлианы? Я услала ее уже спать, у нее жестокая мигрень...

— Юлиана тоже уважает его больше всех. А каждая минута дорога. Так прикажете позвать к вам молодого Миниха?

— Позови...

Сын фельдмаршала, гофмейстер принцессы и камергер ее сына, действительно оказался еще в дежурной. Анна Леопольдовна сообщила ему свое желание завтра же видеть его отца, но под каким-нибудь благовидным предлогом, чтобы не было лишних толков.

— Предлог есть, — отвечал молодой Миних. — Отец и без того собирался на днях при-

везти к вашему высочеству нескольких кадет, которых наметил в пажи.

— Вот и прекрасно. Так утром я ожидаю фельдмаршала с его кадетами.

## Глава пятая

### РЕГЕНТА "УСЫПЛЯЮТ"

На следующее утро, 8 ноября, фельдмаршал Миних прибыл во дворец в сопровождении молодого адъютанта и нескольких кадет. В ожидании предстоящего ей репистельного разговора с глазу на глаз с фельдмаршалом о задуманной аванюре Анна Леопольдовна была в таком нервном возбуждении, что, не дослушивая его объяснений о представляемых в пажи кандидатах, вперед уже на все соглашалась:

— Хорошо, хорошо, граф... Кого же из них вы сами мне предлагаете?

Когда же Миних указал ей, что таких-то он рекомендовал бы в пажи к государю императору, а таких-то в пажи к ней самой, принцесса протянула юношам для поцелуя руку:

— Так поздравляю вас, господа, пажами!

Скоро мы с вами опять увидимся. А теперь, граф, мне надо бы еще переговорить с вами.

Молодой адъютант Миниха за все время не проронил ни слова, но Лили не могла не заметить, что глаза его то и дело направляются в ее сторону, точно притягиваемые магнитом. А уходя с кадетами, он отдал поклон сперва принцессе, а потом и ей, Лили.

Когда тут Анна Леопольдовна прошла с Минихом в смежную комнату и не позвала даже с собой своей наперсницы, Юлианы Менгден, та, оставшись в приемной вдвоем с Лили, не утерпела сорвать на ней свое сердце:

— Что это у тебя, скажи, с Манштейном?

— У меня — с кем? — переспросила, неудомевая, Лили.

— Да с этим адъютантом фельдмаршала!

— Я и не знала, что его зовут Манштейном.

— Ну да, рассказывай. Если же не знала, то тем непростительнее с ним так переглядываться.

Лили справедливо возмутилась:

— Что вы говорите, Юлиана? Я и не думала глядеть на него.

— Но он с тебя глаз не спускал, а потом от-

дельно еще тебе поклонился.

— Так я-то чем виновата? Разве я могу запретить человеку глядеть на меня!

— Но ты в ответ на его поклон сделала реверанс.

— Мне кажется, этого требовала простая вежливость.

— Молодым кавалерам девицы не делают реверанса, а кивают только вот этак головой.

— На будущее время буду знать, а от Манштейна нарочно уже буду отворачиваться.

Таким заявлением щепетильной гоффрийлине пришлось пока удовлетвориться.

Совещание принцессы со стариком-фельдмаршалом продолжалось довольно долго. Наконец дверь отворилась и показался Миних. По его решительному виду можно было догадаться, что вопрос об аресте регента решен в утвердительном смысле.

— Вот что, милая Юлиана, — обратился он к фрейлине (как свекор ее родной сестры, он обходился с нею запросто). — Ты нынче вечером свободна?

— Свободна. А что?

— Я предлагал принцессе лично навестить

сегодня герцогиню Бирон, но она и слышать о том не хочет. Между тем необходимо усыпить бдительность и герцогини и самого герцога. Я попрошусь к ним уже на обед, пробуду там, может быть, и до ужина. А ты, Юлиана, вместе с сестрой поезжай туда вечером.

— И остаться также к ужину?

— Непременно, до самой полночи. При этом старайся быть возможно непринужденнее и любезнее с обоими хозяевами. Да тебя, впрочем, нечего учить. А когда вернешься опять сюда, во дворец, то на всякий случай не раздевайся, а приляг в платье.

— Хорошо. Но караульные пропустят ли вас сюда ночью?

— С вечера весь караул как здесь, так и у герцога в Летнем дворце будет от моего Преображенского полка. Каждый из моих солдат знает меня в лицо. До свиданья же у Биронов!

Тут только, обернувшись, фельдмаршал заметил стоявшую в стороне Лили.

— И вы тут, баронесса? Вы слышали весь наш разговор?

— Слышала, граф, — отвечала она, — но никому ничего не разболтаю.



— На нее можно положиться, — подтвердила со своей стороны Юлиана, но все-таки сочла нужным сделать ей еще внушение, после чего услала ее в детскую к младенцу-государю, который без нее, пожалуй, соскучился.

Большую часть этого дня Лили так и пробыла в детской. Но когда Юлиана с сестрой своей, согласно инструкции Миниха, уехала вечером в гости к герцогине Бирон, Лили испросила у Анны Леопольдовны разрешение продежурить рядом с ней в гардеробной, пока фрейлина не возвратится. Ей ни за что не хотелось проспать того события, которое должно было совершиться в эту же ночь.

Молодость, однако, взяло свое. Привыкнув ложиться спозаранку (так как Иоанн Антонович просыпался поутру очень рано и будил ее своим криком), Лили незаметно задремала в гардеробной, где прикорнула на диванчике. Внезапно, сквозь сон, чрез неплотно притворенную дверь до ее слуха долетели голоса принцессы и гоффрейлины. Она насторожилась.

— Значит, они ничего еще не подозревают? — спрашивала принцесса.

— Ничего, — отвечала Юлиана. — Герцогиня показывала мне и сестре новое коралловое ожерелье, которое выписала себе из Венеции, и очень интересовалась тем, как переделываются теперь ваши драгоценные вещи.

— Ну, конечно! Ничто другое ее ведь не интересует. А герцог?

— Герцог весь вечер был как-то особенно задумчив. Совершенно неожиданно он спрашивает вдруг фельдмаршала, не случилось ли ему во время похода предпринимать что-нибудь важное в ночную пору.

— Вот видишь ли! — воскликнула принцесса. — А что же Миних?

— В первый момент он был как будто озадачен. Но то был всего один момент. Он тотчас овладел опять собой и отвечал, что, сколько ему помнится, ночью он никогда ничего не предпринимал, вообще же у него правило — пользоваться обстоятельствами.

— Как неосторожно! Бирон, пожалуй, все-таки еще догадается.

— Не думаю. Расстались они старыми друзьями. Принцу ваше высочество ничего ведь еще не говорили?

— Ни слова. Он только испортил бы все дело. А теперь, Юлиана, что нам-то делать?

— Вооружиться терпением. Вы, ваше высочество, ложитесь и постарайтесь заснуть. Когда нужно будет, я уже разбужу вас.

— А сама ты где же будешь?

— Да здесь же, в гардеробной.

Лили быстро вскочила со своего диванчика и выскользнула из гардеробной, чтобы не слышать репримандов Юлианы. Но ушла она не к себе, а в детскую, где угнездилась в кресле около колыбельки царственного младенца. Но тут сон опять одолел ее, и она после уже узнала о том, что было во время ее сна. Было же вот что:

Около двух часов ночи фельдмаршал Миних приехал в карете за принцессой, чтобы отвезти ее в Преображенские казармы. Там она должна была заявить солдатам, что согласна на предприятие фельдмаршала. Но Анна Леопольдовна не могла превозмочь своей природной робости и отказалась ехать. Миниху с трудом удалось уговорить ее выйти по крайней мере в приемную к сопровождавшим его офицерам. Здесь она прерывающим-

ся от слез голосом сказала им небольшую речь:

— Очень рада вас видеть, господа... Вы знаете, сколько обид претерпели мы от герцога курляндского, я и мой супруг... Того ради мы рассудили арестовать герцога... Вот господин фельдмаршал взялся, никого не компрометируя и колико можно в секрете, исполнить это трудное предприятие... От его успеха зависит спокойствие и счастье целой империи... Уповаю, господа, что вы не откажете в секунде[5] вашему генералу, как подобает честным и храбрым офицерам?

Растерянный вид ее был так трогателен, что офицеры отвечали в один голос:

— Рады стараться, ваше высочество!

Принцесса окончательно расчувствовалась и бросилась на шею старику-фельдмаршалу, а потом допустила к руке и всех офицеров.

— Торопитесь, господа, торопитесь, — говорила она им, всхлипывая, — и дай вам Бог полного успеха!

По уходе фельдмаршала и офицеров она все еще не могла справиться со своими нерва-

ми и нигде не находила себе места: прошла к своему гофмейстеру, Миниху-сыну в дежурную, чтобы в разговоре с ним отвести душу, разбудила потом своего, ничего не чаявшего, супруга и откровенно рассказала ему обо всем, после чего вместе с ним и с Юлианой отправились в детскую. От голосов их Лили проснулась и поспешно поднялась со своего кресла. Сколько раз то она, то Юлиана выходили узнать, нет ли какого посланца от фельдмаршала. Наконец Юлиана вбежала с вестью:

— Фельдмаршал вернулся! Все поспешили в приемную.

## Глава шестая

### КАК ДОВЕРШИЛАСЬ АВАНТЮРА

— Поздравляю, ваше высочество! Регент — Парестован! — были первые слова Миниха.

Анна Леопольдовна набожно перекрестилась:

— Слава тебе Господи!

И в порыве благодарности, не стесняясь присутствия супруга, она расцеловала счастливого вестника в обе щеки.

— Где же он теперь?

— Он здесь же, в Зимнем дворце, под строгим караулом. В эту минуту арестуют также его брата, Густава Бирона, и Бестужева-Рюмина.

— Кабинет-министра?!

— Да ведь Бестужев — первый клеврет герцога. К остальным высшим сановникам я разослал гонцов, чтобы все они были здесь к девяти часам утра — принести поздравление вашему высочеству, а войскам приказано быть в сборе на Дворцовой площади еще ча-

сом раньше. Завтра два преданных мне офицера командируются — один в Москву, другой в Ригу — арестовать обоих генерал-губернаторов: Карла Бирона и зятя герцога, генерала Бисмарка.

— Обо всем-то вы подумали, граф, ничего не забыли! А герцогиня?

— Герцогиня... Пока она оставлена с детьми в Летнем дворце под караулом.

— Вот-то, я думаю, бедная перепугалась!

— Да... в перепуге она прямо с постели вскочила на улицу.

— Бог ты мой! При двадцатиградусном морозе! Но расскажите, граф, пожалуйста, все по порядку.

— Когда я ушел отсюда с офицерами в третьем часу ночи, — начал фельдмаршал, — я поставил солдат в кордегардии[6] под ружье.

— Всем вам, ребята, — сказал я, — хорошо ведомо, сколь великое утеснение чинится от регента нашему малолетнему государю и обоим его родителям. В гордыне и лютости своей границ он себе уже, не знает. Терпеть больше того невозможно. Надобно убрать регента. Вы, ребята, до сих пор всегда доблестно ис-

полняли свой долг. Готовы ли вы и в сем деле служить государю?

И все сто двадцать солдат ответствовали как один человек:

— С радостью готовы служить государю! Ни головы, ни живота не пожалеем.

— А ружья у вас заряжены?

— Никак нет.

— Так сейчас же зарядите.

Сорок человек с одним офицером я на всякий случай оставил здесь в карауле при знамени, с остальными же офицерами и восьмьюдесятью нижними чинами двинулся пешком к Летнему дворцу.

— Пешком в такой мороз! Но ведь у вас была карета? — заметила принцесса.

— Карета поехала за нами. Мой пример должен был поддержать дух солдат. Не доходя шагов двухсот до Летнего дворца, я выслал вперед Манштейна. Он вызвал ко мне караульного капитана с двумя младшими офицерами. Когда я объяснил им, что предпринимается, они с радостью изъявили также полную готовность. Тут я приказал им, ничего еще не говоря солдатам, пропустить к герцогу Ман-



штейна. Выбрав себе двадцать человек с одним офицером, Манштейн вошел во дворец... А! Да вот он и сам! — прервал Миних свой рассказ и обратился к входящему адъютанту:— Ну что, Манштейн, с братом регента у вас не было больших хлопот?

С изящной самоуверенностью преклоняясь перед принцессой и принцем, Манштейн начал свой рапорт мужественным и сочным баритоном:

— Имею честь доложить, что у дома стоял караул от Измайловского полка в двенадцать человек с унтер-офицером. Как командир этого полка, Густав Бирон пользуется вообще расположением солдат, между которыми немало ведь курляндцев. Унтер-офицер, тоже курляндец, не хотел сперва впустить меня, но я указал на свой конвой и объявил, что при малейшем упорстве ни один из них не останется в живых. Тогда они покорились, и я беспрепятственно прошел в спальню их командира. Он спал так крепко, что я должен был его разбудить. Спросонок не узнав меня, он напустился на меня:

— Кто вы такой? И как вы посмели войти

ко мне прямо в спальню?

— Я прислан к вам, — отвечал я, — от фельдмаршала графа Миниха.

Тут он разглядел, с кем имеет дело.

— Ах, это вы, Манштейн! Что же нужно фельдмаршалу?

— Дело, не терпящее отлагательства. Не угодно ли вам сейчас одеться?

Он стал спешно одеваться, а я отошел к окошку. Не совсем еще одевшись, он подошел ко мне:

— В чем же, скажите, дело?

— Дело в том, что мне приказано вас арестовать.

— Арестовать!

Он хотел открыть форточку, чтобы крикнуть своему караулу. Но я схватил его за руку.

— Брат ваш, герцог, уже арестован, — сказал я, — и если вы не дадите взять себя доброй волей, то будете убиты без всякого снисхождения. Эй, ребята!

Когда вбежали мои конвойные, он понял, что сопротивляться бесполезно, и просил только подать ему шубу. Против этого я, конечно, ничего не имел, посадил его к себе в

сани и сдал здесь, в кордегардии.

— Превосходно, — одобрил Миних. — А теперь расскажите-ка их высочествам, как вы взяли самого регента.

— Главное затруднение для меня заключалось в том, — заговорил опять Манштейн, — что в Летнем дворце мне не было известно расположение всех комнат. Знал я только, что герцог со своим семейством занимает четырнадцать покоев и что вход к нему из антикамеры, где принимают послов. Пройдя садом к заднему крыльцу, я застал в прихожей нескольких дежурных лакеев. Но так как за мной следовал взвод солдат, то лакеи так растерялись, что ни один не догадался побежать предупредить своего господина. Я их уже не спрашивал и пошел наугад. Из посольской антикамеры я проник в первый внутренний покой, оттуда во второй. Далее была большая закрытая дверь.

Не спальня ли там? Я толкнул дверь. Изнутри она была хоть и замкнута на ключ, но не заперта на задвижки. От сильного толчка обе половинки двери разом раскрылись.

Я не ошибся: то была собственная спальня

герцога. Освещалась она висячим фонарем, кровать же была с балдахином и занавеской. Я отдернул занавеску и увидел перед собой спящих глубоким сном герцогиню и герцога. Я их громко окликнул.

Оба тотчас проснулись и закричали, что было мочи:

— Караул! Караул!

Я стал было объяснять, зачем явился, но герцогиня, приподнявшись с подушек, продолжала кричать, а герцог, вообразив, должно быть, что настал последний его час, вскочил с постели (он лежал с другой стороны) и со страху полез под кровать. Я, однако, уже обежал кругом и схватил его. Он барахтался, брыкался и начал опять звать караульных.

— Караульных у меня к вашим услугам двадцать человек, — сказал я. — Сюда, ребята!

Подоспевшие ко мне на помощь конвойные справились с ним также не сразу. Герцог — человек, как вы знаете, очень сильный. Он стал работать кулаками, а одному солдату, который схватил его за горло, до крови укусил палец. Наконец они его все-таки осилили, скрутили ему руки офицерским шарфом, рот

заткнули платком и на руках вынесли его из дворца. На улице я велел набросить на него солдатскую шинель, так как он был в одном белье..."

— А я уступил ему мою карету и сам пошел опять пешком, — с сухой усмешкой досказал Миних, — последняя честь побежденному врагу!

— Вы, граф, можете еще шутить! — заметила с укоризной сострадательная Анна Леопольдовна. — А герцогиня, говорили вы, убежала на мороз за мужем тоже в ночном туалете? Как вы ее не удержали, мосье Манштейн?

— Солдаты, ваше высочество, ее и не пускали, — отвечал Манштейн. — Но она вырвалась у них из рук. Я увидел ее уже на улице, на куче снега и велел отвести ее назад во дворец.

— Там у нее, наверно, найдется от простуды шалфей с малиной, — добавил Миних. — *A la guerre comme à la guerre*, [7] принцесса.

Лили, подобно всем другим слушателям, не сводившая глаз с молодого адъютанта фельдмаршала, не могла не заметить, что

временами его взоры словно невольно обращались в ее сторону, но затем он тотчас опять отводил их на принцессу.

Вошедший в это время паж доложил о прибытии цесаревны Елизаветы и первого министра, графа Остермана.

— Я послал за ними, — объяснил Миних, — чтобы сообща обсудить, что предпринять с бывшим регентом и как объявить народу в манифесте о вступлении вашего высочества в управление государством.

Совещание с цесаревной и канцлером затянулось почти до самого рассвета. Отставленного регента положено было поутру отправить в Шлиссельбургскую крепость до решения судом его дальнейшей участи, принцесса Анна Леопольдовна делалась правительницей на время малолетства своего сына, с титулом "императорского Высочества великой княгини российской", но самый титул должен был быть предложен ей советом первых чинов государства по принесении присяги, манифест же был сочинен тут же искусником по этой части Остерманом, чтобы он мог быть подписан без всякой задержки пригла-

шенными во дворец к 9 часам утра министрами и генералитетом.[8]

Так закончилось регентство герцога курляндского Эрнста-Иоганна Бирона, продолжавшееся всего 22 дня: с 18 октября по 9 ноября 1740 года.

## **Глава седьмая**

### **СВОЯ РУКА — ВЛАДЫКА**

С раннего уже утра весть о низложении ненавистного временщика-курляндца облетела весь Петербург. Но те именно лица, которым по служебной их обязанности должно было быть известно, казалось бы, раньше других о готовящемся перевороте, узнали о нем позже очень многих простых обывателей столицы. К числу таких, ничего не чаявших должностных лиц принадлежал и полицеймейстер князь Шаховской, пользовавшийся особенным фавором Бирона. В оставшихся после него «Записках» Шаховской откровенно признается, что, когда перед рассветом, его разбудил полицейский офицер и объявил ему об аресте регента и о большом съезде в Зим-

нем дворце, он "ни малого воображения о том прежде не имея, в смятении был". Наскоро одевшись, он велел везти себя туда же, но дворец был окружен такой несметной толпой, что ему, Шаховскому, пришлось выйти из кареты, и он с большим трудом пробрался до крыльца.

"Всевидящий, защити меня!" — молился он про себя, когда подходил к придворной церкви, но "тут уже от тесноты продраться в церковь скоро не мог... Одни носят листы бумаги и кричат: "Изволите, истинные дети отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и в том Евангелие и крест целовать!" Другие, жадно спрашивая, как и что писать, и вырывая один у другого чернильницу и перья, подписывались и теснились войти в церковь присягать и поклониться стоящей там правительнице в окружности знатных и доверенных господ".

В кишевшей на дворцовой площади народной толпе был и Самсонов. На его глазах ко дворцу подъезжали придворные экипажи за экипажами, подходили с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкой, вой-



ска. Вокруг него раздавались радостные клики с насмешками над Бироном и похвалами новой правительнице. А вот гром пушек с Петропавловской крепости, беглый ружейный огонь и троекратное "Виват!" войск с звуками литавр и труб, возвестили, что молебствие в дворцовой церкви окончено и присяга исполнена. По всей площади прокатилось громогласное «ура», тхедхваченное неумолкающим перезвоном колоколов всех столичных церквей.

"И, может быть, я сам сей этой радости народной причинен!.. — подумалось Самсонову. — Отчего же у меня на душе так невесело?"

И вспомнилось ему тут все то, чего он слышался о безволии принцессы Анны Леопольдовны, о ее полном равнодушии к государственным делам.

"Ну, что же делать! Приходится мириться с тем, что есть: слабая, но добрая правительница все же во сто крат лучше изверга Бирона..."

В это время из ворот дворца начали выкатывать на площадь бочку за бочкой "зелена вина" на угощение народа.

Господи Боже Ты мой, что случилось вдруг с этими тысячами мирных людей! Все разом, словно обезумев, громадной океанской волной ринулись к хмельному зелью, пуская в ход кулаки и локти, толкая и давя друг друга. Крупная брань и болезненные вопли... Позади остались одни слабосильные старики, да и тех зависть берет.

— Ишь, черти! — ворчит один. — Из-за кости с мозгом собаки грызутся!

— Грех сладок, а человек падок, — отзывается другой, а сам, облизываясь, утирает сырые усы. — Мужичу вино, что колесу деготь.

А там, около бочек, после потасовки идут уже братские объятия и лобзанья, разливаются на всю площадь разгульные песни.

У Самсонова не стало уже сил быть свидетелем этих диких, но простодушных проявлений радости народной. Он поплелся восвояси и завалился спать, чтобы только поскорее забыться. Но еще до утра его поднял на ноги денщик старика Миниха:

— Вставай-ка, вставай, друг любезный. Фельдмаршал тебя к себе требует.

Когда Самсонов вошел в кабинет графа

Миниха, кроме хозяина там оказался еще и сын его, а также их родственник, президент камер-коллегии барон Менгден, дядя баронессы Юлианы.

— У тебя ведь, сказывают, изрядный почерк? — обратился к Самсонову фельдмаршал. — Изготовься же, очини себе перо.

Пока Самсонов очинивал свежее гусиное перо, у тех троих продолжалось совещание, разумеется, на родном их языке, но, говоря уже и прежде с грехом пополам по-немецки и пробыв затем полгода в остзейском крае, Самсонов понимал каждое их слово.

— Итак, — заговорил старик Миних, — каким отличием можно было бы оказать наибольшую приятность самой правительнице? В денежных средствах ее высочество отныне нуждаться уже не будет...

— Если позволите мне высказаться, — заметил Менгден, — с принятием титула императорское высочество принцесса имеет несомненное право возложить на себя орденские знаки Святого Андрея Первозванного...

— Верно. Траур ей, видимо, уже надоел, и она будет очень довольна являться на всех

торжествах в светло-голубой ленте.

— Не пристойнее ли будет, — возразил Миних-сын, — доложить сперва о том самой принцессе и поднесение ей этого высшего знака отличия предоставить высшему учреждению — сенату?

— Правильно, — согласился отец. — Ты, мой милый, как ее гофмейстер, представишь на ее усмотрение список предполагаемых наград и при сем удобном случае упомянешь на словах также об Андреевской звезде...

— И ленте небесно-лазурного цвета? Не забуду! — улыбнулся сын. — С кого же мы начнем список?

— С кого, как не с вашего почтеннейшего батюшки? — заявил президент камер-коллегии. — Благодаря ему одному ее высочество провозглашена регентшей...

— Да чем вы меня еще наградите, милый барон? — сказал фельдмаршал. — Все ордена у меня есть, в армии я выше всех... Недостаёт мне разве ещё звания генералиссимуса...

— Вот, вот!

— Простите, батюшка, — вмешался снова молодой Миних. — Но у меня есть основания

думать, что принц Антон-Ульрих давно уже и во сне, и наяву мечтает об этом высоком звании.

— В самом деле?

— Я в этом уверен. Юлиана слышала из его собственных уст.

Фельдмаршал поморщился.

— В таком случае, конечно... Надо бы хорошенько выяснить еще это обстоятельство.

— Да есть ли у нас на то время? Указ о наградах должен быть нынче утром подписан, а принц, как вы знаете, до крайности обидчив и тщеславен. Не деликатнее ли будет, не спрашивая принца, прямо пожаловать его в генералиссимусы, а вам самим до времени удовольствоваться должностью первого министра?

— Гм... Но первым министром состоит теперь Остерман...

— Ну, для него мы придумаем какое-нибудь другое отличие. Кабинет министров без вас уже немислим, а кому же быть первым в кабинете, как не вам?

— Будь так. Но нельзя ли как-нибудь хоть оговорить, что генералиссимусом следовало

бы быть собственно мне...

— Что ж, это можно. Что, Самсонов, приготовил перо? — спросил по-русски молодой граф.

— Приготовил.

— Так пиши: "Ноября 10 дня всемилостивейше пожаловали мы: «1». Любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал граф фон Миних за его к Российской империи оказанные знатные службы и то ныне уже первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал и в коллегии военной президент к пожалованию б сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всенижайшем к вышеупомянутом его высочеству почитении от сего высочайшего чина отрекается, притом же его высочество чин конной гвардии подполковника на себя принять изволил".

— А не покажется ли принцу такая оговорка несколько обидной? — заметил Менгден. — Точно его жалуют не за действительные его заслуги.

— Да ведь оно так и есть, — сухо отрезал

старик Миних. — Диктуй далее, — сказал он сыну.

Тот продолжал:

— "2". Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеписанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим и всему государству оказанной усердной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был Нам ревностные услуги оказать, Всемилоостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях, и как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, при чем и супруге его пред всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои невладеющие в нашей службе обретаются, супругами, первенство иметь".

— Вот это так! — одобрил фельдмаршал, и в бесстрастном взоре его блеснул огонек как бы искрейнего чувства. — За твою матушку я особенно рад! Теперь надо задобрить Остер-

мана. Уступить мне звание первого министра будет ему очень горько. Если этому старому волку не заткнуть рта другим сочным куском, то он не перестанет лязгать на меня зубами.

— Помнится мне, — подал тут голос Менгден, — что несколько лет назад, когда Остерман работал над новым положением для флота, он очень льстился на звание генерал-адмирала.

— Да? Ведь вакансия эта и доньше еще свободна?

— Ну, что ж, произведем его в генерал-адмиралы! — усмехнулся молодой Миних и кивнул Самсонову. — Итак, пункт третий: "Вице-канцлеру Империи, графу Остерману, пожаловали чин давно состоящей вакансии генерал-адмирала, причем ему и кабинет-министром быть по-прежнему".

— Остермана зовут у нас душою кабинета министров, а Черкасского *телом*, — сказал фельдмаршал. — Теперь, стало быть, очередь *тела*. Со смерти старого Головкина, больше шести уже лет, должность великого канцлера тоже не занята. Не предоставит ли ее Черкасскому?



— Сказать между нами, — заметил Менгден, — Черкасский за свои неблаговидные поступки заслуживал бы скорее отставки, чем награды. В нем нет ни капельки добродушия истых русских людей, в душе он все еще татарин...

— Так-то так, — сказал Миних-сын. — Но в начале нового правления, мне кажется, вернее можно утвердиться не строгостью и уличением прежних провинностей, сколько милосердием и великодушием, а потому для новой правительницы будет полезнее явить и в сем случае особенно убедительный акт великодушия, возвысив малодостойного. Не правда ли, батюшка?

— Вреда большого оттого для России не будет: воли я ему все равно не дам.

— Стало быть, вы согласны? Пиши, Самсонов: «4». Действительному тайному советнику князю Черкасскому пожаловать также чин давно состоящей вакансии великого канцлера, и быть ему по-прежнему в кабинете".

— Мне вот что приходит в голову, — сказал тут старик-фельдмаршал. — Если Черкасского не считать коренным русским, то до сих

пор мы не наградили еще ни одного русского. Теперь выдвинем и кого-нибудь из русских.

Так в 5-й пункт наградного указа попал природный русский граф Михаил Гаврилович Головкин, который давно уже получил высший гражданский чин действительного тайного советника, а теперь удостоился звания вице-канцлера.

За Головкиным следовал еще целый ряд награждаемых лиц, в том числе, конечно, и двое присутствующих при совещании: Миних-сын был назначен обер-гофмейстером с чином генерал-поручика, а барон Менгден украсился орденскими знаками Святого Александра Невского. Из остальных упомянем здесь еще о бывшем адъютанте принца брауншвейгского, Петре Граматине, который за месяц назад, после пытки в застенке и наказания кнутом, был лишен всех чинов и исключен из службы, а теперь восстанавлился в прежних чинах с назначением на должность директора канцелярии принца.

— Всех, кажется, удовлетворили, кого следовало, никого не обошли? — сказал фельд-маршал.

— А придворные дамы не попадут в этот указ? — спросил Менгден.

— Нет, относительно их будет особое распоряжение, выбор их надо предоставить самой принцессе. Вы, барон, имеете в виду, вероятно, вашу племянницу Юлиану?

— Да, она, казалось бы, заслужила того, чтобы сделаться статс-фрейлиной ее высочества.

— Еще бы! — подтвердил Миних-сын. — Теперь у ее высочества уже по регламенту должно быть не менее семи фрейлин, а кому же и быть старшей, как не Юлиане? Да она и сама напомним принцессе, будьте покойны.

— Ваше сиятельство не погневитесь за смелое слово? — решился тут выступить со своим предложением и Самсонов.

— Говори.

— Любимую свою камер-юнгферу, баронессу Лизавету Романовну Врангель, ее высочество принцесса еще при блаженной памяти государыне немеревалась также взять к себе во фрейлины...

— Да тебе-то откуда сие известно учинилось?

— А он молочный брат баронессы Врангель, — объяснил отцу с улыбкой молодой граф. — Точнее сказать, приходился он молочным братом ее покойной сестре, Маргарите, которая, если вы припомните, была также фрейлиной при принцессе... А две величины, равные порознь третьей, равны между собой.

По узким губам Миниха-отца проскользнула также тень улыбки.

— Старая аксиома, — промолвил он. — Но ведь если принцесса так уж благоволит к этой девице, то и сама, конечно, не преминет сделать ее фрейлиной.

— На всякий случай, я все-таки доложу ей об этом, — сказал молодой граф.

— Вспало мне еще на мысль, ваше сиятельство... — заговорил опять, ободрившись, Самсонов.

Фельдмаршал начал уже, видимо, терять терпение и сдвинул брови.

— Что еще?

— Ее высочеству цесаревне Елизавете Петровне, осмелюсь спросить, ничего не жалуется?

Оба Миниха, отец и сын, озадаченно пере-

глянулись: цесаревну они совсем ведь упустили из виду!

— Да что можно было бы ей пожаловать? — сказал фельдмаршал. — В средствах она хоть и стеснена, но рядом с почетными наградами простым смертным назначить ей, царской дочери, денежный презент не совсем-то подобает.

— При своей гордости она, наверное, откажется, как отказалась от презента Бирона, — заметил сын. — Но у тебя, Самсонов, никак, уже что-то придумано?

— Не знаю, как покажется вашим сиятельствам... Цесаревне, сдается мне, не столь даже лестно стоять в указе наряду с разными сановными особами, сколько видеть родственное внимание к себе со стороны правительницы. Года два назад цесаревна прочила в камер-юнкеры к себе доброго приятеля моих бывших господ Шуваловых, Воронцова Михаилу Ларионыча. Но герцог Бирон не влюбил его и удалил в Новгородскую губернию в линейные полки. Так вот, кабы его вернуть теперь оттуда ко двору цесаревны...

— Препозиция, батюшка, мне кажется,

весьма даже приемлемая, — сказал Миних-сын. — Воронцов в самом деле был в немалом фаворе у цесаревны, а паче того, пожалуй, у ее кузины молодой графини Скаронской.

— Герцог опасался, говорят, как бы не дошло у них даже до брака, — добавил Менгден. — Это был бы такой мезальянс...[9]

— Да нам-то какое до этого дело? Умиротворить бы только цесаревну и ее приближенных.

— Совершенно верно, — подтвердил старик отец. — Так ты, сын мой, скажи об этом правительнице сегодня же при поднесении указа о милостях. Она, верно, тоже опробует.

— А курьер, ваше сиятельство, к господину Воронцову будет тоже послан? — спросил Самсонов.

— Ты, братец, не сам ли уж хотел бы быть таковым курьером? — снисходительно опять улыбнулся фельдмаршал.

— Коли будет такая ваша милость. Михайло Ларионыч меня с прежних времен хорошо тоже знает.

— Ну, что ж, поезжай с Богом.

## Глава восьмая

# СОКОЛ С МИРТОВОЙ И ГОЛУБЬ С МАСЛИЧНОЙ ВЕТКОЙ

Проект наградного указа, как и следовало ожидать, был принцессой во всех пунктах опробован, и не далее как в 11 часов утра указ был прочитан высшим чинам, собравшимся во дворце в полном составе. Пожалованные, один за другим, подходили к руке новой правительницы. Каждого она удостаивала официально любезной улыбкой, некоторых избранных и парой ласковых слов, особенную же внимательность выказала старику-фельд-маршалу.

— Вас, граф, как моего первого министра, я желала бы всегда иметь около себя, — сказала она, — но я не могу требовать, чтобы вы во всякую погоду ездили ко мне с Десятой линии Васильевского острова через Неву...

Миних стал было уверять, что ему как человеку военному всякая погода нипочем, но, не договорив, он так раскашлялся, что должен был прижать к губам платок.

— Вот видите: вы уже простужены! — сказала Анна Леопольдовна. — Нет, нет, вы должны переехать ко мне во дворец. Для вас будут отведены те самые покои, которые я сама занимала до сегодняшнего дня. А чтобы вам поскорее поправиться от простуды, — прибавила она шутливо, — я пропишу вам рецепт...

— Какой такой рецепт, ваше высочество?

— А ордер на отпуск вам ста тысяч из нашей государственной аптеки — рентереи.

Принцессе, очевидно, была небыизвестна единственная слабость честного старого воина — жадность к деньгам, и она не без основания полагала, что такое звонкое лекарство излечит его вернее всякой докторской микстуры. Бесстрастные черты фельдмаршала действительно озарились как бы лучами солнца.

— Этим подарком, — с чувством заявил он, — ваше высочество, даете мне возможность привести в исполнение одно мое давнишнее желание. Дом мой уже много лет нуждается в капитальном ремонте. Теперь заодно я могу украсить и наружный фасад его скульптурными изображениями...



— Ваших воинских подвигов и трофеев?

— Да...

— Вот это я понимаю! Знаете ли, граф, в главной группе я поместила бы пленных турок в цепях. Как вы находите эту мысль?

— Прекрасная мысль, достойная вашего высочества.

— Вы одобряете? Как я рада! Но работа должна быть непременно художественная, и поручить ее можно только первоклассным скульпторам.

— Не иначе.

— Так от ста тысяч вам, пожалуй, ничего почти не останется?

— Не так-то много. Признаться, я наводил уже справки: с общим ремонтом все обойдется по меньшей мере тысяч в семьдесят.

Стоявшая позади Анны Леопольдовны Юлиана наклонилась к ее уху.

— Верно, верно, — тотчас согласилась с ней принцесса. — Уменьшить прописанную вам порцию — значило бы затянуть ваш кашель. Поэтому на починку и украшение вашего дома я пропишу еще отдельный рецепт на семьдесят тысяч. Напомни мне, пожалуй-

ста, Юлиана.

Такая щедрость правительницы окончательно, казалось, покорила сердце старика-фельдмаршала.

Не забыла принцесса дополнительной милостью и его сына: чтобы ему, новому обергофмейстеру, быть всегда поблизости, она подарила тому в собственность казенный дом по соседству с Зимним дворцом. Чрезвычайно расчетливый вообще в государственных расходах, фельдмаршал на этот раз не возражал: ведь и сын его, как он сам, был одним из самых крепких столпов нового правительства.

Юлиану и Лили Анна Леопольдовна поздравила с их новыми званиями статс-фрейлины и гоффрейлины еще у себя до общего приема. Весть об этом разнеслась на приеме с быстротою молнии, и большинство поздравителей считало долгом после правительницы принести поздравления и ее двум любимым придворным дамам. Так, подошел к ним и молодой адъютант фельдмаршала, подполковник Манштейн. Сказав несколько обыкновенных любезностей Юлиане, он уступил место

следующему поздравителю, а сам заговорил с Лили.

— Простите мое любопытство, баронесса, — приступил он прямо к занимавшему его, по-видимому, вопросу, — большую часть вашей недолгой еще жизни вы провели, как я слышал, в деревне?

"От кого он это слышал?" — мелькнуло в мыслях Лили, невольно покрасневшей при таком непосредственном обращении к ней блестящего гвардейца. Но, стараясь не показать своего замешательства, она отвечала с требуемой холодной корректностью:

— При дворе я уже целых полтора года, в деревне же прожила перед тем еще в десять раз дольше.

— О! В таком случае, жизнь ваша действительно очень уж долгая! — улыбнулся Манштейн, затем тихонько вздохнул. — Вашему покорному слуге не выпало такого счастья! Хотя я и лет на десять, на двенадцать вас старше, однако деревенским воздухом почти не дышал. Родился я здесь, в болотистом Петербурге. Покойный отец мой был генералом русской службы. Но так как сам он был родом

из Пруссии, то послал меня воспитываться в берлинский кадетский корпус, из корпуса же я поступил прямо в прусское войско и дослужился до поручика, дослужился бы с Божьей помощью когда-нибудь и до генерала, не пригласи меня пять лет тому назад царица Анна на русскую службу. И здесь мне, должен сказать, повезло: в прошлом году наш славный фельдмаршал взял меня к себе в адъютанты, в нынешнем произвел в подполковники, а на днях я буду иметь честь представиться вам и в полковничьем мундире. Когда дадут мне полк, я могу обзавестись и собственной семьей... Смею ли я, баронесса, узнать ваше мнение, не проситься ли мне куда-нибудь подалее от двора-в деревенскую глушь?

— Мое мнение? — повторила, недоумевая, Лили и вдруг, сообразив, вся вспыхнула до корней волос.

— Вы, может быть, еще подумаете, — продолжал Манштейн. — Если позволите, я завтра зайду к вам за ответом?

Хотя это было сказано несколько пониженным голосом, но Юлиана расслышала последние слова и отвечала за Лили:

— Она, простите, еще не принимает визитов.

— У нас с баронессой Врангель был разговор о деревне, — нашелся Манштейн. — Ей так хотелось бы подышать опять чистым ароматом лугов и полей. Вот я желал бы доставить ей букет душистых цветов...

— Прибавьте уж на всякий случай и миртовую ветку!

— Что это вы вздумали, Юлиана?.. — проворчала Лили.

Манштейн, казалось, лучше ее понял иронию статс-фрейлины.

— Так до завтра, баронесса Врангель, — проговорил он слегка дрогнувшим голосом и, отдав обеим фрейлинам формальный поклон, отошел в сторону.

"Не ревнует ли она уже его ко мне?" — подумала Лили.

Она не могла дожидаться, когда кончится церемония официального приема, и воспользовалась первым случаем, чтобы уйти к себе. Но тут, в коридоре, перед дверью в свою комнату, она застала своего молочного брата.

— А, Гриша! Хотел показаться мне уже без

бороды?

— Бояться мне теперь, точно, уже неко-го, — отвечал Самсонов каким-то загадочным тоном. — Но я к вам, Лизавета Романовна, не затем...

— А за чем же?

— Меня посылают курьером в Новгородскую губернию за Михайлой Ларионычем Воронцовым. Его возвращают ко двору цесаревны...

— Да? Как графиня Анна Карловна-то будет довольна!

— Приятелька ваша по суженому своему, верно, крепко стосковалась. Так вот я и думал, не будет ли от нее к нему поклона? Вы дозволите мне от вашего имени зайти к ней?

— Ну, конечно. Я напишу ей сейчас об этом пару строк.

Уйдя к себе, Лили через пять минут возвратилась к Самсонову с запиской.

— Вот, Гриша, отдай ей в собственные руки.

— Слушаю-с. А засим, Елизавета Романовна, позвольте пожелать вам здоровья и всякого счастья...

Голос его упал, и лицо приняло такое грустное, ожесточенное выражение, что Лили не на шутку всполошилась.

— Что это значит, Гриша? Ты точно навеки со мною прощаешься?

— Может, и навеки... Премилостивый Господь не оставь вас!..

— Нет, право, Гриша, что это с тобой? Ты разве не вернешься уже с Воронцовым в Петербург?

— На день-другой вернусь...

— А там опять в свою милую Лифляндию? — досказала Лили с невольной уже горечью.

— Да куда же больше? Здесь у Минихов и без меня сколько лишних ртов: семеро одну соломинку несут. В деревне же я сам себе голова, а тужить обо мне здесь некому, ни одна душа слезинки не прольет.

— Ты думаешь?.. Может, я буду скучать по тебе.

— Ах, Лизавета Романовна! Вы-то забудете про меня еще раньше всех.

— Плакать по тебе я, понятно, не стану, вот еще! Но почему мне забыть тебя раньше дру-

гих?

— Да как же: за таким мужем, ясным соколом...

— Что? Что такое? — прервала его Лили. — Ты, Гриша, кажется, бредишь! Кто этот ясный сокол?

— Знамо, что фельдмаршалский адъютант Манштейн: и умен, и пригож.

Лили в сердцах даже ногой топнула.

— Опять этот Манштейн! Ты-то с чего взял, что я выхожу за него?

— А с какой же стати он стал бы допытывать у меня про вас всю подноготную: кто, мол, были ваши родители...

— И много ль за мною приданого?

— Нет, на приданое он не зарится. Напротив, как услышал, что вы не из богатых, то словно у него даже гора с плеч спала. "Стало, говорит, не так уж избалована". Ну, я, вестимо, расписал ему вас: что такой умницы, такой ангельской души поискать...

Лили еще пуще возмутилась:

— Да как ты смел! Кто тебя просил! Я никогда не пойду за него! Да и вообще не выйду замуж...



Сумрачные черты Самсонова слегка прояснились.

— Да правда ли, Лизавета Романовна? Ей-богу?

— Ей-богу, Гриша. Ну, а теперь до свиданья.

И, вся вдруг зардевшись, она сама быстро удалилась. А он, облегченно вздохнув, отправился с ее запиской к двоюродной сестре цесаревны, молодой графине Анне Карловне Скавронской.

На другое утро он мчался уже на курьерских в Новгородскую губернию к негласному жениху Скавронской, везя от нее письмо, на конверте которого был собственноручный ее рисунок — голубь с масличной веткой.

Утром доложили Лили, что ее желает видеть полковник Манштейн. Не задумываясь, она велела сказать, что, к сожалению, не может его принять.

— Но они с большим букетом...

"Ясный сокол с миртовой веткой!" — подумала Лили, а вслух промолвила, что "все равно видеть его не может, да и не хочет"!

— Так прямо и сказать прикажите?

— Так и скажи.

"По крайней мере, все разом будет конечно!" — решила она про себя.

Она не ошиблась: вскоре она узнала, что Манштейн назначен командиром Астраханского пехотного полка, стоявшего где-то в глубине России. С тех пор она с ним и не встречалась.

## Глава девятая

### ЧАШКА ЧАЮ У ЦЕСАРЕВНЫ

Приводя в исполнение свое знаменательное предприятие, старик-фельдмаршал чересчур понадеялся на свои силы. Правда, что во время походов он закалил свой крепкий от природы организм, и возраст его был не такой уж преклонный (пятьдесят восемь лет). Предприятие удалось ему также на славу. Но прогулка пешком в одном мундире от Зимнего до Летнего дворца и обратно по сильному морозу, две подряд бессонные ночи и крайнее напряжение нервов не прошли для него даром. Уже в день объявления Анны Леопольдовны правительницею у него обнару-

жились явные признаки простуды, а затем, не успев еще согласно желанию принцессы, перебраться из своего дома на Васильевском острове в ее прежние покои в Зимнем дворце, он и совсем слег: у него открылся брюшной тиф или, как тогда выражались, "нервная горячка" (Nervenfieber).

Когда сын фельдмаршала принес это печальное известие молодой правительнице, та выразила ему искреннее соболезнование, но когда он добавил, что отец до своего выздоровления просит ее принимать лично других министров и сановников с докладами, она испугалась:

— Нет, нет! В государственных делах я смыслю столько же, как в китайском языке. Оставьте меня, господа, пожалуйста, в покое!

— Да без вашей санкции, принцесса, ни одно дело первостепенной важности не может получить движения, — настаивал Миних-сын. — А некоторые дела решительно не терпят отлагательства...

— Да если без фельдмаршала мне не так их еще доложат? Тогда я же ведь буду виновата? Вы знаете, что я никому не желаю зла. Всем,

всемь желаю одного добра...

— Кто этого не знает! Но тем более, ваше высочество, для общего блага...

— Нет, милый граф, дайте мне немножко хоть передохнуть. У меня и своих-то дел теперь выше головы.

В чем же заключались эти свои дела? Во-первых, распустив по настоянию фельдмаршала, экономии ради, всех шутов и шутих, приживальцев и приживалок покойной царицы с приличной пенсией, Анна Леопольдовна оделила еще каждого и каждую, по собственному их выбору, разными, оставшимися после ее царственной тетушки, вещами, кроме лишь гардероба. Гардероб же царицын она раздала своим комнатным дамам, а своей статс-фрейлине и первой фаворитке Юлиане Менгден, кроме того, подарила 4 парадных кафтана герцога Бирона и 3 кафтана его сына Петра. Кафтаны эти та выпросила себе, конечно, не с тем, чтобы сохранить их на память: из богатого шитья она дала золотых дел мастеру выжечь все золото и из этого золота сделать для нее четыре шандала, шесть тарелок и две коробки. Мало того, в течение одного

1741 года Юлиана успела потом выклянчить под разными предлогами еще несколько десятков тысяч рублей деньгами и мызу Обер-Пален в Дерптском уезде.

Позаботившись так о своих приближенных, принцесса дала волю и своей собственной склонности к роскоши и комфорту. Мебель в ее покоях было поведено перебить заново дорогими заграничными материями, зашить новых штофных обоев были засажены все золотошвейные мастерицы ведомства цалмейстерской конторы, под наблюдением придворного живописца Людовика Каравака, по его же рисунку была заказана для серебряной опочивальни ее высочества новая художественная кровать, а кроватному мастеру Рожбарту другая, попроще, но с балдахином на французский манер. Так как отдыхать и днем правительница находила удобнее на кровати, чем на канапе, то в уборную и в библиотеку было поставлено для нее также по кровати. По вечерам принцесса очень охотно играла с избранными партнерами в карты, для этой партии специально был сделан изящнейший ломберный столик пальмового

дерева, крытый малиновым бархатом и бахромой, а для прочих игроков несколько серебряных столов.

Заботы о всем перечисленном отнимали у правительницы немало времени. Далее она уделяла ежедневно час-другой своему царственному сыночку. Главный надзор за ним был поручен теперь бывшей камер-фрау покойной государыни, Анне Федоровне Юшковой, номинально оставленной на той же должности и при принцессе. С этих пор Юшкова только и жила и дышала своим питомцем, он в свою очередь так к ней привязался, что, кроме нее да кормилицы, шел на руки, по старой памяти, еще только к Лили Врангель.

Здесь же, в детской, застала принцессу и цесаревна Елизавета Петровна, когда навестила ее раз вместе со своей фрейлиной и двоюродной сестрой графиней Скавронской. Венценосный младенец оказался, по обыкновению, на руках Юшковой.

— Ну, пойдя же ко мне, дружочек, пойдя! — попыталась переманить его к себе цесаревна.

Ее чарующая улыбка вызвала светлое отражение на его пухлом, бледном личике, в его бледно-голубых глазах, но природная дикость взяла верх, и он уткнулся головкой на плече старушки.

— Ах ты золотая головушка, голубок мой сизокрылый! — умилилась Юшкова.

— Но отчего он у вас все еще такой хилый? — спросила Елизавета Петровна.

— Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазьте его, ваше высочество! С самого ведь рождения доктора эти пичкают его своими лекарствами, а желудок не варит, да и все тут. Прогневили мы, знать, Господа! Солнышко ты мое красное, болезный ты мой! Диви бы, мы его не холили, не лелеяли. Вон и колыбельку новую смастерили: вся, извольте видеть, из цельного дуба да орехом оклеена, а поверх серебряной парчой обита с бархатными цветными букетами...

— А вон тут над изголовьем будет большой образ его Ангела-Хранителя с неугасимой лампадой, — подхватила Анна Леопольдовна. — Пишет его наш славный художник Алексей Пospelов. Пока не окончит, я не ве-

лела ему брать никаких других заказов.

— А для плезиру нашего светика Ванички вон над окошком и канареечка повешена, — добавила опять Юшкова.

— Но спать она ему не мешает? — спросила Елизавета Петровна.

— Ай, нет-с! Она у нас ведь ученая: самой Варлендшей обучена выпевать куранты, да не иначе как ежели ножичком этак по стакану поводить. Тут, доложу вам, таково зальется, индо уши развесишь! Свету божьему тоже радуется и другим душу веселит. Всяк по-своему Творца хвалит. Угодно вашему высочеству тоже послушать?

— Нет, милая Анна Федоровна, как-нибудь в другой раз, — мягко уклонилась цесаревна.

Между тем кухня ее Скавронская тихонько шепталась в стороне со своей подругой Лили.

— Как я счастлива, Лили, если б ты знала, ах, как счастлива! — говорила она. — Мы видимся теперь с Мишелем каждый день...

— А когда же ваша свадьба?

— Т-с-с-с! Официально мы ведь еще не обручены.



— Но он сделан уже камер-юнкером цесаревны...

— Камер-юнкерского жалованья, милая, все-таки не хватает, чтобы завести свой дом. А жить на счет жены он не хочет. Мы подождем еще годик. Куда нам торопиться? Да и есть своя прелесть, я тебе скажу, быть этак тайной невестой. А у тебя, дорогая моя, сердце все еще пусто? Говорили что-то про Манштейна: будто бы он с горя, что ты ему отказала, зарылся в провинцию.

— Ах, нет! — поспешила Лили разуверить подругу. — Ничего у нас с ним не было... Я и думать о нем уже перестала.

— Так отчего же ты такая скучная? Знаешь что: нынче вечером у нас собирается молодежь на чашку чаю. Вот бы тебе приехать тоже, чтобы порассеяться!

— Но я же никого у вас не знаю.

— А моего Мишеля? А Пьера Шувалова?

— Михаиле Илларионычу, кроме тебя, ни до кого теперь нет дела, а Шувалов заморожен уже Юлианой.

— Ну, все равно. Вот я приглашаю Лили приехать к нам сегодня вечером, — обрати-

лась Скавронская к цесаревне.

— Да, в самом деле, Анюта, отпусти-ка ее к нам, — подхватила Елизавета Петровна, ласково прищурив на Лили свои звездистые очи. — Она прехорошенькая и будет иметь большой успех у наших ферлакуров.

— Заневестилась девка, — пора на торг везти, — поддержала Юшкова.

Все рассмеялись, даже сама Лили.

— Смейтесь, смейтесь, — продолжала Юшкова, — а всякая невеста для своего жениха родится. Может, нынче-то как раз и суждены ей первые смотрины.

— Дай Бог, дай Бог! — сказала не менее самой Юшковой суеверная Анна Леопольдовна. — Но с кем я отпущу ее? Она еще такой ребенок... Будь у меня помоложе обер-гофмейстера...

— А на что же у тебя, душенька, новый обер-гофмаршал, молодой Миних? — заметила цесаревна. — Человек уже женатый, стало быть, безопасный.

— И то правда.

На том и порешили.

В девятом часу вечера из двухместной ка-

реты, подкатившей ко дворцу цесаревны на углу Миллионной и Царицына луга, вышли Миних-сын и Лили.

Охорашиваясь перед зеркалом в вестибюле, Лили оглядела свое отражение с критической точки зрения и должна была признать себе, что такой свеженькой, миловидной блондинки не было, пожалуй, ни одной среди всех придворных барышень и немецкого, и русского лагеря.

"Прехорошенькая!" — мысленно повторила она похвалу цесаревны и с простительным самодовольством улыбнулась своему двойнику.

Вдруг в том же зеркале позади нее отразился молодой конногвардеец и, как бы в ответ на ее улыбку, тоже улыбнулся. Она вспыхнула и, гордо вскинув головку, обернулась к своему кавалеру:

— Идемте, граф!

Они стали подниматься по красному сукну лестницы меж двух рядов лавровых и поморанцевых деревьев. На повороте лестницы в огромном зеркале она неожиданно снова увидела себя во весь свой стройный рост с высо-

ко взбитой прической, и снова ей вспомнилось:

"Прехорошенькая!"

Но, переступив порог ярко освещенного зала, где было уже несколько военных и штатских, она ощутила вдруг неодолимый прилив робости и растерянно оглянулась. К счастью, в тот же миг к ней подлетела Скавронская.

— А я, милочка, боялась, что ты все-таки, пожалуй, не приедешь.

И, взяв подругу под руку, она подвела ее к цесаревне.

— Очень рада, что дебют свой вы начнете именно у меня, — милостиво приветствовала ее Елизавета Петровна. — Фарватер у меня неглубокий, без всякого прибоя, но научиться плавать можно, только войдя в воду.

— Я, ваше высочество, с большим удовольствием приму на себя обязанности бадемейстера (учителя плавания), — развязно заявил тут, выступая вперед, знакомый Лили, поклонник Юлианы Менгден, Петр Иванович Шувалов, который как и старший брат его Александр Иванович, был камер-юнкером цесаревны.

Для молодых людей русского лагеря Лили, как камер-юнгфера принцессы, не существовала. Теперь же на нее, как на фрейлину правительницы, были устремлены со всех сторон любопытные и, по-видимому, искренне восхищенные взоры, так что бедняжка не выпускала руки своей подруги и крепче к ней только прижималась.

Зал быстро наполнялся все новыми гостями. Стали разносить чай с легким печеньем. Елизавета Петровна в качестве хозяйки находила время сказать каждому несколько приятных слов. Разговор происходил большею частью на французском языке, а русская речь пересыпалась французскими *bon-mots*, [10] как необходимою приправой. Лили, не совсем еще овладевшая французским языком, больше отмалчивалась и на обращаемые непосредственно к ней вопросы отделялась лаконическими: "*oui, monsieur*", "*non monsieur*". [11] Тем внимательнее прислушивалась она к разговору других. Чего-нибудь глубокомысленного или государственной важности искать в этой великосветской болтовне было, конечно, нечего, в лучшем случае то были за-

нимательные столичные новости, пикантные анекдоты, а то просто набор пустых фраз, которые произносятся без всякого размышления и на которые отвечают, думая о чем-нибудь постороннем или вовсе ни о чем не думая. Но печать отменного приличия лежала на всех, и блески светского остроумия вызывали только легкий, корректный смех.

— Я сяду сейчас за карты, — сказала цесаревна, подходя к Скавронской. — А ты, Аннет, будь уж за хозяйку, устрой *petits jeux*. [12]

Из числа так называемых "маленьких игр" при дворе были в ходу только умные: "secrêtaire", «шарады». Приглядевшись к окружающим, Лили вскоре настолько освоилась в новой среде, что не затруднялась уже меткими письменными и словесными ответами. Сидевший рядом с ней Петр Шувалов, однако, не мог еще как будто привыкнуть к мысли, что она уже взрослая, и полунасмешливо спросил ее, не скучны ли ей эти солидные игры.

— Нет, ничего, — отозвалась Лили. — Только вам-то всем они, кажется, уже надоели по горло, потому что вопросы и ответы все-таки

постоянно повторяются.

— Так вы предпочитали бы играть в веревочку или в кошку и мышку?

Лили вскинула на него глаза и отвечала совсем откровенно:

— Еще бы! Там, по крайней мере, жизнь.

— Господа! — возгласил Шувалов. — Вот баронесса Врангель предлагает играть в веревочку или в кошку и мышку.

— Неправда, сама я вовсе этого не предлагала... — пробормотала Лили.

Но шаблонные умные игры, должно быть, в самом деле успели уже набить оскомину большинству играющих, потому что мысль о неумных играх тотчас нашла с разных сторон сочувственный отклик:

— В самом деле, не поиграть ли в веревочку?

— Нет, лучше в кошку и мышку!

— Сперва в одно, потом и в другое, — решила Скавронская.

Сказано — сделано. И дивное дело: вся эта чопорная придворная молодежь вдруг стала естественной, необыкновенно оживилась. С каким одушевлением всякий, попавший по

очередь в середину веревочного круга, хлопал других по рукам! Каким взрывом смеха сопровождался каждый хлесткий удар! Чаще других попадала в круг Лили, не потому, чтобы не умела вовремя отдернуть руки, а просто потому, что молодые кавалеры, точно створившись, охотнее всего хлопали по рукам эту прелестную, невинную как ребенок барышню, столь непохожую на всех остальных. Со своей стороны и она не оставалась в долгу, но больше всего от нее доставалось все-таки насмешнику Шувалову.

— Не довольно ли, господа? — сказала тут Скавронская, у которой руки были также отбиты уже докрасна. — А во что же теперь?

— В кошку и мышку! — слышались кругом голоса.

— Да, да, в кошку и мышку!

— Но кому быть мышкой?

— Конечно, мадемуазель Врангель! — заявил Пьер Шувалов.

— Да, да, мадемуазель Врангель! — поддержал единодушный хор других кавалеров.

— А я буду кошкой, — сказал Шувалов.

— Нет я! Я! Я! — откликнулись другие.



— Придется вам, господа, тянуть узелки, — объявила Скавронская.

Три раза подряд Лили была мышкой, но благодаря ее грациозной увертливости ни одной из трех кошек не удалось поймать ее.

Наконец пришлось сделать паузу, чтобы запыхавшиеся кошки и мышки могли перевести дух и прохладиться мороженым. Шувалов не замедлил присоседиться к Лили и начал, не то шутя, не то уже серьезно, говорить ей любезности.

— Перестаньте, пожалуйста, Петр Иванович! — сказала она. — Вы забываете, что я не Юлиана.

— Вы, Лизавета Романовна, как новая комета, вашим блеском совсем ее уже затмили.

— Знаете, Петр Иванович, мне хотелось бы вас хорошенько наказать!

— Попробуйте.

— Вам хочется быть наказанным?

— Вами? Да.

— Хорошо.

Порхнув через зал к Скавронской, она стала что-то ей нашептывать. Та, покосившись на Шувалова, лукаво усмехнулась и возгласи-

ла:

— Господа, прошу вас взять стулья и сесть в два ряда, да не слишком близко друг к другу.

— И мне тоже сесть? — спросил Шувалов.

— Нет, вы будете главным действующим лицом.

Когда все уселись, она попросила сидящих вытянуть вперед ноги так, чтобы носками касаться носков своих *vis-à-vis*, [13] затем, обратясь к Шувалову, предложила ему перешагнуть через все эти ноги, никого не задев.

— Только-то? В чем же тут мудрость? — сказал он и по французской поговорке "*faire bonne mine au mauvais jeu*" [14] с комическими ужимками стал перебираться через протянутые с двух сторон ноги.

— Брависсимо! — похвалила его Скавронекая, когда он успешно выполнил задачу. — Дайте-ка сюда ваш платок и наклоните голову.

И она повязала ему платком глаза.

— Теперь извольте-ка пройти опять назад с завязанными глазами.

В то же время она сделала всем сидящим

молчаливый знак, чтобы те убрали под стул свои ноги. Шувалов, воображая, что препятствия все те же, двинулся вперед с осторожностью слепца и без надобности высоко подымал свои ноги.

— Выше, выше! — предостерегала его Лили.

— Выше, выше! — подхватили другие.

И он подымал ноги все выше, подобно журавлю, вытаскивающему свои ходули из вязкого болота. Когда он наконец добрался так до конца, все участники игры разразились таким гомерическим хохотом, какой едва ли когда-либо прежде раздавался в стенах цесаревнина дворца.

Шувалов сорвал с глаз повязку и с недоумением огляделся кругом.

— Да ведь я же никому, кажется, не наступил на ногу?

— Еще бы наступили, когда все ноги были под стульями! — со смехом отвечала ему Скавронская.

Тут и сам он рассмеялся и отвесил Лили глубокий поклон:

— Grand merci, m-lle,[15] за науку.

— Что у них там такое? — заинтересовалась цесаревна, сидевшая на другом конце зала за ломберным столом со своим лейб-хирургом Лестоком и двумя камер-юнкерами — Разумовским и Воронцовым.

Положив карты на стол, она вместе со своими партнерами подошла к молодежи. Когда ей здесь объяснили причину общей веселости, она взяла Лили за подбородок и звонко поцеловала.

— Ну, милая шалунья, что я говорила: научилась плавать?

## Глава десятая

### ГРОШ ЗА ЧЕЛОВЕКА

**К** камер-юнкеру Разумовскому, главному управляющему именьями цесаревны, приблизился в это время лакей с письмом на серебряном подносе. Приняв письмо и взглянув на адрес, Разумовский поморщился и, не распечатывая, положил письмо в карман.

— Что ж ты, Алексей Григорьич, не прочитаешь? — заметила Елизавета Петровна. — Может, что-нибудь важное.

— Это, ваше высочество, отписка от старшего приказчика рязанского имения, — отвечал Разумовский. — Лайдак так запутал счета, что сам царь Соломон не распутает.

— Ну, может статья, на сей раз и без царя Соломона обойдешься. Читай, не стесняйся.

Разумовский вскрыл отписку и стал читать, но чем далее читал, тем лицо его становилось все мрачнее.

— Ну, вже так! — пробормотал он сквозь зубы. — Щоб тебе пекло та морило!

— Что же, опять никакого толку? — спросила цесаревна.

— Аж ничогошенько! Лисьим хвостом все следы замечает.

— Так, знать, тебе самому уж придется туда съездить.

Происходя, как известно, из простых хохлов, Разумовский, несмотря на свое придворное звание, не совсем еще отвык от своих первобытных манер и поскреб пятерней в затылке.

— Коли будет такова воля вашего высочества... — проговорил он. — Но один, кажут, в поле не воин, как бы не вышло шкоды (убыт-

ка)...

— Так возьми себе доброго помощника.

— Я мог бы указать вполне надежного и знающего молодчика, — вмешался тут Воронцов. — Он до всего доведается, все признает.

— Кто ж это такой?

— А не безызвестный вашему высочеству крепостной человек вот графа Миниха, Самсонов, тот самый, что был командирован за мной курьером в Новгородскую губернию. На обратном пути оттуда он больше прежнего еще полюбился мне: малый не по возрасту рассудливый, в деревенском хозяйстве сведущий, как мне и не чаялось. Спросите самого графа: все прошлое лето Самсонов заправлял ведь хозяйством в его лифляндском имении.

Стоявший тут же молодой Миних, судя по выражению его лица, был не очень-то доволен непрошеной рекомендацией Воронцова, но ему ничего не оставалось, как подтвердить эту рекомендацию.

— А счета вести он тоже умеет? — спросил Разумовский.

— Умеет.

— О це добре! Ваше высочество! Кабы со-

всем купить вам у графа сего человечка?

— En effet, mon cher comte,[16] - обратилась цесаревна к Миниху, — уступите мне его, ну, пожалуйста!

— Простите, ваше высочество, — извинился Миних. — Он исполняет у меня теперь обязанности домашнего секретаря...

— О! Так он силен и по письменной части? Нет, милый граф, как вам теперь угодно, вы должны отдать мне его. Ведь сами вы владеете им очень недавно?

— Еще два года назад Самсонов был моим камердинером, — заметил Шувалов.

— Пока вы его не проиграли в карты покойному Волынскому! — досказала с укоризной Елизавета Петровна. — А от Волынского, граф, он перешел уже прямо к вам?

— К моему отцу.

— За какую сумму?

— У него с Волынским были какие-то старые счета...

— А ваш батюшка отдал вам Самсонова в полную собственность уже без всяких условий?

— Да, он подарил мне его.

— От вас принять его в виде подарка я, понятно, не желаю. Но вы сами сейчас слышали, как туго поступают мои ресурсы. Так будьте великодушны, граф, назначьте за него божескую цену! — добавила цесаревна со своей обворожительной улыбкой.

Зачаровала ли его эта улыбка или вспомнилась ему известная всему свету скарденность его отца-фельдмаршала, но молодой обер-гофмейстер правительницы выказал необычайное бескорыстие.

— Один грош у вашего высочества, наверно, все-таки найдется? — сказал он.

— Один грош? Вы отдаете мне бесценного для вас человека за грош?

— Я закажу для этого гроша золотую оправу и буду носить его на часах...

— В виде брелока?

— Нет, в виде талисмана.

Цесаревна посмотрела в глаза его глубоким взглядом, точно желая разгадать, что кроется за этими словами, произнесенными с каким-то особенным ударением. И, должно быть разгадав, протянула ему для поцелуя руку.



— Благодарю вас, граф! Талисман вам, надеюсь, однажды пригодится. Но есть ли у меня еще грош?

Она раскрыла висевший у нее на руке бисерный мешочек, где, кроме батистового платочка, у нее находился и кошелек с деньгами для расплаты с партнерами.

— Представьте себе! — сказала она, высыпав на ладонь содержимое кошелька. — У меня здесь только серебро да червонцы. Не возьмете ли вы, граф, червонец?

— Ни за что, ваше высочество! — решительно отказался Миних.

— Так серебряный пяточок?

— Нет, пожалуйста мне медный грош.

— Какой вы, однако, педант!.. Господа! Может быть, у вас у кого-нибудь найдется медный грош?

Но ни у кого из окружающих придворных людей не оказалось медных денег.

— У меня-то есть грошик, — сообщила Лили шепотом своей подруге, — но мне не хотелось бы отдавать его...

— Почему?

— Он совсем новенький, и я спрятала себе

его на счастье.

— Да, может, теперь-то он и принесет тебе счастье? Вот у Лили есть заветный грошик, — заявила она вслух, и Лили волей-неволей пришлось расстаться со своим грошиком.

— Когда-нибудь я воздам вам за него сто-рицей, милая Лили, — сказала цесаревна и передала блестящую медную монетку Миниху. — С вами, граф, мы стало быть, в расчете.

— А когда она с тобой будет рассчитывать-ся, — заметила Скавронская тихонько Лили, — то потребуй расплаты уже не деньгами, а натурой.

— Как натурой?

— А так: самим Гришей.

— Что ты опять ей нашептала, егоза? — спросила Елизавета Петровна. — Смотри-ка, смотри, как ее в жар бросило!

— Я посоветовала ей только не продешевить при расплате, — отвечала Скавронская.

Лили, сделавшись центром общего внимания, была готова сквозь пол провалиться.

— Ах вы дети, дети! — улыбнулась цесаревна. — Придет время, моя душечка, так я с вами расплачусь по совести, будьте покойны.

## Глава одиннадцатая

# У СТАРИКА-ВОЗНИЧЕГО БРАЗДЫ УСКОЛЬЗАЮТ ИЗ РУК

В тяжкой болезни фельдмаршала Миниха наступил поворот к лучшему, но поправлялся больной очень медленно.

Тем временем враги его не дремали. Не находя прямого доступа к правительнице, занятой пока своими собственными делами, они через посредство ее супруга, не менее простодушного, подкапывались под человека, доставившего ей регентство.

— Это сам Бог покарал старика! — говорил принцессе принц-супруг в присутствии ее двух фавориток. — Я для него точно и не суще-че-че-чествую.

— Но не сам ли он предложил назначить ваше высочество генералиссимусом? — позволила себе Юлиана вступить за свекра своей сестры.

— А иезуитскую оговорку в указе вы, баронесса, забыли?

— Какую оговорку?

— Что генералиссимусом, по своим заслугам, должен бы быть по-настоящему он, Минах, мне же он уступает это звание как отцу императора (понимаете: только как *отцу*, а не за мои собственные заслуги)! И это опубликовано на всю империю!

— Но ведь все это, друг мой, совершенно верно, — не удержалась возразить тут Анна Леопольдовна, у которой, при всем добродушии, невольно прорывалось временами пренебрежение к навязанному ей, немилому супругу. — *Entre nous soit dit*, [17] — какие твои заслуги?

— Какие! — вскипятился еще пуще Антон-Ульрих. — Если ты так близорука, то я тебе не надену очков, для этого я слишком скромн. Но прежде чем арестовать Бирона и провозгласить тебя правительницей, почему он не посоветовался со мной, не велел даже будить меня...

— Потому что ты, по обыкновению, только бы напутал.

— Ну да! Вы оба с ним чуяли, что нашлись бы желающие призвать к регентству кое-кого другого.

— Уж не тебя ли?

— Да хоть бы и меня? Ты — императору мать, я, — отец. Уж не воображаешь ли ты, что управлять государством будешь искуснее меня?

— Ничего, мой милый, я не воображаю. Знаю одно: что по происхождению я — русской царской крови, а в твоих жилах течет одна немецкая кровь. Стало быть, для русского народа ты такой же чужой, каким был Бирон. А что касается твоего ума...

— Пожалуйста, без сравнений! — перебил принц. — Спорить теперь все равно бесполезно: что сделано, то сделано. Тебе присягали, пускай же ты номинально считаешься регентшей, пока сынок наш подрастет. Но я-то, супруг твой, во всяком случае имею неоспоримое право быть твоим первым советчиком, потому что сына нашего мы любим одинаковой родительской любовью, одинаково желаем видеть его потом счастливым на царском престоле. А Миниху я все-таки не прощу-чу-чу-чу!.. Хоть бы он поскорее издох!

— Какие у тебя выражения, какие нехристианские мысли! Желать своему ближнему

смерти...

— Какой он мне ближний! Ну, да хорошо, хорошо, пускай себе выздоравливает. Но болезнь его чрезвычайно серьезна и затянется, конечно, надолго. А государственные дела не ждут, мы с тобой дилетанты, и одни с ними не справимся. Значит, на подмогу надо взять человека вполне опытного, государственного.

— О ком это говоришь ты? Уж не об Остермане ли?

— А то о ком же? Миних, бесспорно, отличный полководец, но в гражданских порядках такой же профан, как и мы с тобой. Остерман же в них, по русской поговорке, собаку съел.

— Но он такой неаппетитный! — с брезгливой миной; возразила принцесса.

— То есть как неаппетитный? Напротив того, он известный гастроном: стол у него всегда преотменный...

— Да я не о столе! Он такой неопрятный: вся грудь в пятнах, нос в табаке... Потом, он вечно кашляет, плюется, а вдобавок еще гри-масничает...

— Так кто же заставляет тебя с ним встречаться?

— А то как же?

— Предоставь это мне.

— Тебе?

Анна Леопольдовна вопросительно оглянулась на свою статс-фрейлину.

— Вы забываете, принц, — заметила Юлиана, — что граф Остерман хронически страдает подагрой и кашлем, много лет уже он почти не выезжает из дому.

— Да он не отказывается, я уже зондировал почву.

— Как! Не предупредив меня? — воскликнула принцесса.

— Зачем было тебя, моя милая, понапрасну беспокоить? Но раз он согласен, то ты должна уже лично выразить ему свое желание. Когда ты примешь его?

— Ах, Господи! — вздохнула Анна Леопольдовна. — Все равно... хоть завтра.

— Простите, принцесса, — вмешалась снова Юлиана. — Устранить этак графа Миниха, не переговорив даже с ним, как хотите, совсем неудобно. Вы ему слишком обязаны, и заболел он именно при аресте Бирона.

— Верно-то верно... — тотчас согласилась

принцесса. — Но как же быть-то? Я его ведь не видела...

— Пока он был при смерти, вам, конечно, нельзя было его видеть, но теперь он настолько уже поправился, что доктора позволяют посторонним навещать его.

— Так ты полагаешь, что мне следовало бы самой навестить его?

— Да, ваше высочество, и не откладывая. А так как у вас будет с ним такой деликатный разговор, то, чтобы последним вниманием хоть смягчить впечатление, поезжайте уж к нему со всем вашим штатом.

— Будь так! — вздохнула принцесса. — Завтра же едем.

Хотя больной фельдмаршал был видимо еще очень слаб, однако принял гостей в мундире и стоя. У нерешительной Анны Леопольдовны, пожалуй, так и не достало бы мужества затронуть щекотливую тему об умалении его власти, если бы сам Миних не попросил ее уделить ему несколько минут аудиенции. Вся свита правительницы удалилась, оставив их вдвоем.

Аудиенция продолжалась действительно



не более десяти минут. Но вышла принцесса от своего первого министра пунцовая как пион и, не дав даже другим проститься с хозяином, заторопилась домой. Сидя же в карете вместе с Юлианой и Лили, она дала волю своему негодованию:

— Это невыносимо! Читает мне нотации, точно я малолетняя!

— Да что же он говорил вашему высочеству? — спросила Юлиана.

— Прежде всего он хотел знать, чем я одарила каждого из приближенных людей тетушки. На это я ему сказала, что память тетушки мне священна, и я никому не позволю требовать от меня отчета в этих подарках. Он как будто обиделся, но продолжал допрос, правда ли, что, когда Позье выламывал мне бриллианты из старых ожерельев и браслетов тетушки, я все золото от этих вещей и мелкие бриллианты подарила Позье.

— Вот видите ли, ваше высочество! Я тоже вас тогда останавливала. И что же вы отвечали фельдмаршалу?

— Что все эти вещи вышли из моды, что носить их я все равно бы не стала и что Позье

еще недавно устроил свою собственную мастерскую, так как же было не поддержать его. Тут он стал допытывать, на что я употребила все крупные бриллианты и правда ли, что я велела сделать себе из них новое ожерелье. "Правда, — сказала я, — но у герцогини Бирон одно жемчужное платье стоило 400 тысяч, а бриллиантов она надевала на себя на 2 миллиона, поэтому мне в начале царствования скаредничать не приходится. Но 226 небольших бриллиантов (я нарочно их сосчитала) — прибавила я в скобках, — пошли на украшение образа Грузинской Божией Матери". Возражать против моей набожности он уже не смел, однако все же напомнил мне, что русские финансы сильно потрясены вследствие безрассудной расточительности Бирона и что мне следовало бы быть вообще бережливее. А сам ведь, этот Гарпагон,[18] не отказался принять те семьдесят тысяч на украшение своего дома, которые я ему назначила сверх первых ста тысяч!

Юлиана, одаренная очень щедро, не нашла уже аргументов для защиты корыстолюбия фельдмаршала. Сидевшая же в карете Лили

по своей житейской неопытности прямо брякнула:

— Но ведь старик Миних избавил ваше высочество от Бирона. Так будьте уж с ним снисходительней!

— Из благодарности? А благодарность, по-твоему, приятное чувство? При всякой встрече с человеком повторять себе: "Ты его должница, а потому все его горькие пилюли глотай со сладкой улыбкой". А этого я не могу и не хочу! С кем бы мне еще посоветоваться?

— Ваше высочество дорожите также, кажется, мнением Мардефельда, — заметила Юлиана. — Он в этом вопросе может судить беспристрастнее нас.

— А что ж, и в самом деле. При первом же случае поговорю с ним.

Случай представился 23 декабря, на похоронах усопшей императрицы Анны Иоанновны. Когда прусский посланник барон Мардефельд, подойдя к правительнице, выразил удивление, что не видит фельдмаршала графа Миниха, который, как слышно, почти уже оправился от своей болезни, принцесса пожал плечами и вполголоса спросила:

— А что, барон, скажите-ка мне откровенно: какого вы мнения о фельдмаршале?

Мардефельд быстрым взглядом удостоверился, не может ли его еще кто-нибудь услышать, и отвечал затем, понизив также голос:

— Фельдмаршал ваш достоин всякого уважения: он необыкновенно трудолюбив, имеет редкий талант к военному делу и обладает большим красноречием.

Посланник сделал маленькую паузу.

— Это его положительные качества, — сказала Анна Леопольдовна. — А отрицательные?

— Отрицательные?.. Хотя он бесспорно и умен, но ум у него поверхностный, неглубокий и о государственных делах, о дипломатии у него, по-видимому, самые элементарные понятия...

— Если это говорите вы, барон, такой дипломат... И что же еще?

— Еще... говорили мне, будто он страдает неизлечимой болезнью, которую древние римляне называли *splendida avaritia*. [19]

— А в переводе на обыкновенный язык?

— Пышная скупость.

— Вот это верно! *Avarice splendide*. Он скуп как никто, если дело касается других, а на себя самого пышности и блеску не жалеет. Благодарю вас, барон, от души. Теперь знаю, как поступить.

И в тот же день принцесса объявила супругу-принцу, что готова принять Остермана.

— Давно бы так! — воскликнул Антон-Ульрих. — Теперь мы заведем не ту уже музыку.

— Так первым капельмейстером в государственном оркестре отныне будет принц? — с иронией заметила Юлиана после его ухода. — Ваше высочество все забываете, что за принцем стоит Остерман. Принц будет не более, как ширмой, послушным орудием в его руках. Смотрите, как бы вместо бироновщины не нажать нам остермановщины!

Опасения дальновидной статс-фрейлины вскоре оправдались.

## Глава двенадцатая

# ОСТЕРМАНОВЩИНА

Какими судьбами Остерман, незнатного рода иноземец, достиг одной из высших государственных должностей в России и графского титула, ни для кого при дворе не было тайной. Родившись в 1686 году в Эссене в Вестфалии, в семье бедного лютеранского пастора, Генрих-Иоганн-Фридрих, а по-русски Андрей Иванович Остерман, будучи студентом Иенского университета, имел несчастье убить на дуэли другого студента и бежал в Голландию. Здесь, благодаря своему раннему развитию и образованию, он был взят адмиралом русской службы, голландцем Стрюйсом, в свои личные секретари. Петр Великий, встречая даровитого юношу у Стрюйса, обратил на него внимание и предложил ему место переводчика и толмача в посольской канцелярии. Проходя ряд должностей, Остерман выказал себя искусным дипломатом и в 1721 году за удачное заключение Ништадтского мира был пожалован чином тайного советни-

ка и званием барона да, сверх того, был награжден еще щедро деньгами и поместьями. Когда новый барон, в числе других награжденных, предстал перед великодушным монархом, чтобы принести свою всенижайшую благодарность, Петр его обнял, расцеловал и вызвался быть его сватом:

— Ну, Андрей Иваныч, теперь ты и знатен и богат. Но в России у нас ты все же не свой еще человек: нет у тебя именитых родственных связей. Хочешь, я сосватаю тебе знатную невесту?

Остерман отвечал, что был бы безмерно счастлив. Так ему была сосватана красавица дочь богача стольника, родственного с царским домом, Марфа Ивановна Стрешнева, которая затем, в 1725 году была пожалована Екатериной I в ее статс-дамы. Сам барон Остерман в том же году был назначен вице-канцлером, а потом и обер-гофмейстером великого князя Петра Алексеевича (с 1727 года императора Петра II), с воцарением же Анны Иоанновны возведен и в графское достоинство. Многообразные перемены в высших сферах не поколебали его положения при дво-

ре, а почему? — всего виднее из отзывов о нем некоторых, знавших его лично, современников.

"Граф Остерман, — характеризует его в своих «Записках» Манштейн, — был, бесспорно, одним из величайших государственных людей своего времени. Он подробно изучил и отлично понимал политику всех европейских государств. Быстрота соображения и обширный ум соединялись в нем с редким трудолюбием и способностью скоро и легко работать. Бескорыстный и неподкупный, он никогда не брал подарков от иностранных дворов без разрешения русского правительства. Однако, с другой стороны, он был слишком недоверчив и подозрителен, не терпел не только высших, но и равных себе, если они в чем-либо его превосходили... В затруднительных обстоятельствах он избегал высказывать свое мнение и обыкновенно притворялся больным. Благодаря такой тактике ему удалось удержаться при шести разных правительствах. Он имел особенную манеру выражать свои мысли, так что немногие могли похвалиться, что понимали его. Часто иностранные послы,



после продолжительной беседы с ним, уходили из его кабинета, не узнав ровно ничего. Все, что он говорил или писал, можно было понимать двояким образом. Хитрый и скрытный, он умёл владеть собой и, если встречалась в том надобность, мог казаться растроганным до слез. Он никогда не смотрел ни на кого прямо, опасаясь, чтобы глаза не выдали его душевных помыслов".

Еще резче относительно отрицательных качеств Остермана выражался тогдашний французский посланник при нашем дворе, маркиз де ла Шетарди:

"Граф Остерман слывет за самого хитрого и двуличного человека в целой России. Вся его жизнь есть нечто иное, как постоянная комедия. Каждый решительный переворот в государстве доставляет ему случай разыгрывать различные сцены, занятый единственно мыслью удержаться на месте во время частых дворцовых бурь, он всегда притворно страдает подагрой и судорогой в глазах, чтобы не быть обязанным пристать к какой-либо партии. Тишина в правительстве есть для него лекарство, возвращающее ему здоровье".

Что Остерман действительно страдал застарелой подагрой, едва ли подлежало сомнению. Но он перемог свои телесные недуги, чтобы явиться на призыв правительницы.

— Мне совестно, граф, что побеспокоила вас, — начала принцесса (по обыкновению, по-немецки). — Но когда выздоровеет фельд-маршал Миних, — одному Богу известно, а у меня столько вопросов... Присядьте, пожалуйста.

— Я всегда к услугам вашего высочества, — отвечал Остерман, опускаясь в кресло и, от сопряженной с этим болью в ногах и пояснице, невольно закричал и скорчил обычную свою гримасу. — Какой вопрос вас прежде всего интересует?

— Прежде всего, конечно, штат малолетнего императора. Я поручила уже Левенвольде разработать этот штат, но сама я в этом так неопытна, что попросила бы вас помочь мне.

— Не замедлю переговорить с обер-гофмаршалом. Затем следующий вопрос?

— Следующий... У меня их так много... Ах, да! Вот что: Бирон все еще в Шлиссельбурге?

— В Шлиссельбурге. Верховный суд над

ним и его сообщниками еще не окончен.

— А его, вы думаете, строго осудят?

— Сколько до меня доходили слухи, его ожидает смертная казнь.

Анна Леопольдовна перекрестилась.

— О, Бог мой! Разве он так уж виноват? Нельзя ли как-нибудь смягчить его участь?

— От вашего высочества будет в свое время зависеть именем вашего державного сына уменьшить наказание.

— До какой степени?

— До ссылки в Сибирь.

— Но и в ссылке жить ведь ужасно! Оба они — и герцог и герцогиня так привыкли к комфорту...

— Все, что возможно будет сделать в этом отношении, ваше высочество, будет сделано.

— Назначьте им порядочную сумму на содержание, дайте им с собой людей, к которым они привыкли, и непременно двух поваров.

— Двух?

— Да, на случай, что один захворает. Герцог такой ведь охотник хорошо поесть. Потом и насчет духовной пищи, вся семья его ведь лютеране. А в Сибири вряд ли найдется люте-

ранский пастор.

— Мы дадим им отсюда с собой и пастора.

— Как я вам благодарна, граф! Теперь я, по крайней мере, буду спокойна.

— У вашего высочества есть еще вопросы?

— Это были два главных. Теперь скажите мне, как нам быть с государственными делами во время болезни нашего первого министра?

Остерман, казалось, только и ожидал этого вопроса. Открыв свою золотую табакерку с портретом покойной императрицы и угостив себя доброй понюшкой, он чрезвычайно тонко, но вразумительно развил мысль о том, что как внутренние, так и внешние интересы России и всего русского народа могут пострадать непоправимо вследствие болезни главы кабинета.

— Вам, граф, конечно, лучше судить, чем мне, — проговорила Анна Леопольдовна, отодвигаясь со своим креслом, когда ее собеседник, отерев нос, встряхнул пропитанным табаком фуляром. — Но ваша подагра лишает вас возможности часто выезжать из дому для личных мне докладов. Не укажете ли вы мне

какого-нибудь посредствующего между нами лица?

Принцесса втайне, быть может, надеялась, что у Остер-мана есть все-таки в виду еще какой-нибудь другой подходящий кандидат, кроме Антона-Ульриха, но Остерман, не задумываясь, назвал ей принца-супруга, и она скрепя сердце выразила свое согласие.

Антон-Ульрих принадлежал к числу тех малоодаренных людей, которые очень туго усваивают чужие мысли, но, раз их усвоив, твердо уже уверены в своей правоте и держатся «своего» мнения с непоколебимым упорством. Если же кто смотрит на дело с другой точки зрения, то его и слушать не стоит: он все равно ведь не прав.

Нечего, конечно, удивляться, что принц-посредник в самое короткое время совершенно подпал под влияние хитроумного и льстивого дипломата, умевшего всякому делу придать такой оборот, будто бы первая мысль блеснула в собственном мозгу Антона-Ульриха. В совещаниях их принимали нередко участие третий кабинет-министр князь Черкасский и вице-канцлер граф Головкин. Но те

только поддакивали Остерману. А в заключение всякого такого совещания, подобно Катону, не пропускавшему ни одного заседания в римском сенате без своей исторической фразы: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("впрочем, Карфаген, я полагаю, должен быть разрушен"), Остерман устами принца приходил к одному неизменному выводу: "А Миниха все-таки следовало бы убрать!"

К середине января нового, 1741 года здоровье фельдмаршала настолько уже окрепло, что позволяло ему заниматься опять обычными делами, принимать на дому у себя своих сочленов по кабинету. Вдруг курьер привозит ему именной указ: впредь по всем делам сношаться с генералиссимусом, принцем Антоном-Ульрихом, да не простыми письмами, как было до сих пор, а по строго установленной форме.

Для Миниха не могло быть сомнения, с чьей стороны нанесен ему этот удар: от своего сына, обер-гофмейстера правительницы, он уже слышал, что Остерман, по годам не являвшийся при дворе, имел аудиенцию у

принцессы, а затем ежедневно совещается у себя с ее супругом.

— Дайте мне только встать на ноги, — говорил старик, — повидаться опять с самой принцессой...

Но еще до того, 28 января, ему был прислан новый указ о том, чтобы каждому министру заведовать только своею частью: так "первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху, ведать все, что касается до всей сухопутной полевой армии, всех иррегулярных войск, артиллерии, фортификации, кадетского корпуса и Ладожского канала, рапортуя обо всем том герцогу брауншвейг-люнебургскому".

В разъяснение же такого указа он узнал от Юлианы Менгден, как относится к нему принц Антон-Ульрих, заявлявший во всеуслышанье, что хотя он, принц, и чувствует себя в некотором долгу у фельдмаршала, но не намерен преклоняться перед ним, как перед верховным визирем, а будет держать его и в военном деле под своей командой.

Глубоко оскорбленный фельдмаршал велел заложить себе карету, облекся в мундир

со всеми регалиями и поехал в Зимний дворец. Но правительница его даже не приняла, извиняясь недосугом, и адресовала его к своему супругу, который, дескать, во все дела посвящен лучше ее самой.

— Всему есть мера! — заявил тут Миних своим домашним. — Не будет меня, так они поймут, кого лишились.

И он послал во дворец прошение об отставке. Анна Леопольдовна была этим немало смущена, особенно перед Минихом-сыном, своим обер-гофмейстером. Она назначила фельдмаршалу определенный день и час для личных объяснений, встретила его очень приветливо и стала упрашивать ради Бога не оставлять ее, так как она чрезвычайно дорожит его опытностью и в дипломатии.

— Если я поручила ведать иностранные дела графу Остерману, — говорила она, — то затем только, чтобы облегчить вас: ведь военные ваши дела и без того займут у вас весь день.

Миних сдался, но под условием, чтобы ему не только *считаться* первым министром, но и *быть таковым на самом деле с подчинени-*



*ем ему всего кабинета.*

— Хорошо, хорошо... — согласилась правительница. — Дайте мне только немножко подумать.

"Подумать", однако, она предоставила опять-таки Остерману, а тот, «подумав» вместе со своими сообщниками, доложил, что при допросе в тайной канцелярии один из солдат, участвовавших при аресте герцога Бирона, проговорился, будто бы Миних подбил их, солдат, к этому предприятию призывом возвести на престол цесаревну Елизавету.

— Ну, я этому не поверю! — воскликнула принцесса.

— А я верю, — отозвался присутствовавший, по обыкновению, при докладе Остермана Антон-Ульрих.

— Не поверю, не поверю! — повторила Анна Леопольдовна. — Это клевета на моего верного Миниха, на мою добрую тетю Лизу.

— За что купил, за то и продаю, — сказал со всегдашней своей льстиво-почтительной уклончивостью Остерман. — Как относится к этому вопросу сама цесаревна, — мне, конечно, не известно. Знаю одно, что, когда выпу-

стили на днях из крепости заключенного туда покойного государыней вольнодумного архиеерея Феофилакта Лопатинского, — цесаревна навестила его на Новгородском подворье...

— Но освободили его ведь по моему же указу? А тетя помнит несчастного Лопатинского еще со времен своего отца.

— М-да. Он так и отвечал ей на вопрос, узнает ли он ее: "Ты — искра Петра Великого!" Цесаревна же заплакала и дала ему на лекарство триста рублей.

— А я дала бы шестьсот!

— Великодушие вашего высочества не знает границ. Оставимте пока в покое цесаревну и возвратимся к фельдмаршалу. Будучи сам искусным полководцем, он преклоняется перед военным гением прусского короля, Фридриха II, это, положим, понятно. Но, спрашивается, почему король, который, как известно, до скупости бережлив, посылает ему то и дело весьма ценные подарки?

— Вы, граф, слишком подозрительны. Ведь вот и моя Юлиана получила недавно от прусской королевы портрет с бриллиантами. Неужели отказываться от подарков столь вы-

соких друзей?

— По крайней мере, затруднительно, согласен. Но король Фридрих не далее как в декабре затеял войну из-за Шлезвига с императрицей австрийской Марией-Терезией...

— Покровительницей нашего брауншвейгского дома! — подхватил Антон-Ульрих. — Война самая неспра-пра-пра-праведливая...

— Ты-то хоть не мешайся с твоими комментариями! — досадливо перебила его супруга. — Граф прекрасно может обойтись и без них.

— Не будем входить теперь в обсуждение вопроса о том, которая из двух воюющих сторон стоит на более законной почве, — продолжал Остерман. — Вопросы войны решаются мечом, кто победит, тот и прав. Но при своем пристрастии к прусскому королю граф Миних может настоять на том, чтобы мы двинули наши войска на помощь пруссакам...

— На это-то я никогда не соглашусь! — вскричала Анна Леопольдовна.

— Теперь, принцесса, вы так думаете, потому что слышали только что резоны вашего августейшего супруга и вашего покорного

слути. А выслушаете Миниха, и поддадитесь его доводам. Характер у вас ведь мягкий, как воск...

— Но как же мне не выслушать сперва фельдмаршала?

— Чего еще выслушивать человека, который сам просится в отставку! — вмешался опять Антон-Ульрих. — Или ты тоже в заговоре с Фридрихом против покровительницы нашего брауншвейгского дома?

— Перестань с твоими глупостями!

— Итак, — заговорил снова Остерман, — ваше высочество тоже не можете не признать, что граф Миних, по глубокой приязни своей к королю прусскому, весьма опасен на высоком посту первого министра. А так как он и по внутренним делам государства не только не торопится, как подобало бы верно-подданному, исполнять все приказания ваши и принца-генералиссимуса, но, вопреки им, издает еще свои собственные приказы, то дальнейшее пребывание его на настоящем посту опасно и для блага России. Раз он подал по собственному побуждению просьбу об отставке, то нет ничего проще, как удовлетво-

рить его просьбу.

— Так вы, в самом деле, думаете?.. Но как же это сделать возможно деликатнее?

— Делается это по установленной форме. Вот, извольте видеть, его прошение. Вам надо надписать тут наверху одно только словечко: "Согласна".

Говоря так, Остерман обмакнул перо в чернила и подал его принцессе. В последний раз тихонько вздохнув, она приняла перо и надписала на прошении фельдмаршала знаменательное словечко.

Но честолюбивому принцу брауншвейгскому и этого показалось мало, чтобы вконец принизить ненавистного ему фельдмаршала, он, как генералиссимус, не предупредив даже принцессы, приказал указ об увольнении первого министра читать народу на всех столичных перекрестках с барабанным боем.

Нечего говорить, как такое публичное оскорбление должно было возмутить престарелого славного воина, а также всех его родных, в том числе и молодую его невестку, родную сестру Юлианы Менгден. Юлиана не преминула представить дело принцессе в воз-

можно ярком свете. Последствием была крупная семейная сцена между правительницей и ее супругом, который после этого целую неделю избегал быть с нею с глазу на глаз. Для смягчения нанесенной почтенному старику без ее ведома обиды Анна Леопольдовна со своей стороны предложила сенату извиниться перед фельдмаршалом за принца через особую депутацию из трех сенаторов, а потом, 16 февраля, сама побывала у него на "пребогатом трактаменте".

Таким образом, против самой правительницы у устранившегося из кабинета фельдмаршала не могло быть уже особенного недовольствия. Вдохновитель же Антона-Ульриха, Остерман, остался как бы вовсе в стороне. С этого времени никто не стоял уже на его пути. Номинально государством правила принцесса Анна, в действительности же регентовствовал Остерман. На смену бироновщины, наступила остермановщина, далеко не столь жестокая, конечно, но столь же чуждая всему русскому.

## Глава тринадцатая

# СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ

Сама правительница почти не испытывала на себе отрицательных сторон остермановщины, государственными заботами ее беспокоили лишь постольку, поскольку для проведения какой-либо коренной реформы или для исполнения судебного приговора требовалась ее санкция и собственноручная резолюция. Каждое такое дело докладывалось ей, правда, на словах, но то была одна формальность: слушала принцесса, как говорится, краем уха и, зевая в руку, нередко прерывала доклад совсем не идущими к делу вопросами. Очевидно, мысли ее витали еще в пределах того рыцарского романа, при чтении которого застал ее докладчик. По окончании же доклада она со вздохом облегчения располагалась на одной из своих четырех кроватей и раскрывала опять свой роман. Но и тут мысли ее не надолго сосредоточивались на фантазиях автора: дочитает главу и зажмурит глаза, чтобы предаться собственным уже грезам.

Среди этих фантазий и грез, как в сказочном дворце спящей царевны, жизнь кругом как бы замерла. Великий пост в 1741 году начался очень рано — 9 февраля, а потому о каких-либо придворных балах и спектаклях не было и помину. По вечерам устраивалась карточная партия, но в самом тесном кругу.

Между тем среди этой наружной тишины в придворном мире начали ходить разные тревожные слухи. Чуткая к ним наперсница принцессы, Юлиана Менгден, не преминула обратить на них внимание своей госпожи:

— Позвольте, ваше высочество, занять вас сегодня немножко политикой...

— Опять эта политика! Политика! Политика! — проговорила Анна Леопольдовна скучающим тоном, и мускулы рта ее невольно подернуло зевотой. — Это буря в стакане воды.

— А наша жизнь теперь что такое? Стакан воды без бури. Но, не дай Бог, если вдруг налетать буря и опрокинет весь стакан!

— Ты, милая Юлиана, начинаешь, кажется, тоже фантазировать. Откуда взяться у нас буре?

— А ваше высочество не находите разве



странным, что цесаревна Елизавета третий месяц уже к нам глаз не кажет?

— Что же в этом странного? Ей, как и мне, в Великом посту не до развлечений, она охотнее сидит дома...

— То-то вот, что она каждый день, слышно, разъезжает по гвардейским казармам, беседует с солдатами запросто как родная мать, угощает их, обдаривает их жен, крестит у них детей, и вся гвардия давно уже величает ее не иначе как матушкой-цесаревной.

— Да, она умеет привлекать к себе все сердца.

— И отвлекать от вас.

— Ты что этим хочешь сказать, Юлиана?

— Цесаревна, ваше высочество, не забудьте, дочь Петра Великого...

— А я — внучка его старшего брата! Нет, она-то против меня наверное ничего не предпримет.

— Нет дыма без огня. Недаром супруг ваш намерен, говорят, заточить ее в монастырь.

— Опять эти глупые придворные сплетни! Да если бы у него и явилась такая дикая мысль, то я этого ни за что не допущу.

— Покуда вы еще регентша.

— Что-о-о?!

— Ведь сам принц говорил вам, что думает принять православие.

— Да, и я очень этому рада. Сама я ведь православная, а супругам всегда лучше быть одной религии.

— Положим. Но переменить религию он хочет, говорят, вовсе не по внутреннему убеждению, а по настоянию Остермана.

— Да тому-то какое дело?

— Чтобы укрепить власть принца, когда он станет регентом.

— Ну, этому не бывать! — воскликнула правительница, выведенная наконец из своей апатии. — Но мне все еще как-то не верится...

— Так для чего же принц, скажите, бывает теперь ежедневно в сенате? Он готовится, очевидно, к роли регента.

— Нет, этому не бывать! — повторила принцесса. — Я просто запрещу ему ездить в сенат.

В тот же день между ней и Антоном-Ульрихом произошло опять довольно крупное

объяснение. Принц отрекся от возводимых на него напраслин и в заключение выговорил себе право ездить в сенат хоть два раза в неделю, чтобы не лишиться своего авторитета генералиссимуса.

Доверчивая Анна Леопольдовна могла погрузиться снова в свое сонное царство. Разбудил ее вторично в начале апреля месяца приговор верховного суда над Бироном и его сообщниками. Приговором этим сам Бирон и его бывший кабинет-министр Бестужев-Рюмин присуждались к четвертованию с отнятием в казну всего имущества движимого и недвижимого. Но правительница, именем малолетнего императора, заменила им смертную казнь пожизненной ссылкой: Бирону — в захолустный городок Тобольской губернии Пелым, а Бестужеву — в его родовую пошехонскую вотчину. Разжалобившись, она готова была оставить Бирону и его имущество, но лично докладывавший ей дело Остерман объявил, что такая поблажка государственному преступнику была бы беспримерна, что, со своей стороны, он, Остерман, сделает все, что угодно ее высочеству для облегчения положе-

ния ссыльных: из сибирских доходов им будет назначено суточных по 15 рублей в день, а для личных услуг с ними отправляются в Пелым: два лакея, две женщины (арапка и турчанка), два повара и пастор.

— Вот за это я вам душевно благодарна, — сказала принцесса. — А пятнадцать рублей суточных, вы полагаете, им будет достаточно?

— За глаза, ваше высочество, — уверил Остерман. — В Сибири жизнь ведь необычайно дешева.

Но сам Бирон потревожил еще раз ее сказочный сон. В озлоблении на главных виновников его свержения и осуждения, он, при допросе, выгораживая себя, не посовестился припутать и их к своему процессу. Так была им набросана тень на фельдмаршала Миниха (аттестованного им как "персона, к российским честным людям и ко всей нации весьма злая"), на кабинет-министра князя Черкасского, на начальника канцелярии тайных розыскных дел генерала Ушакова, на обер-шталмейстера князя Куракина, на генерал-прокурора князя Трубецкого, на обер-гоф-

маршала графа Левенвольде и на президента коммерц-коллегии барона Менгдена. Всем им грозило судебное преследование.

— Да неужто ж я окружена одними злодеями! — ужаснулась Анна Леопольдовна, когда Остерман доложил ей оговоры Бирона.

— Не злодеями, ваше высочество, а людьми, — отвечал Остерман. — Все мы люди, все не безошибочны. Все зависит от освещения ошибок.

Находясь сам в добрых отношениях со всеми оговоренными, кроме устраненного уже и безвредного для него Миниха, он сумел представить их ошибки в таком благоприятном свете, что правительница тотчас согласилась не привлекать виновных к ответственности. Но Остерман признал все-таки неизлишним в высочайшем указе о том подчеркнуть их вину: "Хотя по оным явным обличениям, по силе прав государственных, надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям и опасном всей нашей Российской империи деле вконец доследовать, однако мы по природному нашему великодушию из высочайшей нашей императорского величества

милости, вас во всем том прощаем, в том уповании, что впредь, по должности своей данной нам присяги, верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете".

Тут кроме острастки в будущем, прощенные, знавшие, конечно, кем редактировался указ, могли прочесть между строк: "Вот от кого ожидайте впредь и гнева и милости!"

А Анна Леопольдовна читала между тех же строк: "Вот кто стережет мой покой от врагов явных и тайных!"

И вдруг этот сладостный покой спящей царицы был нарушен — нарушен грезой наяву.

## Глава четырнадцатая

### ГЛАВА ИЗ РЫЦАРСКОГО РОМАНА

Дружественный трактат, заключенный русским правительством с королем прусским Фридрихом II, причинял немало хлопот венскому двору, и австрийский посланник в Петербурге, маркиз Ботта, тщетно напрягал все свое дипломатическое искусство к расторжению этого трактата. Взошедшая полгода назад на австрийский престол молодая императрица Мария-Терезия нашла к той же цели другой путь — чисто женский: где не имела успеха сила ума, там могла убедить еще логика сердца. Пять лет перед тем курфюрст саксонский и король польский вынужден был отозвать из Петербурга своего посланника, графа Карла-Морица Линара, присутствие которого признавалось небезопасным для душевного спокойствия семнадцатилетней наследницы российского престола, принцессы Анны Леопольдовны. Кто же, как не тот же Линар, мог бы всего вернее склонить ее теперь к перемене политики России? И вот, по

тайному соглашению дворов, венского и дрезденского, посланником от этого последнего двора в Петербург в апреле 1741 года был неожиданно вновь назначен Линар.

При получении известия об этом Анну Леопольдовну, несмотря на ее лимфатическую натуру, охватило такое волнение, что ее первая советчица и первый друг Юлиана Менгден предложила ей дать конфиденциально знать Линару, что его прибытие в Петербург не желательно.

— Как не желательно! — воскликнула принцесса. — Я пять лет только и мечтала о том...

— Мечты и жизнь, ваше высочество, — две вещи разные, особенно для августейших особ. На вас, временную правительницу и мать царствующего императора, обращены взоры всей России, всей Европы...

— Ах, Юлиана! Мы говорим с тобой на разных языках. Какое дело России и Европе до идеального рыцарского романа...

— До замужества вашему высочеству было еще более или менее простительно мечтать о рыцарском романе. Теперь вы замужем и



мать царя...

— Ты, милая, я вижу, не имеешь ни малейшего понятия о том, что такое настоящий рыцарский роман. Каждый средневековый рыцарь выбирал себе на всю жизнь одну даму сердца, будь то незамужняя девица или замужняя женщина — все равно. Она была, так сказать, его мадонной, которой он поклонялся, которую вдохновлялся на свои рыцарские подвиги, с именем которой на устах умирал на турнире и в бою. Линар такой же средневековый рыцарь, рыцарь без страха и упрека. Мне стоит только закрыть глаза, как я вижу его уже плывущим на ладье по Рейну, сама я стою на высокой-превысокой башне рыцарского замка и машу ему с вышины платком, а он снизу машет мне в ответ своим пернатым шлемом.

— Теперь он, значит, будет плыть по Неве мимо Зимнего дворца, а вы будете ему махать платком с балкона? — не утерпела подшутить над мечтательницей Юлиана. — На беду, только Нева у нас на всю зиму замерзает. Правда, он может ездить мимо и на санях, но ваше высочество, выходя в мороз на балкон,

рискуете схватить насморк, а то и воспаление легких.

— В твоей душе, Юлиана, нет ни капельки романтизма! Я буду видеть его только при высочайших выходах и других торжественных случаях.

— Только?

— Чего же больше? Но чтобы тебя совсем успокоить, хочешь, я женю его на тебе?

— Что за шутки, принцесса!

— Нет, без всяких шуток. Женат он или нет, для меня решительно безразлично, да и для него тоже. Он останется моим верным падином, а я — его мадонной. Тебе же лучшей партии, право, не найти. Или он тебе не нравится?

— Как не нравится! Он, можно сказать, писанный красавец...

— Ну, вот. Я же, по крайней мере, буду гарантирована, что он останется при нашем дворе.

Несколько дней спустя новый саксонско-польский посланник представил правительнице свои верительные грамоты на официальном приеме. Теперь и Лили Врангель,

находившаяся в свите принцессы, имела случай воочию увидеть этого средневекового рыцаря и писаного красавца.

Линару было уже тридцать восемь лет, но, благодаря своим светлым, с рыжеватым оттенком, волосам, женственно-нежному цвету кожи и стройному, гибкому стану, он казался молодым человеком. При разговоре с правительницей, он умел придавать своим аристократическим чертам, своим зеленовато-серым с поволокой глазам такую благородную томность, своему мягкому голосу такую вкрадчивую почтительность, что самые обыкновенные фразы в его устах приобретали как будто таинственный смысл.

— После столь долгого отсутствия вы, граф, не скоро привыкнете опять к нашему гиперборейскому климату, — заметила Анна Леопольдовна.

— Мысленно, ваше высочество, я все эти годы был в Петербурге, — отвечал Линар.

Но как это было сказано! С каким взмахом светлых, но длинных ресниц!

— Зиму вы, конечно, проводили в самом Дрездене, — продолжала принцесса, — но ле-

то, вероятно, в Саксонской Швейцарии? Ведь у вас там, есть, кажется, родовой замок?

Имелось ли у него там нечто подобное или ему не хотелось на первых же порах разочаровать правительницу, но он отвечал, что у него действительно есть близ Шандау на возвышенном берегу Эльбы старинный дом, который издали очень похож на рыцарский замок.

Анна Леопольдовна метнула на Юлиану торжествующий взгляд.

— То-то мне помнилось! И зубчатую стену омывает внизу бирюзовая Эльба...

Полет ее фантазии был неожиданно прерван прозаическим возражением принца Антона-Ульриха:

— Не бирюзовая, мой друг, а желтая, недаром говорят: "Elbe die gelbe-be-be".[20]

Досадливое движение плечами было единственным ответом принцессы на непрошеное вмешательство заики-супруга.

— А здесь, в Петербурге, граф, — обратилась она снова к Динару, — вы нашли уже себе подходящее пристанище?

— Самое подходящее: целое лето я буду

иметь счастье дышать одним воздухом с вашим высочеством.

Горевший уже на щеках Анны Леопольдовны румянец вспыхнул еще ярче.

— Я вас, граф, не совсем понимаю...

— Мои окна выходят как раз на Летний сад, откуда ко мне будут доноситься благоухания ваших цветов и песни ваших птиц.

— Нынешнее лето, граф Линар, наслаждаться этим вам придется во всяком случае уже без нас, — сухо заметил опять Антон-Ульрих. — С прошлого года мы с принцессой проводим лето в Петергофе...

— Вопрос этот, мой милый, окончательно еще не решен, — прервала его молодая супруга.

— Как не решен? Сделаны уже все распоряжения...

— Всякое распоряжение может быть отменено. Все зависит оттого, какое будет лето.

Ждать до лета принцесса, однако, не нашла нужным. Как только откланялся посланник и сама она возвратилась в свои покои, к ней был вытребован ее обер-гофмейстер, Миних-сын.

— Вот что, милый граф, — обратилась она к нему, — в январе месяце вы докладывали мне о каком-то донесении скульптурного мастера Цвейгофа...

— Ваше высочество интересовались тогда мраморной статуей "Виктория против турок и татар", которую поручено сделать Цвейгофу, — отвечал Миних. — Белый мрамор для нее еще в прошлую навигацию выписан из Амстердама...

— Про эту статую я, признаться, уже забыла. Нет, Цвейгоф доносил о каких-то повреждениях в Летнем саду. Нельзя ли разыскать это дело?

— Сию минуту.

Дворцовая контора помещалась в нижнем этаже Зимнего дворца, и потому молодой обер-гофмейстер уже через несколько минут возвратился с подлинным донесением скульптурного мастера.

— Прикажете прочитать, ваше высочество, что доносит Цвейгоф?

— Да, будьте добры.

Летний сад состоял из трех отдельных садов, из которых первые два, украшенные ста-

туями, гротами были открыты для публики; третий же, находившийся на месте нынешнего Инженерного замка с его садом, служил для разведения фруктов и овощей для высочайшего стола, почему доступа туда посторонним лицам не было. Донесение Цвейгофа касалось двух первых садов, в которых, как оказалось, "в летнее время ходят множество всякого чина люди и ломают своевольно у статуй персты и прочие мелкие вещи, а в зимнее время не токмо всякого подлого народа ходят множество денно и ношно, но и ездят на лошадях в санях и тем ломают и повреждают у оных статуй мелкие вещи, также похищали чехлы и мешки".

— Что за безобразие! — возмутилась принцесса, выслушав донесение. — И что же предпринято против этого?

— Тут есть резолюция: "Доложено ее высочеству правительнице. Повелено: оставить без движения впредь до особого приказания".

— Ну да, ну да... — пробормотала Анна Леопольдовна. — Я предполагала тогда провести все нынешнее лето в Петергофе, а при отсутствии моем всякие починки были бы беспо-

лезны: наш варварский народ за лето все опять перепортил бы...

— А теперь ваше высочество изменили ваше намерение?

— Да, на этой же неделе я переезжаю в Летний дворец и прошу вас, милый граф, сказать об этом Цвейгофу да и садовому мастеру Массе, чтобы к моему переезду все было там в исправности.

Три дня спустя высочайший двор действительно переселился на летнее пребывание из Зимнего в Летний дворец.

Хотя у Анны Леопольдовны, согласно новому придворному штату, и было теперь семь фрейлин, но ее confidentки — Юлиана Менгден и Лили Врангель — по-прежнему пользовались ее особенным расположением и доверием. В самый день своего переезда в Летний дворец она в их обществе совершила прогулку по всему Летнему саду.

Весна 1741 года была ранняя, погода теплая и солнечная. Поэтому, несмотря на начало мая, аллеи в двух первых садах почти совсем уже просохли, деревья кругом покрылись зеленым пухом, со всех сторон раздава-



лось щебетанье лесных пташек, а домашние водяные птицы весело плескались в прудах. Полною грудью вдыхая живительный весенний воздух, Лили с сладостной грустью вспоминала о своих детских годах, проведенных в деревне. Принцесса же и Юлиана более интересовались практическими вопросами: приделаны ли уже отбитые у статуй носы и пальцы и починен ли в большом гроте обер-мастером колокольной игральной музыки Ферстером орган, приводившийся в действие водою из большого пруда.

Вообще неохотница до всякого моциона Анна Леопольдовна, к удивлению Лили, распространила на этот раз свою прогулку и на третий сад, хотя там, кажется, нечем было любоваться. Между грядами там и сям стояла еще вода, но правительница мужественно шагала все вперед, пока не дошла до садовой ограды у Симеоновского моста.

— Так вот где он устроился... — проговорила она, мечтательно засматриваясь на двухэтажный каменный дом с открытым балконом, уставленным пальмами и другими цветущими растениями.

В это самое время растворилась дверь балкона, и среди пышной зелени показался Линар в элегантном утреннем костюме.

Увидев принцессу, он отвесил ей глубокий поклон, она же, кивнув в ответ, тотчас повернулась к нему спиной и без оглядки ускоренными шагами пошла. Завернув за угол оранжеи, она схватилась рукой за сердце и остановилась.

— Что с вами, ваше высочество? — спросила озабоченно Юлиана.

— Так... сердцебиение. А у тебя самой разве нет?

Весь день затем Анна Леопольдовна была задумчивее обыкновенного, а вечером вызвала к себе опять молодого Миниха и просила его прислать к ней на другое утро придворного архитектора Растрелли.

— Вашему высочеству угодно сделать какую-нибудь перестройку в этом дворце? — спросил Миних.

— Н-нет... Я построю для себя новый Летний дворец.

— Но ведь и этот еще прочен?

— Да стоит-то не там, где мне хочется.

На следующее утро принцесса вместе с архитектором направилась снова в третий сад.

Знаменитый итальянский зодчий, богато одаренный творческим воображением, узнав, что ей желательно, наметил тут же место для нового дворца в несколько этажей с отдельной каменной кухней, флигелем для придворной прислуги и с гауптвахтой и живой рукой набросал на бумагу общий вид главного здания с изящной балюстрадой, с тремя фронтисписами и разными аллегорическими фигурами.

— Прелестно, прелестно! — восторгалась Анна Леопольдовна. — Вы, синьор Растрелли, истинный художник! У меня была бы к вам еще только маленькая просьба...

— Приказывайте, принцесса.

— Вот тут над крышей не выстроите ли вы мне зубчатую башню?

— Башню, да еще зубчатую! — ужаснулся Растрелли.

— Да, на манер, знаете, древних рыцарских замков.

— Нет, ваше высочество, это невозможно.

— Почему же нет?

— Положительно невозможно! Это противоречило бы общему стилю дворца.

— Ну, сделайте это в виде особого мне одолжения.

— И в виде особого одолжения, простите, не сделаю. Репутации моей я не смею портить антихудожественной постройкой. Лучше поручите уж дело кому-нибудь другому.

— Ах ты Господи! Какой вы, право, упрямый. Да понимаете ли, башня эта мне необходима, совершенно необходима!

— Для чего? Осмелюсь спросить.

— Для чего!.. Да видите ли... мне хотелось бы иметь сверху полный кругозор...

— Так я поставлю вам лесенку к верхней балюстраде. Оттуда можно будет видеть во все стороны.

— И через ту вон ограду?

— Разумеется, вниз по Фонтанке до самой Невской перспективы.

— А башни мне вы так-таки и не сделаете?

— Ни за миллион рублей, принцесса.

Анна Леопольдовна подавила глубокий вздох.

— Ну, что же делать, если вы так жестоко-

серды! Устройте мне хоть лесенку.

На другой же день Растрелли получил от дворцовой конторы формальное предписание приступить к возведению нового дворца с крайним поспешением. Еще через день в третьем саду появились землекопы, а там стал подвозиться и строительный материал.

Не проходило с этих пор дня, чтобы правительница не совершила прогулки по третьему саду, сопровождали ее две фрейлины-фаворитки. У ворот туда был поставлен часовой, который не пропускал никого постороннего.

9 мая у фельдмаршала Миниха, по случаю дня его рождения, был большой бал с итальянским концертом, а 11 мая — у Миниха-сына крестины новорожденной дочери. Старику Анна Леопольдовна послала золотую, осыпанную бриллиантами табакерку, а на крестины откомандировала своего супруга, выразив согласие быть вместе с ним восприемницей новорожденной, нареченной по обоим Анной-Ульрикой. Сама же она не тронулась из дворца. Кроме романов да карт, ее занимала теперь, казалось, только новая постройка. За ломберным столом ее обыкновен-

ными партнерами были прежде принц Антон-Ульрих и два посланника: австрийский — Ботта и английский — Финч. В середине мая явился еще новый партнер — саксонско-польский посланник, граф Линар, и с этого дня ни одна партия не обходилась уже без него. Но вел он себя вполне по-рыцарски, не позволяя себе никаких отступлений от придворного этикета, если же временами и вскидывал с карт свои выразительно томные взоры, то останавливал их на принцессе на один лишь миг, а затем вперял их уже на целую минуту, если не более, в устремленные на него глаза Юлианы, стоявшей неотступно за креслом своей госпожи. В июне месяце такая тактика стала для всех понятной: Линар просил руки Юлианы, и она, не задумываясь, дала ему свое согласие. До официального обручения, которое должно было состояться в августе, жених встречался с невестой в третьем саду, принцесса же гуляла, обыкновенно, от них отдельно, вдвоем с Лили.

— Как я довольна! — высказалась она ей как-то. — Смотри, как они оба счастливы!

— А он все-таки остается еще вашим рыца-

рем? — спросила Лили.

— Без страха и без упрека! У него ведь свой рыцарский девиз:

*A Dieu mon âme,  
Ma vie au roi,  
Mon coeur aux dames,  
L'honneur pour moi!*[21][22]

## **Глава пятнадцатая В ОБРУЧИ И В ГОРЕЛКИ**

День тезоименитства малютки-императора Иоанна Антоновича 24 июня праздновался в Летнем дворце большим банкетом, к которому была приглашена и цесаревна Елизавета. За полчаса до банкета явился один из ее камер-юнкеров, Пьер Шувалов, с извещением, что по внезапному нездоровью цесаревна, к сожалению своему, быть не может. Более самой принцессы была огорчена этим Лили Врангель, потому что цесаревну сопровождала всегда Аннет Скавронская. Когда наступил момент вести дам к столу, к Лили подошел Шувалов.

— По поручению вашей подруги, графини

Анны Карловны, осмелюсь предложить вам руку.

Лили сделала вид, что не поняла его игры слов, и без возражений оперлась на его руку. За столом он прилагал все старания, чтобы занять ее. Так, между прочим, он сообщил ей про сидевшего недалеко от них графа Линара, что тот по происхождению итальянец, но предки его еще двести лет назад переселились в Германию.

— Оттого-то у него и волосы уже так посветлели! — заметила Лили. — Да и цвет кожи совсем как у молодой девушки.

— А известно ли вам, чем достигается такой нежности кожа? — спросил Шувалов.

— Чем?

— Особой парижской помадой. Он на ночь вымазывает себе этой помадой и лицо, и руки, а потом надевает еще маску и перчатки.

— И спит так всю ночь в маске и перчатках! Да вы, Петр Иванович, это не сочиняете?

— Нет, я узнал это из самого верного источника. Но зато ведь полюбуйтесь: как хорош!

— После этого я на него просто глядеть не могу!



— И не смотрите: это волк в овечьей шкуре.

По окончании банкета правительница вышла на стеклянную галерею, где для нее и ее избранных партнеров был уже раскрыт ломберный стол, тут же у открытых окон подышать свежим воздухом уселись и пожилые царедворцы. Молодежь же спустилась в сад, чтобы на площадке под галереей поиграть в модную тогда игру «серсеаих» (обручи). Лили научилась этой игре еще у своих родных в Лифляндии и выказала себя теперь настоящей мастерицей. Зорко следя за взлетающими над нею обручами, она подхватывала их своей палкой и бросала дальше с естественной грацией, плавно, то приподнимаясь, то опускаясь на цыпочках, наклоняясь своим гибким станом то вперед, то назад. При этом невинное, хорошенькое личико ее светилось таким оживлением и неподдельным удовольствием, что участвовавшие в игре кавалеры невольно на нее заглядывались, а один из них не утерпел бросить ей не в очередь свой обруч:

— Мадемуазель Врангель, ловите!

Она порхнула навстречу обручу и, поймав

его, с тою же ловкостью метнула обратно. Тут ее окликнули уже с разных сторон: "Мадемуазель Врангель! Мадемуазель Врангель!" и почти одновременно над нею взвилось четыре обруча.

Она не растерялась и, точно фехтуя рапирой с несколькими противниками, поспела нанизать на свою палку три обруча, а четвертый захватила на лету свободной левой рукой.

— Вы — сильфида, мадемуазель Врангель! Вам первый приз! — услышала она сверху звучный мужской голос.

Она подняла голову. С галереи ей благосклонно кивал и улыбался не кто иной, как златокудрый, светлолицый Линар.

"Волк в овечьей шкуре", — припомнилось ей предостережение Шувалова, и по спине ее невольно пробежали мурашки, как в предчувствии чего-то недоброго. Но задумываться над этим ей не дали летевшие к ней все новые и новые обручи, требовавшие ее внимания. Так она и не заметила бы, стоявшего уже некоторое время в стороне под навесом деревьев, просто одетого, молодого человека, если

бы на него не указал Шувалов:

— Да вон, никак, Самсонов! Как его впустили сюда и что ему нужно?

— Он, верно, только что вернулся из поездки с Разумовским... — пробормотала Лили.

— И желает тотчас представиться своей молочной сестрице? — досказал насмешливо Шувалов. — Прикажете спросить его?

— Да, пожалуйста.

Минуту спустя он вернулся назад от Самсонова с надушенным письмецом:

— От вашей подруги.

— Может быть, требуется ответ?.. — проговорила Лили и тут же вскрыла письмо.

— Что-нибудь интимное? — спросил Шувалов, видя, как лицо молодой барышни залило огнем.

Письмо действительно было интимного содержания:

"Ты не поверишь, душечка Лили, как мне досадно, что опять должна упустить случай поболтать с тобой. Вместо себя, посылаю к тебе, по крайней мере, твоего Гришу, с которым ты не виделась ведь еще гораздо дольше. По скромности своей он, разумеется, не станет

хвастаться перед тобой своими счетоводными подвигами. Но Разумовский им просто не нахвалится: "Хлопец дуже умный, звычайно сметливый, говорит, бодай его сей та той! В трех имениях, говорит, вывел плутни приказчиков на чистую воду". Так вот он каков, твой Гриша! Как жаль, право, что он из простых.

Твоя Аннет".

Наскоро дочитав, Лили скользнула взором в ту сторону, где сейчас только стоял Самсонов, но его там уже не было. Да ей было и не до него: приходилось опять ловить обручи и отсылать далее.

Тем временем за вечерело и небо заволокло темными тучами. В густой листве деревьев засветились цветные фонарики блестящей иллюминации, но света их было все-таки недостаточно, чтобы хорошенько различать в вышине взлетающие обручи. Игру волей-неволей пришлось прекратить.

— Неужели, Петр Иванович, мы войдем уже в комнаты! — заметила с сожалением Лили. — На воздухе так чудно тепло...

— А что нам тут делать?

— Да хоть поиграть в горелки.

— Господа! Не угодно ли в горелки?

На той же площадке перед дворцом все выстроились попарно колонной. При возгласе: "Птички летят!" — задняя пара вылетала вперед. Быстротою полета выделилась вскоре опять-таки Лили, и никому из «горевших» не удавалось нагнать ее. Тем чаще зато приходилось «гореть» ей самой, и тем охотнее многие из кавалеров давали ловить себя, особенно Шувалов.

Она стояла с ним опять в паре в конце колонны, когда сзади примкнула к ним новая пара — Юлиана и Линар.

Когда до них дошла очередь бежать, Линар предоставил «горевшему» ловить Юлиану, сам же преспокойно стал на его место.

— Что это значит? — удивилась Лили. — Он, видно, считает себя слишком важным, чтобы бегать?

— Нет, не то, — отвечал Шувалов, — он как будто сберегает силы, чтобы нагнать вас.

— Ну, нет! Ему-то я уже не дамся.

Догадка Шувалова оправдалась: когда Юлиана была схвачена, Линар через плечо оглянулся назад.

— Граф Линар, не оглядываться! — крикнула ему Лили, а потом шепотом предложила Шувалову:— Переменим-ка местами.

Как только Линар хлопнул в ладоши, оба побежали. В первый момент Линар рванулся было в ту сторону, откуда ожидал появления Лили. Но он тотчас заметил свою ошибку, и вместо того чтобы преследовать Лили, побежал между ней и Шуваловым, чтобы не дать им соединиться. Так все трое бежали все время рядом, пока не достигли большого грота.

— Обежимте кругом! — закричал по-русски Шувалов.

Лили без оглядки завернула за угол грота, Линар же, нагнав Шувалова, не схватил его руками, а толкнул плечом с такой силой, что едва не сшиб его с ног.

— Mille pardons, monsieur![23] — извинился он и полетел дальше навстречу Лили.

С разбегу она не имела уже возможности уклониться в сторону и чуть не угодила в его раскрытые объятия.

— Voilà,[24] - сказал он с торжествующей улыбкой и, взяв ее за руку, повел обратно ко дворцу.

## Глава шестнадцатая

### ДОИГРАЛАСЬ!

Очередь «гореть» была за Шуваловым. Но он повторил маневр Линара: пропуская мимо себя пару за парой, он для виду делал несколько шагов вслед за бегущими и становился затем опять "гореть".

"Он тоже хочет погнаться за мной, но я убегу от обоих", — решила Лили.

— Нам бежать, граф Линар. Раз! Два! Три! Они побежали.

"Убегу! Убегу на край света!" — говорила себе Лили, улетающая быстрее ветра.

Шувалов не замедлил пуститься в погоню за ней. Она свернула с большой аллеи через лужайку к оранжереям. Здесь она вынуждена была обогнуть цветочную клумбу. Шувалов, чтобы сократить путь, направился прямо через клумбу. Но ноги его увязли в разрыхленной земле, и он растянулся во весь рост. Пока он вскочил опять на ноги, пока отряхнул с себя землю, Лили юркнула в беседку, откуда крытый ход из дикого винограда вел к боль-

шому пруду. Но перед выходом она застала уже задыхающегося от бега Линара. Вместо того чтобы подать ему руку, она бросилась в сторону.

— Куда же вы, мадемуазель? Это — я! — кричал он ей вслед.

Сама она точно так же задыхалась, сердце в груди у нее билось молотком, но от страха у нее выросли крылья, и, не разбирая уже дороги, она неслась все вперед да вперед.

Вот и второй сад, скудно только освещенный там и сям обыкновенными масляными фонарями, так как туда, по расчету устроителей иллюминаций, едва ли мог забрести кто-нибудь из придворной знати. Силы начинали уже изменять ей, колени у нее подгибались, воздуху в груди не хватало. Еще пять минут — и она свалится наземь. А Линар все по ее пятам! Тяжелое дыхание его все ближе и ближе...

— Ах!

Он обхватил ее сзади.

— Пустите меня, граф Линар...

Он старался пригнуть ее голову к себе. Она уклонялась со всей энергией отчаянья и нако-



нец, в виде последнего средства, впиалась зубами в его руку.

— Sacrebleu![25] — пробурчал он и дал ей волю.

Но сделал он это не потому, чтобы причиненная ему боль была так невыносима, а просто потому, что кто-то посторонний отдернул его руку и взял его в то же время за шиворот.

Ни он, ни Лили не заметили сидевшего в нескольких шагах от них на скамейке человека, сделавшегося случайным свидетелем всей описанной сцены

Сам мужчина рослый и сильный, Линар резким движением плеч сразу обернулся к дерзновенному, обошедшемуся так бесцеремонно с ним, титулованным представителем иностранной державы, и поставившему его в глупейшее положение перед фрейлиной принцессы-правительницы. И что же? Лицом к лицу перед ним оказался совсем молодой еще человек, чуть не юнец, да еще в одежде простого обывателя! Не диво, что благородный саксонец сгоряча замахнулся кулаком. Но молодой человек кулаком же отпарировал его удар и тут же схватил его за горло.

— Да ты его задушишь, Гриша! — вскричала Лили, теперь только разглядевшая Самсонова.

— И задушу! — отвечал он, напирая на Линара, пока тот не уперся спиной в ствол дерева.

— Побойся Бога, Гриша!.. Ведь это саксонский посланник. Он тебя и меня погубит...

Самсонов пришел в себя и разжал пальцы. Посиневшее уже лицо посланника приняло опять более естественную окраску.

— Вы его знаете, баронесса? — пробормотал он, растирая себе рукой затекшую шею. — Кто этот... субъект?

— Я крепостной раб и вам, дворянину и вельможе, не ровня, — отвечал по-немецки сам за себя Самсонов. — Но посмейте еще только пальцем коснуться этой барышни — и ваша песня спета!

Сказано это было таким зловецим тоном, что Линар побледнел и весь затрясся от бесильной злобы.

— Сатисфакцию дать мне раб, конечно, не может, — прошипел он сквозь зубы. — Но это тебе, любезный, так не пройдет... ты меня

еще попомнишь!

— Вы, граф, оставите его в покое, — с решительностью вступилась тут Лили.

— Да кто мне помешает?

— Ваш собственный расчет: в ваших же интересах посланника и жениха не давать всей этой глупой истории огласки. Мы все трое ее забудем, точно ничего и не было. Так для всех нас лучше.

Линар не мог не сознать резонности такого предложения.

— А вы, мадемуазель, за этого человека отвечаете? — спросил он.

— Отвечаю как за себя. Мы-то с ним, во всяком случае, не проговоримся. Но и вы, граф, дайте мне слово ничего не предпринимать ни против него, ни против меня.

— Хорошо...

— Честное слово?

— Честное слово. А теперь, что же, мы возвратимся опять к другим?

— Да, вы ступайте вперед. Я и без вас уже найду дорогу.

В голосе молодой девушки, несмотря на ее сдержанность, слышалась такая враждеб-

ность, что саксонец нашел бесполезным далее настаивать. В знак согласия он молча только наклонил голову. Но прежде чем совсем сойти с бесславного поля действия, он все-таки не мог не выказать всего своего презрения рабу, нанесшему ему оскорбление действием. Вполоборота, через плечо, прищурившись на Самсонова, он проронил полувнятно, точно жалея для него даже драгоценных звуков своего благородного голоса:

— Марать руки о твою холопскую рожу я не стану. Но можешь считать про себя, что получил от меня полновесную пощечину.

И, высоко неся голову, он пошел своей дорогой. Самсонов глядел ему вслед со сжатыми кулаками и, чего доброго, ринулся бы за ним, не будь тут ангела-хранителя обоих — Лили.

— Обличье соколье, а душа воронья! — прошептал он дрожащими от гнева губами. — Нож бы в бок — и делу конец!

— Какой ты злющий, Гриша! На тебя смотреть страшно! — сказала Лили.

Искаженные ненавистью черты его приняли виноватое выражение, и кулаки его разжались. При этом Лили вдруг заметила, что

одна рука у него в крови.

— Боже! Что с твоей рукой, Гриша?

Он печально улыбнулся.

— Зубы ваши, Лизавета Романовна, очень уж остры.

— Так это я тебя же укусила? Прости, голубчик! Вот тебе мой платок, помочи его в пруду...

Он принял ее вышитый, батистовый платок, но не прижал его к ране.

— Спасибо вам, но во дворце вас могут хватиться. Не вернуться ли вам сейчас?

— Да, да...

Она что-то, казалось, хотела еще прибавить, но в горле у нее будто что осеклось. И быстрыми шагами она удалилась, но окружным путем, чтобы не повстречаться опять как-нибудь с Линаром.

## Глава семнадцатая

### ЕЩЕ ОДИН РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА, НО НЕ БЕЗ УПРЕКА

Между тем Линара ожидало еще новое испытание. Едва только он сделал несколько шагов за ближайшую купу деревьев, как оттуда его вполголоса окликнули:

— Граф Линар! На пару слов.

Он обернулся, к нему подходил Пьер Шувалов.

— Вы разрешите мне идти с вами? — продолжал Шувалов. — По пути и стоворимся.

— Да что вам угодно от меня, милостивый государь? — отрывисто и далеко не с обычной своей вежливостью спросил саксонец.

— Первым делом позвольте выразить вам мое глубокое соболезнование: такой неслыханный afront от простолюдина и раба...

Линара передернуло.

— А вы подглядели?

— Подглядывать не в обычае придворных людей российского императорского двора. Не знаю, как при дворе курфюрста саксонского?..

— Вы, милостивый государь, ищете, кажется, ссоры со мною!

— Нимало, любезный граф. Каков вопрос, таков и ответ. В долгу мы, русские, не любим тоже оставаться. Но возвратимся к делу. Прибыл я на место как раз в самый разгар вашего... объяснения. Присутствие лишнего свидетеля в такой критический момент вам едва ли могло бы быть приятно, и потому я стуживался. Но совсем скрыть от вас мое присутствие я не считал себя вправе, тем более что принимаю живое участие не столько даже в вас, сколько в тех двух лицах, с которыми вы только что... объяснялись. Обидчик ваш довольно близкий мне человек: сколько лет он был у меня казачком, потом камердинером.

— Вот как! Тем лучше, — подхватил Линар, — вы, надеюсь, примерно накажете этого нахала?

— Вы, граф, меня не дослушали: человек этот был моим камердинером, но теперь он собственность цесаревны Елизаветы и состоит в распоряжении ее камер-юнкера Разумовского.

— Так сегодня же я переговорю с господи-

ном Разумовским.

— Вы этого не сделаете.

— Как! Почему?

— Потому, что сейчас ведь только дали баронессе Врангель свое честное слово ничего не предпринимать ни против нее, ни против ее защитника.

Из уст саксонца, против его желания, вырвалось довольно вульгарное немецкое междометие.

— Вы сомневаетесь в моем честном слове? — вскричал он.

— Не желал бы сомневаться, но не сами ли вы собираетесь его нарушить?

— Милостивый государь! Есть оскорбления, которые смываются только кровью!

— Я всегда к вашим услугам, — с учтивым поклоном отвечал Шувалов, который делался все спокойнее по мере того, как его собеседник терял равновесие духа. — Пистолетом я владею довольно сносно: на двадцать пять шагов попадаю в червонного туза без промаха. Но крови вашей я вовсе не жажду, точно так же, я полагаю, как и вы моей. Не так ли?

— На что мне ваша кровь!..



— Ну, вот. Разговор наш будет чисто деловой, и волноваться вам не из-за чего. Вы, быть может, уже заметили, что я к баронессе Врангель не совсем равнодушен...

— Мне-то какое до этого дело! Или вам угодно вступитья тоже за нее?

— Нет, это сделал уже с успехом мой бывший камердинер, и лавров его я не ищу. Я нашел нужным поставить вас только в известность, что намерения у меня относительно баронессы Врангель самые чистые и я с радостью сейчас хоть предложил бы ей руку и сердце...

Линар криво усмехнулся:

— За чем же дело стало? Могу пожелать вам только не слишком разочароваться.

— Подобно вам? Нет, прежде чем лезть в воду, я имею обыкновение спрашивать броду. И в этом-то, почтеннейший граф, вы можете оказать мне неоценимую услугу.

— Я? Вы изволите шутить.

— Нет, серьезно. Избранница моего сердца, как вам, я думаю, не безызвестно, бедна как церковная мышь. Сам я, чего вы, может быть, не знаете, еще беднее: я в долгу как в шелку...

— Но меня-то, милостивый государь, это ничуть не касается! Я могу разве только пожалеть вас.

— Вот за такое сочувствие я вам глубоко благодарен! Стало быть, я все-таки недаром обратился к вам.

— Да что вам, наконец, нужно от меня?!

— Ваше благосклонное содействие.

— В чем?

— В том, чтобы вашим властным словом, как магическим жезлом, раскрылся сезам, то есть государственная рентерея, и моей будущей спутнице жизни отсыпали полный мешок брэнного металла.

— Да с какой стати, скажите, мне хлопотать за вас?

— А по пословице: рука руку моет. Если вы не поможете мне в моем деле, то никто и ничто на свете не заставит меня молчать о том, чему я сейчас вот был случайным свидетелем.

Взбешенный Линар не мог воздержаться помянуть, хотя и сквозь зубы, дьявола.

— Что вы изволили сказать? — с утонченной учтивостью переспросил Шувалов. — Вы

можете мне в известной степени повредить, я это знаю, но ваше положение будет, пожалуй, еще хуже. Для нас обоих, стало быть, выгоднее не подымать шуму, а войти в любовную сделку.

В душе надменного представителя дрезденского двора происходила, видимо, тяжелая борьба, но благоразумие взяло наконец верх.

— Чего же вы требуете? — глухо произнес он. — Чтобы баронессе Врангель было назначено приличное приданое?

— Вот именно. Цифры я наперед не определяю: дадут много, претензии заявлять я не стану, а покажется мне мало, то вы не откажетесь приложить все ваше красноречие...

— Постойте! — нетерпеливо перебил Лиар. — Мы продаем шкуру, не убив медведя.

— Позвольте вам заметить, граф, что ваше сравнение к баронессе ничуть не применимо.

— Согласен, на кошечку она похожа гораздо, более. Но уверены ли вы, скажите, в расположении ее к вам?

— То-то вот, что не совсем еще уверен.

— И вдруг окажется, что мы с вами вытас-

кивали каштаны из огня для постороннего третьего лица?

— Этого-то не случится.

— Почему вы так уверены?

— Потому что вы, граф, с свойственным вам дипломатическим тактом, через посредство вашей досточтимой невесты и принцессы, окажете на нее надлежащее нравственное давление.

— Это уже чересчур! На это не рассчитывайте.

— Тогда наша сделка, к сожалению, не состоится.

— Herrgottsdonnerwetter![26] Да ведь надо же мне чем-нибудь оправдать такое вмешательство мое в судьбу этой девицы?

— Оправдание у вас будет для женщин самое убедительное — неукротимая ревность.

— Ревность? К кому?

— А ко мне. До слуха вашего, изволите видеть, дошло, что еще не так давно ваш покорный слуга состоял в числе многочисленных поклонников баронессы Юлианы и пользовался у нее предпочтительным фавором...

— Это правда?

— С моей стороны, по крайней мере, поклонение было самое искреннее, и этого для вас, я думаю, довольно. Так вот, в безумной ревности своей ко мне вы не ранее успокойтесь, пока не свяжете меня по рукам и ногам узами Гименея с другой особой. Вопрос, как видите, весьма деликатный, но для вас, первоклассного дипломата, он не представит непреодолимых затруднений. Засим других условий я вам никаких уже не ставлю. Со своей же стороны я наложу на мои уста неразмыкаемый замок... Однако начинает накрапывать! Так что же, любезный граф, чего еще раздумывать? Закрепим наш союз дружеским рукопожатием.

Тому ничего не оставалось, как со вздохом прикоснуться кончиками пальцев до протянутой ему дружеской руки. Затем оба пустились бегом ко дворцу, потому что дождь зарядил вовсю.

## Глава восемнадцатая

### КАБЫ ВОЛЯ!

С переходом Самсонова в другие руки брата, Шуваловы хотя и обзавелись новым молодым слугой, пользовались им больше для посылок, и старик Ермолаич сохранил за собой звание старшего камердинера.

В ожидании возвращения господ из Летнего дворца, где после банкета предстояли еще танцы и ужин, старик отобрал из вышедшего из стирки господского белья целую грудку разноцветных чулок с продранными пятками и при свете сального огарка чинил их теперь штопальной иглой. Старость, однако, сказала уже за третьей парой: в очах у него затуманилось, в пояснице заломило.

— Эх, эх! — прокряхтел он. — Пора костям на место... Передохнуть часочек...

И, отложив в сторону работу, он поплелся к своей кровати. Но не успел он еще хорошенько улечься, как в передней звякнул колокольчик — сперва тихонько, потом сильнее.

— Ишь ты! Кого это нелегкая принесла? Он пошел отпереть дверь.

— Ну, подумайте! Грамотей наш! — воскликнул он, увидев перед собой Самсонова. — Отколе проявился? Аль вспомнил старого друга?

Тот, не отвечая, швырнул на стол мокрый от дождя картуз и, схватившись руками за голову, зашагал из угла в угол.

— Да что у тебя, головушку разломило? — допытывал Ермолаич.

— словно железным обручем сжимает... — был глухой ответ.

— Стало, здорово простудился. Сходил бы в баньку...

— Нет, дяденька, не то... Я, кажется, с ума сойду!

И, с горьким воплем упав на стул, Самсонов закрыл лицо руками и зарыдал.

— Ишь ты. Что-то неладно, — сообразил старый друг и, подойдя к плачущему, начал гладить его по волосам. — Да что это у тебя с рукой-то? Будто оцарапана, и кровь еще каплет. Где это тебя угораздило? Очень, видно, больно?

— Нет, дяденька, не рука у меня, а душа болит...

— Душа болит! Ну, подумайте! Полно же, полно, миленький! Не баба ты, слава Богу. Перемелется — мука будет...

От старческой ласки слезы у юноши потекли еще обильнее, но в слезах понемногу растворилось его горе.

— Кабы только воля!.. — прошептал он, отирая глаза.

— Фюить, фюить! — засвистал Ермолаич. — Так вот ты о чем! Да что тебе у матушки цесаревны не вольно, что ли, живется?

— Тебе, дяденька, меня не понять. Будь я вольный, я вышел бы в заправские люди, добился бы дворянства.

— Эвона куда метнул! Да на что тебе дворянство?

— На то, что никакой граф или князь не посмел бы уже тогда говорить мне таких слов...

— Каких слов?

— "Не хочу, — говорит, — о тебя, раба, мараить моих чистых рук, а считай, — говорит, — что я дал тебе пощечину". Подвернись он мне



еще раз под руку, да я его, мерзавца, так исковеркаю!..

И, сверкая глазами, Самсонов погрозил в пространство кулаком. Ермолаич, успокаивая, потрепал его по пылающей щеке морщинистой рукой.

— Ну, подумайте! Его бы исковеркал и сам бы себя тем погубил. Да на кого ты, скажи, так злобишься?

— Назвать его я не смею: обещал молчать. А будь я ему равный, да я тут же вызвал бы его на пистолеты, всадил бы ему пулю в грудь...

— Либо сам был бы подстрелен, как кулик. За что? Про что? Борони, Боже! Нет, миляга, так-то лучше. Обидел он тебя, ну, ты по-христиански отпусти ему грех: Господь с ним!

— Да почему он-то нашего брата может обижать безвозбранно?

— Потому, что судьбою выше нас поставлен. Каждому человеку свой предел положен.

— Да почему? Почему другие рождаются уже вольными, а вот мы от рождения навек закабалены? Кабы воля...

— Заладил свое: "Кабы воля!" Да что ты ду-

маешь, и сам я тоже примерно мог бы быть не токмо что вольным, но и первым богатеем.

— Правда, дяденька?

— Истинная правда, врать не стану. Да ну с ней, с этой волей да и с богатством!

— Что так?

— А так... Аль рассказать тебе? В науку тебе пойдет.

Старик достал из-за пазухи свою берестовую тавлинку, сделал здоровую понюшку, от удовольствия крякнул и начал затем свой рассказ:

— Было то, милый ты мой, с полвека назад, а то и все шесть десятков, шел мне тогда, сколько уже не упомню, двенадцатый либо тринадцатый год. Паренек из себя был я, как вот ты, пригожий, а паче того, юркий: полюбился я за ту юркость моему старому барину, покойному деду нынешних моих господ (царство Небесное!), и определил он меня к себе в казачки, куда ни поедет, везде я с ним. А была у него тоже страстишка (не тем будь помянут!) к этим проклятым картам. Случилось нам с ним быть у Макария на ярмарке, столкнись он тут с такими ж картежниками, и об-

чистили, ободрали они его, голубчика, как липку, до последней, значит, копейки. Пошел он тут со мной на ярмарку меж народом по-толкаться, от дурмана игорного проветриться. Ходим мы этак меж палаток и возов, всяк ему товар свой выхваливает, а он, знай, все хаит да фыркает. Может, что и купил бы, да коли у самого в кармане ветер дует, поневоле зафыркаешь.

Глядь, отколе ни возьмись, накатилась на меня — бочка не бочка, а купчиха, поперек себя толще, облапила меня.

— Митя! Родненький, соколик ты мой!

Ну подумайте! Отбиваюсь я, говорю:

— Какой я тебе, мол, Митя! Зовут меня Тихоном, Тишкой.

— Чего ты, матушка, к нему как банный лист пристала? — говорит ей и мой барин. — Он из людей моих...

А она его за полу кафтана, руки целует:

— Батюшка! Дай выкупить его у тебя. Один был у меня после мужа сыночек, да летось его тоже Господь прибрал. И никого-то у меня теперича на всем белом свете! Достатки у меня хорошие, да на кого, сирота, их оставлю?

— Тишка мой на сыночка твоего нешто так похож? — спрашивает барин.

— Так схож, — говорит, — так уж схож: две капли воды!

— Да ведь ты, матушка, никак, из купеческого сословия?

— Из купеческого, батюшка. Свидетельство гильдейское покойный муж кажинный год выправлял...

— Так тебе, по званию твоему, рабов иметь не полагается.

— Да нешто он будет у меня раб? Он будет мне за родного сына.

— Ты, стало, усыновить его ладишь?

— Усыновить, знамо дело, как по закону быть следует. Мое слово твердо. Уступи ты мне его, батюшка! Никаких капиталов не пожалею и век за тебя Богу молиться буду!

Стали они торговаться обо мне, а меня самого даже и не спросят: известно, раб, бесправная тварь! Меня же взяло сумленье: а ну как мне у толстухи все же житья-то не будет? Кто ее ведает, какой у нее еще норов-то!

Почесал я затылок и говорю барину:

— Батюшка барин! Не продавай ты меня

сразу, отдай перво-наперво на испытание. Как не придусь ей по нраву, так, того и гляди, замучит еще меня, горемычного, со свету сживет...

— Что ты, милованчик мой! — говорит купчиха. — Бога в тебе нет! Да я мухи, комара не обижу. Так стану ль я тебя к себе на мученье брать? Не махонький ты, слава Богу, разум есть в голове, понимать должен. Будешь ты у меня как сыр в масле кататься, буду услаждать тебя всем, чего только душенька твоя ни пожелает, а придет мой смертный час, так все, что ни есть, тебе же останется...

Наобещала она мне чего-чего, на трех возах не вывезешь, напевала, ну, соловушко, да и только! Развесил я, глупыш, уши, облизываюсь как теленок, которому соли на морду насыпали. Чуть было уже не сдался, да, спасибо, барину все же жаль меня стало.

— Все это, матушка, на словах распрекрасно, — говорит. — А что будет на деле — вперед и знахарка тебе никакая не предскажет. Почем знать, может, Тишка и впрямь тебе угодить не сможет и отвернется от него душа твоя? Дам я его тебе, изволь, на испытание,

скажем, сроком на один год, а там виднее будет.

Рассказчик сделал небольшую паузу, чтобы подкрепить себя опять табачком.

— И что же, на том и порешили? — спросил Самсонов.

— На том самом. Взял с нее барин не то задаток, не то плату, с уговором, что если не уживусь я у нее, так она меня удерживать не станет, а он ей денег вернуть уже не обязан. Хорошо. Первым делом повезла она меня в Москву белокаменную, повела по церквам — поклониться святым угодникам за богоданную матушку, а сколько в Москве церквей, ты, чай, слышал?

— И слышал, и видел проездом: сорок сороков.

— Ну, вот. И везде-то свечки ставила, старцев божиих милостыней одеяла...

— Значит, и вправду была сердцем добрая?

— Уж такая ли добрая, что и сказать нельзя, а на меня, мальчугу, просто не надышится. В первый же день купила мне сапоги козловые со скрипом, на второй — балалайку. На счет же лакомств разных: яблочков, орешков,

рожков, винных ягод, пряников медовых — ешь не хочу.

— А из Москвы тебя к себе домой повезла?

— Домой, а дом-то у нее тоже полная чаша, всякого брашна преизобильно. Для меня же еще нарочно и сладкие пироги с вареньем, и оладьи с сотовым медом, и дыня в патоке отваренная, не перечесть! Угощаешься всласть, а она ни шагу от тебя, смотрит тебе в рот, в глаза да потчует:

— Ах ты касатик мой! Яблочко наливчатое! Кушай на здоровье! Не хочешь ли еще чего?

Спервоначально такое житье мне, что грех таить, полюбилось. Да день за днем все только обжорство до отвалу — неволю пришлось. Она же меня все нудит:

— Да что же ты, моя радость, не кушаешь?

— Не могу, — говорю, — матушка, постыла мне эта сладкая жизнь...

— Постыла! Ах ты болезный мой! Знать, тебе нездоровится?

— Здоров я, матушка, здоров, как боров, да обленился уж больно, работу бы какую...

— Владычица многомилосердая! Работу!

Малый без году неделя из яйца вылутился, а туда же: работу!

— Да ведь скучно, — говорю, — матушка, без дела-то!

— А скучно, так мы с тобой в фофаны поиграем, "в дурачки", а то я тебе, хочешь, на картах погадаю?

Играешь с ней так час и другой в фофаны, в дурачки, — индо одурь возьмет. А то почнет это раскладывать карты, гадать про деньги, про письмо, про дорогу, а ты сиди около, отойти не моги, не пикни...

Так рассказывал Ермолаич и, по привычке стариковской, повторяясь, возвратился опять к тому, как толстуха его обкармливала любимыми его варениками и бараньим боком с кашей, как отпаивала чаем с медом сотовым, вареньем вишневым, малиновым, смородинным... Самсонов его уже не прерывал. Подперши голову обеими руками и с сомкнутыми глазами, он слушал, а в то же время не мог не слышать и шумевшего на дворе ливня: из водосточной трубы вода так и журчала, так и плескала, и, подобно этой воде, журчал и плескал над ним монотонный старческий го-



лос Ермолаича, утишая своей охлаждающей струей его жгучую душевную боль.

— И чем же все это кончилось, дяденька? — прервал он рассказчика.

— Знамо, чем: выжил я у нее месяц-другой, — и сил моих не стало!

— Утек?

— Утек, грешный человек, подобру-поздорову. Вернулся к старому своему барину, повалился в ноги:

— Прими, мол, назад, батюшка! Не надо мне ее, этой воли, прах ее возьми!

— Да разве то была воля, дяденька? То была неволя горше рабской! Мне нужна другая воля...

— Какая еще? Чтобы знатных людей бить по щекам, а потом с ними стреляться? Ай да воля!

— Мы с тобой друг друга все равно не поймем... — пробормотал Самсонов, который, смутно сознавая, что в возражении старика есть все же доля правды, не мог еще в спорном вопросе толком разобраться. — Должна же быть настоящая, справедливая воля... Ну, да во всяком разе спасибо тебе, дяденька, на

добром слове! Будь здоров.

## Глава девятнадцатая ДИПЛОМАТИЯ

Дождь, дождь и дождь! Уже больше часу лежала Лили в постели, а шум и плеск воды за окном не давал ей заснуть. Да один ли дождь мешал ей! Когда она одним ухом прижалась крепко к подушке, а другое зажала ладонью, перед ее зажмуренными глазами всплывали одна за другой картины пережитого дня. То она опять ловит и бросает обручи, то бежит в горелках... Линар ее догоняет, хватается сзади, она кусает ему руку, и вдруг это вовсе не его рука, а рука Гриши, и кровь с нее капает, капает, капает...

Надо подумать о чем-нибудь другом, например... да хоть об ужине. Рядом с ней снова этот несносный Пьер Шувалов. Как всегда, он с ней очень предупредителен, любезнее еще обыкновенного, но у него прорывается какая-то фамильярность. Что он себе воображает! Чтобы ее рассмешить, он заговаривает с ней на разных языках: по-французски, по-

немецки, по-английски, по-итальянски, по-латыни и, наконец, даже по-чухонски, а она молчит.

— Вы молчите на семи языках, — говорит он. — Ну, усмехнитесь, хоть на копеечку!

И она нехотя усмехается на копеечку, но в то же время ей мерещится опять эта окровавленная рука, и по всем членам ее пробегает нервная дрожь.

Наконец-то усталость ее одолевает, и она забывается тревожным сном.

— Пора вставать, дитя мое, пора! — раздастся над ней ласковый голос камеристки-эстонки.

— Это ты, Марта? Разве так поздно? Все еще будто потемки...

— А потому, что небо все в тучах и дождь ливня льет. Принцесса не велела будить тебя, чтобы выспалась со вчерашнего.

— Со вчерашнего?

— Аль забыла? А он-то, поди, не забыл: каких, вишь, цветов тебе прислал! Понюхай-ка.

Марта поднесла ей букет к самому носу. Букет в самом деле был пышный и предушистый, но Лили отвела ее руку.

— Скажи сперва, кто прислал?

— Точно и не знаешь! — лукаво улыбнулась камеристка. — Как кот ведь около моей кошурочки весь день увивался! И баронесса моя ввечер еще шепнула мне, что из вас выйдет парочка.

Лили разом сбросила с себя одеяло и сорвалась с постели.

— Этого еще недоставало! Кто просил ее мешаться не в свое дело? Сейчас же унеси вон эти цветы!

— Вот на! Куда ж я их унесу?

— Да хоть в кухню, под плиту. Убери только с моих глаз! Что ты стоишь? Иди, милая Марта, оставь меня одну.

Покачала головой Марта и унесла цветы, а Лили открыла окно и принялась одеваться. Но делала она все машинально и, еще полуподетая, подошла к открытому окошку. Порывом ветра ее так и опахнуло пронизывающей сыростью. Неужели это тот самый сад, та самая площадка, где еще вчера было так весело? И люди и птицы — все попряталось от дождя. Одни еще только воробьи без умолку чирикают, да не от радости, нет: они дерутся

меж собой на карнизе дворца из-за теплого местечка. Внизу же мокрота непроходимая. Вся земля насквозь пропиталась, блестит как лакированная, и все кругом безнадежно плачет: плачет небо, плачут деревья... А вместо резвящейся молодежи гонятся друг за другом только воздушный вихрь за вихрем, взвиваются вверх по стволам дерев, треплют сучья, обрывают листья и целые ветки, брызжут кругом слезами... Поневоле тоже заплачешь!

— Что это у тебя, дитя мое, даже слезы? — раздался около нее опять голос Марты. — Что значит погода-то! Вот выпей-ка горячего кофе, и на душе теплее станет.

В самом деле, после двух чашек на душе у нее словно потеплело.

Но когда она вошла к Анне Леопольдовне, у которой застала уже, по обыкновению, ее безотлучную наперсницу Юлиану, от первых же слов принцессы ее обдало холодом:

— Что, выпалась, милая? А счастье твое во сне к тебе пришло!

— Какое счастье, ваше высочество? — пролепетала Лили.

— Да разве тебе не передали еще цветов?

— Передали, но я велела убрать их на кухню и сунуть под плиту.

— Что за ребячество! От Манштейна ты тогда не приняла цветов, а цветы этого нового претендента даже сжигаешь! Тебе, может быть, не сказали, кто их прислал?

— Сказали, что младший Шувалов, но я не подала ему к тому, поверьте, никакого повода.

— Что же ты меня уверяла, Юлиана?.. — обернулась Анна Леопольдовна к своей статс-фрейлине.

— Она, ваше высочество, ожидала вместе с цветами и конфет! — улыбнулась в ответ Юлиана. — Но конфеты конфетами, а сердце у нее, я знаю, тоже уже заговорило. Только не хочется ей еще самой себе признаться.

— Сердце мое ничего решительно не говорит! — запротестовала Лили. — На господина Шувалова я, напротив того, досаую за его навязчивость.

— Да коли он жить без тебя уже не может? А такой партии тебе не скоро дождаться. Ты, моя милая, не забудь, бесприданница, а принцесса по беспредельной доброте своей не

только даст за тобой хорошее приданое, но обеспечит тебя и пожизненной рентой...

— Да не нужно мне ни приданого, ни ренты! — воскликнула уже со слезами в голосе Лили. — Не хочу я вовсе выходить замуж, а всего менее за Шувалова.

— Вместо того чтобы за такие милости поцеловать ручку ее высочества, у тебя еще хватает духу отказываться! Это такая черная неблагодарность...

— Ты чересчур строга, Юлиана, — вступилась принцесса. — Если Шувалов ей действительно уж до того не нравится...

— Мало ли кто кому не особенно нравится! Ведь вышли же ваше высочество за принца, потому что он был выбран для вас вашей покойной тетушкой. Раз Лили имеет счастье быть вашей фрейлиной, то она, как и другие, должна сообразоваться с вашим вкусом. Она еще одумается и примет наши резоны. Видишь ли, моя милая, — обратилась Юлиана деловым уже тоном к самой Лили, — графу Линару, как ты знаешь, я обещала мою руку. Но чего ты еще не знаешь, так это то, что он безумно ревнив. До него дошли слухи, что

Пьер Шувалов серьезно ухаживал за мной. Вчера вечером еще он устроил мне из-за этого в присутствии ее высочества такую сцену, что мы должны были обещать ему поскорее женить Шувалова...

— Но зачем же непременно на мне? — возразила Лили.

— Затем, что Шувалов желает жениться только на тебе.

— Да я-то не желаю выходить за него!

— Ты обязана желать!

— Да, милочка моя, не упрямясь, — заговорила тут Анна Леопольдовна и, притянув к себе Лили, нежно ее поцеловала. — Линара мне хочется во что бы то ни стало приковать к нашему двору. Если же его требование теперь не будет исполнено, то, почем знать, как он еще поведет себя.

"Кабы вы обе знали, каков он на самом деле! — подумала про себя Лили. — Но расскажи я про него, так и он не будет уже связан своим словом..."

— Ваше высочество! — взмолилась она вслух. — Пожалейте меня! Ведь сами же вы, выходя замуж против воли, называли меня



счастливой, так как никто меня не может принудить идти за немилым.

— Правда-то правда, — вздохнула принцесса, тронутая ее отчаянием. — Нельзя ли, Юлиана, как-нибудь затянуть дело с Шуваловым до твоей свадьбы с Линаром? Тогда Лили может сразу порвать с Шуваловым.

— Оно, пожалуй, и можно бы... Но сумеет ли она столько времени делать ему авансы?

— Нет, это было бы выше моих сил! — объявила Лили. — Я не дипломатка.

— Да, к сожалению. Третий год ведь ты уже в центре дипломатии и могла бы, кажется, перенять от нас. Но тебе ведь нет еще и восемнадцати лет. Так мы скажем Шувалову, что ты еще слишком молода, пусть немножко подождет. До моей свадьбы, однако, ты, во всяком случае, от него хоть не отворачивайся, принимай от него всякие приношения.

— Да, милая Лили, немножко тебе придется уж притворяться, — поддержала свою наперсницу принцесса. — Ты сделаешь это для меня, да?

— Постараюсь, ваше высочество... — упавшим голосом сдалась Лили.

— Но это, моя милая, еще не все, — продолжала Юлиана. — Раз Шувалов будет, так сказать, в твоих руках, то ты в интересах принцессы должна использовать свое положение. Между нашим лагерем и лагерем цесаревны наружно хотя и сохраняются дружеские отношения, но в действительности это вооруженный мир. Я сильно подозреваю, что вчерашнее нездоровье цесаревны было только предлогом. Она вообще избегает теперь встречаться с нами, потому что знает, как зорко мы наблюдаем за каждым ее шагом.

— И очень дурно делаем, — заметила Анна Леопольдовна. — Я не вижу к тому серьезных оснований...

— Потому что ваше высочество слишком доверчивы и судите о других по себе. Зачем бы, скажите, лейб-медику цесаревны Лестоку дружить с французским посланником, маркизом де ла Шетарди? Зачем бы секретарю маркиза Вальданкуру так часто заезжать к шведскому посланнику Нолькену? Для чего теперь Нолькен отправляется в отпуск к себе в Стокгольм? Это целая цепь, через которую цесаревна находится в тайных сношениях со

шведским двором. Недаром говорят, что она получает уже из Стокгольма крупную субсидию.

— Да верно ли это, Юлиана?

— А на какие же средства иначе она угощала бы так часто своих преображенцев? Сложилась даже, как вы знаете, поговорка: "У цесаревны опять ассамблея для преображенцев". Чтобы эти ассамблеи с грубыми солдатами доставляли ей, при ее утонченном вкусе, действительное удовольствие, я очень и очень сомневаюсь. Стало быть, тут совсем иная цель — политическая.

— Нет, Юлиана, на этот раз ты наверно ошибаешься, — возразила принцесса. — Тетя Лиза со мной всегда так прямодушна, что подозревать ее в каких-либо политических интригах грешно.

— Да шведы-то помогают ей, вы полагаете, *pour ses beaux yeux* (ради ее прекрасных глаз)? Если не сама цесаревна, то ее советчики наверно преследуют совершенно определенную цель и выжидают только удобного случая, чтобы привести ее в исполнение. С какой стати, например, Лесток еще не далее как

третьего дня так обстоятельно расспрашивал Фишера о здоровье вашего малыша и чем его лечат?

— Как врача его, очевидно, интересует метода лечения других врачей.

— Простите, принцесса. Лесток — хирург. Какое ему дело до лечения грудных детей?

— Ты меня пугаешь, Юлиана! Ведь он же ничего не прописал моему мальчику?

— В этом-то отношении нам нечего опасаться: отравы Лесток ему не пропишет. Для этого он слишком осторожен. Но он знает, что пищеварение царственного младенца с первого дня и до сей минуты не может обойтись без возбуждательных средств. Так вот, если бы (не дай Бог) средства эти перестали уже действовать и поднялся бы опять вопрос о престолонаследии...

Анна Леопольдовна от ужаса зажала себе уши.

— Не говори, не говори! Он не умрет у меня, не может умереть!

— Пока, ваше высочество, слава Богу, этого еще и не предвидится, но такая заботливость Лестока служит лишним симптомом тайных

вожделений русского лагеря. Надо и нам принять свои меры предосторожности.

— Вот потому-то Остерман и посоветовал Антону-Ульриху выписать сюда его брата, принца Людвига Брауншвейгского.

— Чтобы женить его на цесаревне? Будь то любой другой иностранный принц, то план наш мог бы, пожалуй, еще удалиться, но за брата вашего супруга она, поверьте мне, ни за что не выйдет.

— Да почему бы нет? Принца Людвига она еще не видела. Он, говорят, и красивее, и умнее Антона-Ульриха. Отдав цесаревне герцогство Курляндское, мы удалим ее навсегда из Петербурга, из сферы влияния ее на гвардию. Кроме того, имея супругом принца из нашего же брауншвейгского дома, она тем самым будет уже связана по рукам.

Юлиана пожала плечами.

— Ну, что ж, — сказала она, — раз уж принц Людвиг сюда вызван, так пускай попытает свое счастье. А пока что мы воспользуемся услугами нашей милой Лили и Шувалова.

— Ах, нет, пожалуйста, нет! — испугалась Лили. — Шпионить через него за цесаревной,

которая со мной всегда так мила, я не могу, право, не могу!

— Оставь же ее, Юлиана, не настаивай, — сказала принцесса. — Сама я ведь тоже плохая дипломатка. Но от цветов и конфет Шувалова ты, Лили, все-таки обещаешь пока не отказываться?

— Обещаюсь...

## Глава двадцатая

### ПРИЗРАК ЛИНАРОВЩИНЫ

Сдержать свое обещание было Лили тем легче, что, вследствие летнего сезона, при дворе в течение нескольких недель не было уже ни одного большого съезда, на котором присутствовала бы цесаревна со своей свитой, так что Петру Ивановичу Шувалову приходилось ограничиться присылкой цветов или конфет. Цветы Лили ставила в вазу, а конфеты съедала не менее аккуратно (зачем им было даром пропадать?), впрочем, ей усердно помогала и Юлиана.

Тут случилось событие, которое в придворном мире прошло бы почти незамеченным,

если бы не дальнейшие последствия: 23 июля Бог послал правительнице дочку, получившую во святом крещении имя Екатерины. Крестины не сопровождались особыми церемониями. По новому закону о престолонаследии, новорожденная, будучи женского пола, не имела ведь права на престол. Но уже на девятый день, не приняв еще с поздравлениями ни одной из придворных дам, принцесса дала аудиенцию графу Линару и собственноручно пришилила ему на грудь звезду Святого Андрея Первозванного, надела на него небесно-голубую ленту. Такая из ряда вон выходящая милость посланнику второстепенной иностранной державы, ничем иным пока не заявившему себя при русском дворе, как только тем, что собирался сочетаться браком с статс-фрейлиной правительницы, произвела в придворной сфере немалый переполох. Первый кабинет-министр граф Остерман созвал к себе своих сотоварищей по кабинету на тайное совещание, но совещание это ни к какому определенному решению так и не пришло. Принц Антон-Ульрих, возмущенный не менее министров, насильно ворвался во

внутренние покои своей супруги, куда в последнее время его даже не впускали. Не стесняясь присутствием Юлианы и Лили, он с свойственной ему запальчивостью стал осыпать принцессу упреками, еще более обыкновенного заикаясь и брызгая слюной.

— Когда ты этак волнуешься, мой друг, глядеть на тебя невозможно! — с брезгливостью отворачиваясь, заметила Анна Леопольдовна. — Ты чем же особенно недоволен? Не тем ли, что я по случаю нашей семейной радости, не спросясь тебя, отличила перед всем двором жениха моей верной статс-фрейлины? Да чья она фрейлина, скажи: твоя или моя?

— Фрейлина-то твоя... Но андреевский орден — высший российский знак отличия, а граф Линар — самый младший из представителей иностранных дворов.

— Ну, иностранцем он останется только до дня своей свадьбы.

— А тогда что же?

— Тогда он переходит в русское подданство и делается моим обер-камергером.

— И это я узнаю также только сегодня!

— Да от кого зависят такие назначения: от



тебя или от меня? Кто из нас регентствует: ты или я?

— К сожалению, ты. Но когда у тебя отнимут регентство, а у сына нашего — трон, тогда ты будешь плакать, рвать на себе волосы, да поздно.

Анна Леопольдовна слегка даже побледнела и пробормотала:

— Что ты такое болтаешь?!

— Говорю я не с ветра, — продолжал принц. — У цесаревны, как сама ты знаешь, заключен тайный договор с Швецией, и Нолькен повез его теперь, надо думать, на одобрение в Стокгольм. Не нынче-завтра шведы объявят нам войну...

— И Миних их разобьет!

— На Миниха ты, душа моя, слишком не рассчитывай. Правда, что он арестовал для тебя Бирона, но ты его самого устранила, и теперь он, пожалуй, готов для цесаревны арестовать и тебя, и меня, и твоего будущего обер-камергера.

— Нет, этого он не сделает! — вмешалась тут Юлиана. — Фельдмаршал дал клятву в верности принцессе и клятвы своей не нару-

шит.

— Но от начальствования армией все-таки может отказаться.

— Так на что же ты сам-то генералиссимус? — вскинулась принцесса. — Если ты так уверен, что нам грозит война, то я предлагаю тебе немедленно принять все нужные меры. Вся ответственность падет на тебя.

— Вот и толкуй с прекрасным полом... — пробурчал принц-генералиссимус, которому такая перспектива, видимо, ни мало не улыбалась. — Война со шведами нужна не нам с тобой, а цесаревне. Так надо склонить цесаревну в нашу сторону, и самым верным средством к тому был бы брак с моим братом Людвигом.

— Да вот Юлиана не верит, чтобы тетя Лиза вышла за него.

— Попытаться можно, — сказала Юлиана. — А чтобы возвысить принца Людвига в глазах цесаревны, хорошо бы сравнить его в знаках отличия с графом Линаром.

— Вот это так! — одобрил Антон-Ульрих. — Вы, Юлиана, что ни говори, все-таки большая умница. У графа Линара отнять его орден, ко-

нечно, уже нельзя: это повело бы к конфликту с дружественным двором.

— Наконец-то договорились! — облегченно вздохнула Анна Леопольдовна. — От твоего брата зависит понравиться цесаревне. Ты теперь, надеюсь, успокоился?

— Отчасти да...

— Ну, и слава Богу! До свиданья.

С прибытием принца Людвига брауншвейгского правительница действительно в самый день приема пожаловала его кавалером ордена Святого Андрея Первозванного. Возвысило ли его это в глазах цесаревны — оставалось, впрочем, под большим сомнением, потому что в обращении ее с ним замечалась явная холодность. Что же до высказанных Антоном-Ульрихом опасений о разрыве с Швецией, то они очень скоро оправдались: через несколько дней уже пришло в Петербург из Стокгольма формальное объявление войны. Впоследствии подтвердилась и догадка о тайном договоре цесаревны Елизаветы с шведским королем. Договор этот хотя и не был заключен на бумаге, чтобы он не попал как-нибудь в руки немецкой партии, но от-

дельные пункты договора цесаревна повторила словесно поверенному шведского посольства на аудиенции три раза.[27] Натянутые отношения двух враждебных лагерей при петербургском дворе — немецкого и русского, — понятно, еще более обострились. Особенно способствовал тому будущий герцог курляндский (как шепотом называли уже графа Линара), который в надменности своей напоминал все более герцога Бирона и не упускал случая принизить цесаревну.

Так в годовщину рождения малютки-императора, 12 августа, когда, после парада войск, весь двор направился в банкетный зал, принц Антон-Ульрих и его брат Людвиг, по настоянию Линара, были посажены за стол обер-гофмаршалом, а Елизавета Петровна — просто гофмаршалом. После же банкета Линар с нескрываемой иронией выразил свое удивление богатству цесаревны, которая, как слышно, оделила изрядной суммой каждого из солдат гвардейского отряда, двинутого в Финляндию против шведов.

Цесаревна, не показывая вида, что поняла иронию, отшутилась с обычной своей привет-

ливой улыбкой:

— Вас, граф Линар, это удивляет? Наш генералиссимус по своей похвальной бережливости не нашел возможным снабдить наших защитников хоть небольшими карманными деньгами, столь необходимыми в походе, да еще в чужой стране. Ни для кого здесь не тайна, что я всегда принимала живое участие в гвардейцах, любимцах моего батюшки. Как же мне теперь было не позаботиться о моих опекаемых? Я рассчитываю получить за то еще благодарственный рескрипт.

Говорилось это так благодушно, что генералиссимус не знал, принять ли это за злую насмешку или за безобидную шутку.

— Но такая расточи-чи-чительность... — возразил он, заикаясь. — Вы дали каждому рядовому целых пять рублей...

— А вашему высочеству известна и цифра? Могу вас только поздравить с вашими превосходными агентами.

— Агенты не мои, а...

Хотя Остермана, отговорившегося, по обыкновению, своей подагрой, и не было на банкете, но принц вовремя спохватился и

прикусил язык. Юлиана, оберегавшая всегда вокруг особы своей госпожи мир и порядок, поспешила напомнить принцессе, что пора бы теперь прочесть и торжественную оду, доставленную на сегодняшней день из Академии наук.

— Ах, да! — согласилась Анна Леопольдовна. — Автор этой оды, господа, тот самый студент Ломоносов, который еще два года назад прислал из-за границы такую же оду на взятие Хотина. На днях он возвратился в Россию.

— А знаешь ли, Лили, откуда взялись у нас деньги для гвардейцев? — шепотом спросила свою подругу Скавронская.

— Откуда?

— Только ты дальше-то не пересказывай. Всякому ведь неприятно, когда к нему заглядывают в кошелек. А в кошельке цесаревны большая прореха: нынешний месяц весь двор наш остался без жалованья.

— Как! Все из-за этих гвардейцев?

— Ну да, не отпускать же их в дальний путь совсем нищими.

Разговор двух подруг был прерван чтением новой ломоносовской оды, выслушанной

всеми присутствующими с большим вниманием и даже с возгласами восхищения. Правительница со своей стороны поручила тут же своему обер-гофмейстеру, Миниху-сыну, распорядиться напечатать оду в "Санкт-Петербургских ведомостях" и отпустить ее автору приличную денежную награду.

— Как жаль, что Гриша не мог слышать этих стихов! — тихонько заметила Лили. — Ведь одну на взятие Хотина он выучил даже наизусть.

— Так пошли же ему их, — улыбнулась в ответ Скавронская.

— А что ж, и пошлю. Но с кем?

— Да с Разумовским. Алексей Григорьевич! — окликнула она Разумовского. — Пожалуйста-ка сюда.

Тот поспешил на зов.

— Що треба ясным паненкам?

— Ведь Самсонова своего вы, верно, каждый день видаете?

— Эге.

— Так спишите-ка сейчас эти стихи и от имени баронессы Врангель отдайте Самсонову.

Разумовский замялся. Признаться ясным паненкам, что в грамоте он не силен, было куда уж неловко.

— Оттак-так... — пробормотал он про себя, и рука его сама собой потянулась к затылку.

— Вы как будто затрудняетесь? — спросила Скавронская.

— Стихи-то больно уж долгие, почитай, в десять сажень. И в десять ден их не спишешь!

— А лень раньше вас родилась?

— Раньше, матинко. В "Ведомостях"-то их все равно ведь пропечатают, тогда он их и прочитает.

— Да когда-то это еще будет! — сказала Лили. — Видно, самой мне уж придется это сделать...

— Гай, гай! Як же се можно. Ось що ми зробимо, — нашелся сметливый хохол. — Нехай Самсонов сходит к самому Ломоносову с доброй весточкой, что от-де за его вирши гарние назначена ему награда приличная. Да тутотко и попросить у него списать. От и вся. Чи добре?

— Добре, добре! — рассмеялась Лили над его уловкой. — Но вы, Алексей Гриюгоьич, уж



не забудете?

— Ни, Боже мой!

И, очень довольный, что так удачно вывернулся, Разумовский поспешил отретироваться.

Закончилось празднество, как требовалось, иллюминацией и фейерверком, устроенными на Неве против Зимнего дворца по плану академика Штелина.

На следующий день состоялось во дворце в присутствии всех представителей иностранных держав и высших сановников торжественное обручение Юлианы Менгден с графом Динаром, после чего следовал итальянский концерт, а вечером ужин в доме зятя невесты, Миниха-сына.

Еще два дня спустя сам Линар устроил у себя роскошный банкет для сторонников немецкой партии. Но двое из последних, наиболее видные — Остерман и Головкин, — отказались из-за нездоровья. В действительности же они не могли простить непомерной заносчивости этому выскочке-иностранцу, мнившему себя, казалось, уже будущим временщиком и требовавшему особенной почти-

тельности к своей особе даже от высших государственных чинов и первых придворных дам. В русском же лагере прямо так и говорили:

— Была бироновщина, была остермановщина, дождемся и линаровщины.

## **Глава двадцать первая**

### **ЧЕТА ЛОМОНОСОВЫХ**

"Она все-таки еще меня помнит!" — подумал Самсонов, когда Разумовский от слова до слова передал ему поручение Лили, и в тот же день он собрался к Ломоносову. Как сказали ему в Академии наук, "фатера скубен-ту Михаиле Васильичу" была отведена в казенном доме, купленном летось у немца Бреверна на Малой Неве за Средней перспективой.

Дом оказался каменный, трехэтажный, но с улицы не имелось подъезда. Пройдя калиткой во двор, Самсонов направился к довольно запущенному флигелю, где рассчитывал найти дворника. На первой же площадке из открытой настежь двери на него пахнуло теп-

лым паром, сквозь клубы которого он различил около кухонной плиты молодую женщину с подтыканным подолом и засученными до локтей рукавами, стирающую белье в корыте.

"Дворничиха!" — сообразил Самсонов и переступил порог. Но едва только он открыл рот для вопроса, как женщина, по естественному чувству приличия приведя в порядок свой наряд, фыркнула на непрошеного гостя:

— Fort! Fort![28]

"Прислуга из немок", — решил теперь Самсонов и спросил уже по-немецки, где тут в доме проживает "Herr Lomonossoff"[29] Господин Ломоносов (*нем.*)..

Услышав свой родной язык, молодая немка покраснела, но ответ ее прозвучал еще суровее:

— Его нельзя теперь видеть!

— А! Так он здесь квартирует? Что же, он разве нездоров?

— Здоров, но сидит за работой. Приходите вечером!

— Was ist da wieder los, Christine? (Что там опять, Христина?) — донесся тут из-за притво-

ренной соседней двери мужской голос.

Христина замахала обеими руками, чтобы Самсонов поскорее убирался, но он, очень довольный тем, что обратил уже на себя внимание хозяина, ответил по-русски:

— Не осудите, Михайло Васильич! Я вас недолго задержу.

Дверь отворилась, и в ней показался, в расстегнутом камзоле, без кафтана, полнолицый, добродушнейшего вида мужчина лет двадцати восьми-девяти.

— Коли так, то милости просим, — сказал он. — У нас ныне, как изволите видеть, генеральная стирка, и тогда моей благоверной не до гостей.

Теперь у Самсонова не могло уже, конечно, быть сомнений, что госпожа Христина — не дворничиха и не прислуга, а сама хозяйка дома, и он смущенно начал извиняться.

— Покудова мы обходимся еще без прислуги, — объяснил Ломоносов. — Ja, Ja, mein Herz, erhitze dich nient! (Да, да, душа моя, не волнуйся!) — прибавил он, видя недовольную мину супруги, и поспешил провести гостя к себе в комнату.

— Прошу садиться, — указал он ему на стул. — В неметчине у них матери семейства не то что наши русские дурафьи-щеголихи, черной работы не гнушаются. А мне это и на руку, финансы еще не в авантаже. Благо, хоть две каморки отвели бесплатно.

Комната по своим малым размерам и то заслуживала скорее название каморки. Обстановка была более чем скромная, но чистота и порядок в ней были образцовые, только письменный стол был завален раскрытыми фолиантами, обложен исписанными листами.

— Спальня наша не больше, — продолжал Ломоносов. — Да окно к тому же выходит на стену. Но дареному коню в зубы не смотрят, есть хоть где голову преклонить.

— И работать? — досказал Самсонов. — А я вот еще помешал вам! Но зато я принес вам добрую весть: новейшую вашу оду правительница повелела напечатать в «Ведомостях» и отпустить вам за нее денежную награду.

— Вот за это большое спасибо! Деньги нам теперь что манна небесная.

— Сколько именно вам назначат, — ска-

зять не умею, но приказано выдать вам награду приличную.

— Спасибо! — повторил Ломоносов. — И вам тоже спасибо, что себя беспокоили.

Обеими руками схватил он и потряс руку Самсонова, которого, судя по платью, обращению и говору, должен был принять за человека своего круга.

— А у меня ведь к вам, Михайло Васильич, тоже своя просьбица, — заговорил Самсонов.

— Чем могу служить?

— Этой оды вашей я еще не читал, но ее очень хвалят. Когда-то ее еще напечатают! Так вот, кабы мне теперь же списочек...

— Чем богат, тем и рад, — сказал Ломоносов, подавая ему исписанный кругом лист. — Список, как видите, черновой, с поправками.

— Тем он мне еще дороже. И подумать ведь, что вы тоже из простого звания, а стихотворцем и ученым стали!

— А что вы сами теперь-то?

— Теперь... получеловек, четверть человека. Но это длинный сказ.

— Так что и горло пересохнет? Так мы его подмочим. Christine! [30]

Жена, занятая своим делом, не торопилась, и муж окликнул ее еще зычнее:

— Holla, Christinchen![31]

Она будто оглохла. Зато из спальни рядом раздался детский плач.

— Ну, так, дочурку разбудил! — сказал Ломоносов и поспешил в спальню.

Вслед за тем он возвратился оттуда с ба-рахтающимся младенцем на руках, напевая немецкую колыбельную песню:

Schlaf, Kindchen, schlaf.[32]

[33]

Но дочурка не унималась. Звонкий голосок ее тронул наконец и сердце молодой матери. Она влетела из кухни и выхватила малютку из рук мужа.

— Да я управлюсь с ней, милая Христина, — говорил виноватым тоном Ломоносов. — Сбегала бы ты лучше за пивом...

— Не можете вы, мужчины, обойтись без этого проклятого пива! — возразила Христина.-

Schlaf, Kindchen, schlaf...

Сам бы и ходил.

— И то, не убраться ли подобру-поздоро-

ву? — отнесся Ломоносов вполголоса по-русски к Самсонову. — Есть у нас тут неподалеку преизрядная Bierstube.[34]

Видя, что муж снимает с гвоздя кафтан и шляпу, а гость берется за картуз, молодая дама и без слова Bierstube поняла, куда они направляют стопы.

— Смотри только, не давай записать на себя опять лишнее! — предостерегла она и, достав из кармана тощий кошелек, сунула в руку мужу мелкую серебряную монету.

— Она у меня и казначейша, — пояснил Ломоносов своему спутнику, когда они выбрались оба за калитку на улицу. — С нашим братом, русским, иначе сладу нет. Добрая жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет. Вы ведь, я чай, еще холостой?

— Холостой.

— Так коли станете брать себе жену, берите немку: все вернее.

Самсонов промолчал, но не мог подавить вздоха.

— Знать, кого себе уже наметили? — догадался Ломоносов. — Только не из немок? Аль руки коротки?



— Коротки...

— Не тужите: отрастут!

## Глава двадцать вторая

# ОТ РЫБАЧЬЕЙ ХИЖИНЫ ДО ХРАМА НАУК

— Ну, вот, теперь пообсудим, как из вас сделать настоящего человека, — сказал Ломоносов, усаживаясь с Самсоновым за свободный столик в Bierstube. — Но для сего вы первым делом поведайте мне про себя, со всею откровенностью, кто вы, отколе и чему обучены.

И поведал ему Самсонов, как, переходя из рук в руки, обучился грамоте, письму и счету, а потом и сельскому хозяйству.

— Та-а-к... — промолвил Ломоносов, следивший за его рассказом с таким живым участием, что незаметно одолел уже вторую кружку пенистого пива. — Пути у нас, я вижу, разные, но оба мы — сыны народа, оба рвемся на свет и воздух. По духу мы братья, а потому выпьем-ка на брудершафт: пойло немецкое, так и побратаемся по-немецки.

С налитыми до краев кружками оба разом приподнялись и через руку накрест, как полагается, опорожнили их до последней капли, после чего трижды облобызались.

— Отныне стал ты для меня Гриша, а я для тебя Миша, — сказал Ломоносов.

— Нет, Михайло Васильич, — возразил Самсонов, — дозвожь уж мне величать тебя по имени и отчеству: ты вышел уж на свет и воздух...

— Добрел до порога храма наук — верно, и, с Божьей помощью, попаду и в самый храм. Но и сейчас, пожалуй, я проживал бы в своих Холмогорах, рыбачил бы на Белом море, кабы не счастливый случай да страсть к учению. Зародилась она во мне, видно, от деда моего с материнской стороны, дьякона.

— Так грамоте ты от него же научился или от родной матушки?

— Нет, дед до меня не дожил, а матушка скончалась, когда я был еще малышом-несмышленишем. Погоревал по ней батюшка, а там женился вдругорядь: без хозяйки в доме неукладно, неустройно, особливо у беломорца, который полжизни в море. Маче-

ха (не тем будь помянута!) не больно-то меня голубила. Но нашелся добрый человек из грамотных, нашей же волости крестьянин, Иван Шубной, взял меня в науку. Чтение и письмо дались мне, могу сказать, шутя, и стал я в нашей приходской церкви чтецом на клиросе да за амвоном. Заутреня ли, обедня или вечерня, я уже тут как тут, читаю псалмы, каноны, жития святых, а кончится служба, захожу к старичкам в трапезную да своими словами пересказываю им опять то, что прочитал.

— Но все одно церковное?

— Да, мирских книг в те поры у меня еще и в руках не было, пока в доме одного соседа, Христофора Дудина, не попались мне на глаза два учебника: грамматики Смотритского да арифметики Магницкого. Не хотел он сначала давать мне их, да сыновья, приятели мои, упросили. В тех двух учебниках отверзлись мне впервые врата учености. Подвернулась мне еще как-то Псалтирь Симеона Полоцкого, виршами переложенная. Стал я и сам в стихотворстве упражняться...

— А мачеха ничего, не препятствовала?  
Ломоносов отмахнулся рукой.

— Прости ей Бог! Наговаривала на меня ба-  
тюшке, что-де бездельничаю, от работы отлы-  
ниваю. А я работу свою же по совести испол-  
нял, с великой даже охотой выезжал с батюш-  
кой на галиоте его «Чайке» на рыбный про-  
мысел и в Белое море, и в Ледовитое. Жизнь  
простая, но здоровая. Лег — свернулся,  
встал — встряхнулся. В глухую же зимнюю  
пору какое уж дело, oprичь книг? И дошло  
тут до меня, что есть в Москве первопрестоль-  
ной училище, где в стихотворству, и всяким  
наукам обучают. Но лишь только заикнулся я  
о том, мачеха, а за нею и батюшка в один го-  
лос порешили: "Женить молодца, чтобы от до-  
му не отбивался, из воли не выходил!" Отыс-  
кали они мне и невесту...

— Да сколько же тебе, Михайло Васильич,  
было тогда лет?

— А шел мне девятнадцатый год. Не воз-  
мог я покориться и темной ночью был таков.

— Без родительского даже благословения?

— Не легко, знамо, было, да что подела-  
ешь! Не схоронить же себя в такие годы на  
весь век.

— А как же насчет паспорта?

— Паспорт я выправил себе еще загодя, а денег три рубля да китаечное полукафтанье занял у приятеля своего Фомы Шубного. Зима же стояла тогда лютая, снега великие, а до Москвы от Холмогор свыше тысячи верст. Долго ль тут заблудиться, замерзнуть! По счастью, попался мне рыбный караван, что вез мерзлую рыбу в Москву, а добравшись туда с караваном, разыскал я и то училище. У москвичей оно все еще называлось по-старому Заиконоспасским, ибо стояло позади иконных лавок при Спасском монастыре, у начальства же оно было уже переименовано в Славяно-греко-латинскую академию. В уважение моего рвения к наукам, меня допустили обучаться славяно-греко-латинской мудрости, одели в сермяжный кафтан, а на пропитание, обувь, бумагу и все прочее положили алтын в день, за это я должен был отправлять еще и пономарскую службу.

— Да на алтын в сутки и не прокормиться здоровому человеку!

— Мирянину, а нас держали по-монашески. На денежку хлебца, на денежку кваску — и сыт до утра. Впрочем, — прибавил Ломоно-

сов с усмешкой, — и нам доводилось иной раз полакомиться. Как сейчас помню такой казус. Был в монастырском саду у нас небольшой пчельник, но меду хватало с осени ровно-ровно на монастырскую братию. Мы же, глядя, только рот утирали. Но вот однажды, когда монахи вынимали мед из ульев, случись быть грозе. Хлынул такой ливень, что пришлось им спастись, бежать домой с корытом собранных сот. Поставили они корыто пока что на галерейку. А туда же выходили окна нашей семинарской спальни. От грозы в спальне духота стояла нестерпимая. Открыли мы окна, а с галерейки как пахнет к нам сладким медовым духом!

— И вы не устояли? — рассмеялся Самсонов.

— Как устоять? Вылезли все один за другим на галерейку к медовому корыту и принялись за соты — кто с перочинным ножом, а кто и просто руками. И грех, и смех! Услышали проказников отцы честные, накрыли на месте преступления.

— И тяжкую небось епитимию наложили?

— Как кому: до утра засадили стихи пи-

сать. Мне-то это было на руку, сочинил живым манером некую аллегорию про мух, в меду увязших.

— А стихов тех, Михайло Васильевич, ты теперь уже не припомнишь?

— Может, и припомню, постой-ка... Ломоносов на минуту задумался.

— Вспомнил:

*Услышали мухи  
Медовые духи,  
Прилетевши, сели,  
В радости запели.  
Егда стали ясти,  
Попали в напасти,  
Увязли бо ноги.  
Ах! плачут убоги:  
Меду полизали,  
А сами пропали!*

Стишки, как видишь, не ахти какие, однако начальство одобрило, выставило на них ноту "pulchre".

— А это что же значит?

— Значит "прекрасно".

— С той поры, поди, ты и ученье забросил, все стихами баловался?

— Нет, куда больше стихов занимали меня все-таки две строгие науки: математика да физика. Годами-то был я ведь много старше товарищей, и в досуженное время, бывало, когда те на дворе играют и резвятся, я в монастырской библиотеке в книгах роюсь. Тут пришло из здешней Академии наук требование прислать двадцать отроков, в науках достойных. Но таковых оказалось меж нас всего двенадцать человек.

— И ты, Михайло Васильич, конечно, в том числе?

— И я тоже. Здесь, в Питере, для доучивания за границей, выбрали из нас опять троих: Виноградова, Рейзера да меня. Отплыли мы из Кронштадта морем в Любек, а оттуда двинулись уже сухим путем прямо к месту назначения — в университетский город Марбург.

— А как же насчет языка-то?

— Читались лекции там по-латыни, а в латыни мы все трое были изрядно-таки крепки. Объясняться же с профессорами да студентами приходилось поневоле на родном их языке, а по-немецки из нас говорил один только немец Рейзер. Но любовь все преодолагает...



— Любовь к науке?

— Нет, любовь сердечная. У квартирного хозяина моего, Генриха Цильха, члена городской ратуши, а по ремеслу — портного, была молодая дочка... Да ты давеча сам ее видел, нынешняя моя спутница жизни.

— Так от нее-то ты и научился по-немецки?

— И как еще! Как по писаному. Мы сейчас бы сочетались браком, но про женитьбу нашу отец ее пока и слышать не хотел: за душой ведь у меня ничего не было. Накопилось еще долгов на мне, вместе с товарищами, за два с половиной года пребывания в Марбурге, нимного нимало — до двух тысяч рейхсталеров.  
[35]

— Да разве вам из Питера не высылали денег?

— Высылали, но всего лишь по триста рублей в год на брата. А великие ли то деньги для студента-бурша с широкой русской натурой! Однако, сказать должен, и ученьем мы не пренебрегали: слушали химию, физику, математику, философию, работали в мастерских научных — лабораториях. И не пове-

ришь, брат, как в этукую научную работу втягиваешься! Благороднее, выше науки все-таки ничего в мире нету! Завершить же учение по горному делу нас отправили в Саксонию, в Фрейберг, где первейшие в Европе рудники, особенно серебряные. Там открылся мне еще и другой драгоценный рудник — стихи славного немецкого стихотворца Гюнтера.[36] Музыка, да и только! Попробовал я и сам писать тем же ямбическим складом русские стихи...

— Как писана ода твоя на взятие Хотина?

— Вот-вот. Сочинил я ее как раз тогда в Фрейберге и оттуда отправил сюда, в академию. Но соловья баснями не кормят. Из Марбурга в Питер выслали синодик наших долгов. Академия уплатить их уплатила, но сократила нам зато стипендии наполовину — до полутора ста рублей, да наказала еще нашему новому патрону в Фрейберге, берг-физику Генкелю, выдавать нам на руки не выше одного талера в месяц.

— Однако! Ну, а вы что же?

— Сбежали, разумеется, я первый.

— Куда это?

— А назад в Марбург к невесте. Но пришла

беда — отворяй ворота. Отца моей Христины не оказалось уже в живых, и сама она сидела без гроша, а родных у нее ни души. Что тут долго раздумывать? Взяли мы, пошли вместе к пастору да и дали повенчать себя.

— Но на что же вы жить-то хотели? — заметил Самсонов. — Ведь и сам ты, Михайло Васильич, был еще в долгах?

— Любовь, друг любезный, не рассуждает. Заимодавцы и то собирались уже меня в долговую яму упрятать. Хоть Лазаря пой, хоть волком вой. Порешил я тут съездить в Голландию к посланнику нашему, графу Головину, авось-де выручит земляка.

— И выручил?

— Нет, не тут-то было.

— Для таковых оказий, — говорит, — особых сумм нам не положено. Академия наук вас командировала, к ней и адресуйтесь.

Волей-неволей пришлось повернуть опять оглобли в Марбург. А денег в кармане у меня не только на обратный путь, но и на продовольствие ни гроша ломаного уж не оставалось. Хоть ложись и с голоду помирай! Оказали мне тут посильную помощь купцы архан-

гельские, что наехали за товарами в Амстердам (дай Бог им здоровья!). Добрался я так хоть пешочком, да не впроголодь почти до самого Марбурга. На последнюю ночевку занесла меня нелегкая на постоялый двор, где стояла тоже партия новобранцев-пруссиков. Чтобы помирить тех с солдатской долей, офицер угощал их вином, расхваливал им, расписывал военное житье-бытье. Велел он и мне тоже подать вина, подливал стакан за стаканом. Задвоилось у меня в очах, голова кругом пошла. Как сидел, так и заснул я за столом, а наутро, проснувшись, гляжу: стоят передо мной офицер и вахмистр, с королевско-прусской службой поздравляют. Оторопь меня взяла.

— С какой такой службой? — говорю. — Я — верноподданный русской царицы...

— Вчера ты, милый, был еще таковым, — говорит офицер, — а нынче ты такой же, как и мы, пруссак и наш товарищ-солдат.

— Дудки! — говорю. — Donnerwetter![37] Никогда я не буду вашим товарищем.

— Да ты проспал, знать, что было вчера, — говорит тут вахмистр.

— А что же было?

— Было то, что ты с господином поручиком ударил по рукам, пил с ним за здоровье нашего короля и принял задаток.

— Никакого, — говорю, — задатка я и брать не думал.

— А что у тебя в кармане-то?

Я хватать рукой в карман. Что за дьявольщина: горсть серебра да золота!

— А на шее что у тебя?

Гляжу в зеркало: на шее-то красный воротник! А вахмистр смеется, треплет меня по плечу:

— Ну, что, кто прав? Да что ты нос на квинту повесил. Полно, дружище. Kopf hoch! (Голову вверх!) Из тебя еще выйдет лихой кавалерист, на параде все красавицы наши на тебя заглядятся.

А мне, женатому человеку, какое уж до них дело! Каково, брат, положенье-то?

Ломоносов сделал небольшую паузу, чтобы промочить пивом горло.

— Положенье незавидное, хуже, почитай, даже крепостного, — согласился Самсонов. — Но неужели ты так им сейчас и дался?

— А что ж я, один и безоружный, мог сделать против воинской силы? По жестоком на теле наказании в кандалы бы еще только заковали. Пришлось показать вид, что покорился. И погнали нас, рекрутов, в прусскую крепость Везель затем, чтобы мы не дали тяги. Надзор за нами был установлен строгий, а за мной тем наипаче.

— Но ты все-таки улизнул?

— Улизнул, но и теперь еще, как вспомню, мурашки по телу бегают. Первым делом надо было их бдительность усыпить. Притворился я, что службой зело доволен, и стали присматривать за мной уже полегче. Но выбраться на волю было не так-то просто: вокруг крепости были два вала и два рва, валы превысокие, а рвы преглубокие и наполнены водой. За вторым рвом еще частокол и палисадник, а на первом валу расхаживают часовые под ружьем: только сунься — уложат наповал. Выбрал я ночку темную, безлунную, выждал, пока товарищи мои в карауле не заснули крепким сном, и стал тихонько одеваться, одевшись же, выскользнул за дверь. От караулки до вала было недалеко. Добрался я незамечен-

ный до вала. За теменью часовых наверху не видать, слышу только, как шагают они по валу, как бряцают оружием и перекликаются. Господи, благослови! Влез я к ним на вал, ползком меж двух часовых спустился в первый ров и вплавь добрался до второго вала. Тем же порядком перебрался и через второй вал, через второй ров на контрэскарп (противоположный откос рва).

Платье на мне промокло до костей, — хоть выжми, но главная опасность была все-таки уже позади. Передохнув, я перелез через чаштокол в палисадник, а оттуда в открытое поле.

До гессенской границы от крепости было верст восемь. Там, в чужой земле, пруссаки меня не смели уже тронуть.[38] Но не сделал я еще и двух верст, как из крепости за мною пушечный выстрел: бум! Это означало: «дезертир». А дезертир не жди уже пардона: в двадцать четыре часа расстреляют. Впереди же у меня еще целых шесть верст, добегу ли? Между тем на востоке стало уже светать, скоро и народ поднимется со сна, увидит бегущего и сцапает... Страх окрылил меня, лечу впе-

ред без оглядки. Наконец-то граница! Как сноп повалился я в траву: дыханья уже не хватило...

— Слушая тебя, Михайло Васильич, и у меня у самого, признаться, дух заняло, — сказал Самсонов. — А жена тебе в Марбурге, я думаю, как обрадовалась?

— Что и говорить! Но жить нам все же не на что было, не на что и в Питер выехать. Отписал я о том в академию, завязалась переписка, послал нам за то время Господь и дочку. В конце концов, однако, выслали мне вексель, и мы тронулись с места. И вот я у цели — у преддверья моего храма... Kellner, Bier [39]



## Глава двадцать третья

### В ЧЕМ СЧАСТЬЕ

— В преддверье тебе, Михайло Васильич, живется хоть еще и не очень-то красно, — заметил Самсонов, — но не нынче-завтра тебя сделают тоже академиком...

— Улита едет, когда-то будет! — отвечал Ломоносов. — Но академиком я, конечно, однажды буду: плохой солдат, что не надеется сделаться генералом. Две работы по физике и химии я на днях уже представил на суд академии. Уповаю, что они заслужат мне место адъюнкта. Нашим немцам-академикам ведь на руку, что нашелся им молодой русский товарищ, знающий и по-немецки: могут меня для своих работ использовать. Для меня же место адъюнкта до поры до времени — венец желаний. Ты не поверишь, что за услада погрузиться этак до макушки в свои собственные изыскания физические и химические. Умиляешься духом, забываешь кругом весь свет с его мелочными дразгами...

— А жалованье адъюнкта изрядное?

— На меня с женой и ребенком хватит: триста рублей в год. Не об одном хлебе человек жив бывает. Счастье, брат, не в богатстве, а в довольстве тем, что есть, паче же того в любимом труде.

— В любимом и свободном! — вздохнул Самсонов. — Ты, Михайло Васильич, совсем ведь свободен...

— Ни один человек, друг мой, даже самый знатный, самый богатый, не совсем свободен. Наравне с нами он связан, прежде всего, законами природы: притяжением земли, сном, едой и питьем...

— Но наслаждаться благами жизни он может всюю.

— Ты думаешь? Спроси-ка на совесть у этих господ, что едят за обедом десять отборных блюд, заливают их дорогим заморским вином, находят ли они в этом еще наслаждение? Всего уже они перепробовали, все-то им давным-давно приелось. Нам с тобой кружка такого простого пива, наверное, куда вкуснее, чем им шампанское. Но помимо законов природы для них, как и для нас, существуют еще законы человеческие, и чем кто богаче,

знатнее, тем крепче он, неразрывнее связан цепями условностей своего общества. Возьми любого вельможу: ему надо иметь очень гибкую спину, быть всегда готовым лететь со всех ног, куда прикажут, выслушивать всякие пошлости и глупости с приятной улыбкой. Словом, он весь век свой до гробовой доски — раб своих житейских обязанностей, лакей высшего ранга.

— Но продать его первому встречному все-таки никто не может!

— Продать — нет, но столкнуть с высоты, и чем выше кто вознесся на поприще государственности, тем ниже он падает при колоратностях жизни. Живой пример у нас на глазах: Волынский, Бирон. Ты хоть и крепостной человек, но цесаревнин, и особого гнета свыше, верно, не испытываешь?

— Не могу пожаловаться.

— И свободного времени в течение дня у тебя час-другой найдется?

— Найдется.

— Так чего ж тебе еще? Стало быть, в эти свободные часы ты можешь отдаваться любимому делу. Для меня путеводная звезда — на-

ука, в ней я почерпаю бодрость и силу. Не знаю, есть ли у тебя такая же любознательность и охота к строгой науке...

— Любознательность-то есть, и цифирь я живо прошел, но настоящие ученые книги, признаться сказать, мне не гораздо даются...

— Чересчур сухи и скучны, а?

В ответ на усмешку Ломоносова Самсонов смущенно улыбнулся.

— Выше лба уши не растут, — сказал он. — Пользы-то прямой для жизни от них я не вижу.

— Ну так они для тебя — книга о семи печатях. Я вот еще мальчиком в Холмогорах мечтал сделаться раз Коперником.

— А это что еще, выше академика?

Ломоносов рассмеялся.

— Нет, милый друг, Коперник был великий ученый, который жил двести лет до нас. Он доказал, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вокруг солнца.

— И я как-то читал про то, да так ли это?

— Так, как и то, что земля около своей оси вертится. Сам я тоже спервоначалу этому не верил и пошел в поле, приник ухом к земле,

не расслышу ли, как она вертится, не скрипит ли без дегтю?

— И расслышал?

Такая наивность еще более рассмешила молодого ученого.

— Ну, голубчик Гриша, Коперника из тебя, боюсь, не выйдет. Но я не из тех, для коих только и свету что в своем окошке. Чем быть ученым попугаем, каких на свете тоже довольно, лучше тебе стать толковым деловым человеком. Деловые люди столь же нужны матушке-России, как и ученые. К какому же делу, скажи, у тебя всего больше склонность?

— Вырос я в деревне, — отвечал Самсонов, — сызмала пригляделся к деревенскому обиходу. Летом, когда в ливонском имении графа Миниха, за болезнью старика-управляющего, мне пришлось всем орудовать, дело это мне еще крепче полюбилось. А в этом году, когда мы с камер-юнкером цесаревны Разумовским разъезжали по имениям ее высочества проверять приказчиков, я понаторел и по счетной части.

— Прехвально. Стезя твоя, стало быть, явно судьбой тебе предуказана. У самого у меня

книг по сельскому хозяйству не имеется, но в библиотеке нашей академии, полагаю, найдутся, правда, не на русском языке, а на немецком. Но ведь немецкую грамоту ты тоже знаешь?

— Знаю. Я был бы тебе, Михайло Васильич, так уж благодарен!

— За что? Помогать ближнему — прямая обязанность всякого, а для брата нареченного — долг святой. Завтра же справлюсь у нашего библиотекаря.

С этими словами Ломоносов встал и кликнул слугу, чтобы расплатиться. Самсонов вынул было также свой кошелек, но Ломоносов даже готов был рассердиться: когда же гость платит за себя! А так как полученной им от жены гривны оказалось недостаточно для полной расплаты, то он приказал слуге полгривны отдать хозяину, полгривны оставить себе, а остальную сумму приписать к старому долгу. Слуга с низкими поклонами проводил его на улицу.

— А я, Михайло Васильич, хотел спросить тебя еще вот о чем, — начал тут снова Самсонов. — Ты — человек многоученный и рассуд-

ливый. Как ты, скажи, смекаешь насчет цесаревны Елизаветы Петровны?

— В каком смысле?

— Да ведь цесаревна — значит наследница престола, не так ли?

— Так.

— И названа она цесаревной ведь еще тогда, когда покойная государыня Анна Иоанновна на престол воссела?..

— И с собой из Курляндии Бирона, а тот целое стадо таких же грубых скотин вывез? — досказал Ломоносов. — Верно.

— Но она и доселе цесаревной еще величается, — продолжал Самсонов. — Стало быть, право это за ней как прежде признавалось, так и теперь еще будто признается?

— Похоже на то.

— А коли так, то как же по кончине царицы Анны Иоанновны ее вдруг обошли?

— Обошли потому, что к тому времени родился наследник мужеского пола.

— Но после него-то она все-таки ближайшая еще наследница престола?

— Да ты, братец, к чему всю эту речь kloнишь? — недоумевая, спросил в свою очередь

Ломоносов.

— А к тому, что... Ты вот, Михайло Васильич, воспел на днях годовщину рождения младенца-императора...

— Ну?

— И воспел от чистого сердца?

— От чистого, предвидя в младенце будущего счастливого монарха.

— Да здоровьем-то он, идет говор, слаб и выживет ли еще, Бог весть.

— А не выживет, так корону его воспримет по полному праву цесаревна Елизавета Петровна.

— И ты воспоешь ее тогда точно так же?

— Воспою, с вящим, быть может, еще пламенем, ибо ею унаследован, слышно, и острый ум ее великого родителя. Воспеваю я ведь вместе с тем и нашу милую родину, Россию, благо которой мне всего дороже.

— Коли так, Михайло Васильич, то могу по тайности поведать тебе, что оказия к тому тебе скоро, может, представится.

Ломоносов на ходу остановился и окинул своего юного спутника подозрительным взглядом.



— Да ты, сударик мой, уж не конспиратор ли? Не злоумышляешь ли чего против нашей законной правительницы-принцессы?

— Сам я ничего не замышляю...

— Так кто же? Да нет, не говори, я и знать не хочу! Безобидность принцессы и сердечную доброту все восхваляют...

Самсонов, однако, в порыве откровенности не мог уже не поделиться волновавшими его сомнениями с таким душевным человеком, каким показал себя с ним Ломоносов.

— Безобидна-то она безобидна и добра, даже выше меры, — сказал он. — Доверилась этому Остерману и делает уже все по нем. А Остерман, все равно что Бирон, не выносит русского духу, окружил нашу цесаревну своими соглядатаями и поджидает только случая, чтобы уличить ее в происках и упрятать в монастырь. Так нам, русским людям, совсем житья уже не станет.

— Да, это не дай Бог!

— То-то и есть. А гвардейцы наши, можно сказать, молятся на цесаревну. Так дивно ли, что им не терпится провозгласить ее царицей?

— Эх, милый человек! Не след бы тебе об этом мне сказывать, а мне тебя слушать! Почему ты знаешь, не выдам ли я тебя? Чужая душа — дремучий бор.

— Нет, Михайло Васильич, ты-то, я знаю, меня не выдашь.

— Да, мое дело — сторона, я в политику не мешаюсь.

— Так расскажу тебе еще то, что недавно сам своими ушами слышал. Сижу я одним вечером за работой в кабинете Разумовского, заходит тут к нему знакомый офицер-гвардеец, рассказывает: так и так, мол, ходили они, молодые гвардейцы, день за днем в Летний сад, выжидая, не выйдет ли туда погулять и матушка цесаревна. Дождались наконец, всей гурьбой к ней навстречу:

— Матушка! Мы все начеку, ждем только твоих велений!

А она им в ответ:

— Ради Бога, молчите! Услышат вас, так и себя-то погубите и меня сделаете несчастной.

— Но терпения нашего, — говорят, — уже не стало, долго ль еще нам томиться, матушка?

— Как приспееет время, — говорит, — так дам вам знать. А теперь, дети мои, разойдитесь и ведите себя смирно.

— Да, дела, дела! — промолвил раздумчиво Ломоносов. — Но доколе монархом у нас юный Иоанн Антонович, нам с тобой, верно-подданным придержащей власти, не о чем рассуждать, а делать только по совести свое собственное дело...

В таких разговорах собеседники незаметно добрали до местожительства Ломоносова. Услыхав на дворе голос мужа, мадам Христина высунулась из окошка и погрозила пальцем.

— Аминь, аминь, рассыпья! — пробормотал про себя Ломоносов. — Здешняя моя держащая власть, как видишь, не велит нам шуметь: девчурка, верно, сейчас только заснула. Так ты уж не взыщи. А книжки для тебя в библиотеке я уж подышу. До свиданья, дружище!

Крепкое рукопожатье — и они расстались.

## Глава двадцать четвертая ГЕРОЙ РЫЦАРСКОГО РОМАНА СХОДИТ СО СЦЕНЫ

Вскоре для Ломоносова нашлась новая стихотворная тема: 28 августа русские войска одержали под Вильманстрандом первую победу над шведами:

*Российских войск хвала растет,  
Сердца продерзки страх трясет,  
Младый орел уж льва терзает...*

Начинавшаяся такими словами новая ода понравилась правительнице еще более прежних.

— Ведь у шведов в государственном гербе лев, а у нас орел, — говорила она Юлиане.

Младый орел уж льва терзает...

Это мой мальчик-то! Чем бы наградить мне теперь молодого автора?

— Давно ли ваше высочество его наградили? — возразила Юлиана. — Пусть старается. Слишком баловать этих русских не следует: избалуются.

— Ты думаешь? Ну, что ж, подождем.

И, успокоясь на этом, Анна Леопольдовна забыла уже про нашего поэта. К тому же ведь через несколько дней в первых числах сентября ее рыцарь, граф Линар, должен был отбыть в Дрезден на два, а может быть, и на целых три месяца. Чтобы сделаться обер-камергером петербургского двора, а потом (как передавалось пока шепотом) и герцогом курляндским, ему приходилось предварительно сжечь за собой корабли: отказаться не только от должности саксонско-польского посланника, но и вообще от подданства саксонскому курфюрсту, и ликвидировать все свои частные дела.

Прощальная аудиенция Линара у правительницы прошла своим порядком.

Поразило Лили только то, что Юлиана, разлучавшаяся на целые месяцы с объявленным женихом, выказала при этом случае гораздо более самообладания, чем принцесса. Все существо статс-фрейлины, как всегда, было насквозь пропитано тончайшим эфиром придворного этикета, на устах ее играла стереотипная улыбка, а на глазах — ни слезинки.

— Я попрошу вас, граф, на минутку зайти

еще ко мне, — проронила она, когда Линар, поцеловав руку правительницы, отдал и ее фрейлинам прощальный поклон.

"Она хочет проститься с ним без свидетелей, — сообщила Лили. — Сердце у нее все же не совсем ледяное. Вот подглядеть бы!"

Желание ее исполнилось. По окончании аудиенции Анна Леопольдовна вдруг спохватилась:

— Чуть было ведь не забыла! На столике у меня, Лили, под киотом, знаешь, маленький образок...

— Принести прикажете?

— Да, да, только поскорее.

Когда Лили принесла ей образок, представлявший художественной работы миниатюрный лик Спасителя, принцесса приложилась сперва к святому лику, а затем поспешила в комнату Юлианы. Лили, пользуясь своим новым положением фрейлины, последовала туда за ней.

Обрученные, стояли оба у письменного столика, невеста — с шкатулкой в руках, а жених — с пером, которым он только что расчеркивался на каком-то листочке. Посыпав

свой росчерк из песочницы золотым песком, он сложил листочек вчетверо и с поклоном подал невесте, а та, в обмен, вручила ему шкатулку.

— Так-то вернее, — сказала Юлиана. — Кто может предвидеть всякие случайности?

Тут только оба заметили вошедшую хозяйку.

— А у нас тут, ваше высочество, свои семейные счеты, — со своей томной улыбкой объяснил Линар.

Принцесса, казалось, хотела по поводу семейных счетов задать какой-то вопрос, но одумалась и указала Линару на образок в своих руках:

— Вот образ Христа Спасителя. Вам, любезный граф, предстоит дальний путь, и мне хотелось бы благословить вас. Хотя вы и не православный, но Спаситель у нас с вами общий.

Линар преклонил колена, и она благословила его образком.

— Носите его на груди, и всякие опасности минуют вас.

— Ни днем, ни ночью я с ним не расстаюсь, — произнес Линар как бы растроган-

НЫМ ГОЛОСОМ И, ДОСТАВ ПЛАТОК, НАЧАЛ УСИЛЕННО СМОРКАТЬСЯ. — НЕ БУДЕТ ЛИ У ВАШЕГО ВЫСОЧЕСТВА ДЛЯ МЕНЯ КАКОГО-ЛИБО ПОРУЧЕНИЯ?

— У МЕНЯ БЫЛА БЫ К ВАМ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА...

— Она наперед исполнена.

— Вы, граф, столько говорили мне о своем родовом замке на берегу Эльбы... Вот если бы вы велели срисовать его для меня, у вас в Дрездене ведь так много славных художников...

— Желание вашего высочества для меня закон.

— Только нарядитесь сами рыцарем (ведь в вашем семейном музее есть рыцарские доспехи?) и станьте на подъемном мосту или, еще лучше, сядьте верхом на коня, покрытого стальной броней, точно вы сейчас только собираетесь на турнир или в крестовый поход.

— Не премину, ваше высочество. У меня есть ввиду и художник.

— Чудно! Я буду вам так благодарна. А мы с Юлианой тем временем приготовим для вас обоих укромное гнездышко. Я решила дать в приданое за Юлианой дом герцога Бирона. Вы



знаете ведь его? Тут, сейчас около Зимнего дворца.

— Знаю, ваше высочество, это тоже настоящий дворец. Безграничная доброта ваша замыкает мне уста... А теперь мне пора. Храни вас Бог, принцесса! Прощай и ты, моя дорогая!

Поднося к губам руку невесты, Линар окинул комнату последним взглядом и заметил при этом стоявшую в стороне Лили.

— Вам, баронесса Врангель, тоже всего лучшего, — сказал он. — Ко времени моего возвращения я твердо надеюсь найти вас уже замужем.

Слово «твердо» он произнес с особенным ударением и покосился при этом многозначительно на принцессу и Юлиану.

— Слышала, Лили? — спросила Юлиана, когда дверь за женихом ее затворилась. — Он требует, чтобы ты непременно вышла за Шувалова, и нарочно как будто приберег это под самый конец.

— Ваше высочество! — взмолилась Лили к Анне Леопольдовне. — Вы не хотели ведь принуждать меня...

— Хорошо, хорошо... — успокоила ее та, утирая глазакружевным платком. — Но скажи мне теперь, Юлиана, в чем он дал тебе расписку?

— А в тех деньгах и бриллиантах, что он отвозит в Дрезден.

— Точно ты ему не доверяешь!

— Еще я с ним, ваше высочество, не обвенчана. Как только он привезет квитанцию дрезденского банка, расписка будет уничтожена. Я забочусь не столько даже о моих собственных деньгах, сколько о той сумме, которая выручится от продажи ваших бриллиантов и пойдет на расходы по вашей коронации...

— Тс-с-с! Вопрос об этом окончательно еще не решен.

"Она хочет короноваться! — пробежало в мыслях Лили. — Стало быть, провозгласит себя и императрицей и отнимет корону у своего сына? Сама она наверное этого не придумала, а все этот противный Линар... О, если б он не возвратился!"

Она не предвидела, как не предвидели и Анна Леопольдовна с Юлианой, что граф Ли-

нар навсегда уже сошел со сцены.

## Глава двадцать пятая СЛОНЫ ПЕРСИДСКОГО ШАХА

С отъездом своего рыцаря правительница,обыкновенно столь пассивная ко всему окружающему, исполнилась небывалой энергии и жажды деятельности. С особенным жаром принялась она за устройство судьбы Юлианы, точно не ее статс-фрейлина, а она сама выходила замуж. Вместе осмотрели они предназначенный для молодых дом Бирона и распределили в нем все помещения, вместе заказывали всю квартирную обстановку, все хозяйственные принадлежности, белье, платья, а придворный бриллианщик Позье чуть не каждый день являлся во дворец с полными всяких драгоценностей ящичками, чтобы принцессе было из чего выбирать.

Более обыкновенного интересовалась она теперь и государственными делами. Питая непреодолимую антипатию к своему первому министру графу Остерману, явно дружившему с принцем Антоном-Ульрихом, она при-

близила к себе графа Головкина, человека ума недалекого, но несомненно ей преданного. По его указанию, без предварения о том даже Остермана и своего супруга, она назначила шестерых новых сенаторов. Когда те представились принцу, последний принял их сухо, а затем наговорил принцессе столько неприятных слов, что она поручила Головкину выработать для принца особую инструкцию, которою несколько умалялась его власть, и сделала распоряжение о вызове из ссылки прежнего кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Это еще более обострило отношения двух партий немецкого лагеря: принца и Остермана с одной стороны, принцессы и Головкина — с другой.

Между тем у той и другой партии был один общий противник — цесаревна Елизавета, против которой им волей-неволей приходилось действовать сообща. На случай, если бы не удалось сосватать ее за принца Людвига брауншвейгского, Остерман предложил выдать ее за шаха персидского.

— Чтобы христианка вышла за мусульманина, разве это возможно! — возражала

принцесса. — И целую жизнь проводить ей, как в тюрьме, в гареме!.. Она на это, я уверена, не согласится.

— И я не верю, — сказал Остерман с своей тонкой усмешкой.

— Так для чего в таком случае вообще вся эта комедия?

— Для того, чтобы нанести решительный удар популярности самой опасной претендентки на российский престол, сделать ее смешною в глазах гвардии и всего русского народа. Смех в этих случаях поражает вернее пули.

— Но это неблагородно! — возмутилась Анна Леопольдовна.

— Благородство, ваше высочество, вещь в своем роде прекрасная, но в политике не применимая.

— Да и сам шах Надир, говорят, фанатик, и вряд ли станет свататься к христианке.

— А мы предложим ему в приданое за цесаревной царство Астраханское. Азиат, увидите, пойдет на удочку.

Правительница глубоко вздохнула:

— Ну, делайте, как знаете.

"Азиат", в самом деле, пошел на удочку и снарядил особое посольство с подарками как правительнице, так и цесаревне. Главным подарком принцессе должны были быть четырнадцать слонов, для которых приходилось соорудить особые «храмины». Постройка этих «храмин», а проще сказать — высоких амбаров, возложена была на придворных архитекторов Земцова и Шумахера. Подходящее для слоновых амбаров место архитекторы наметили сперва в слоновом бору на Литовском канале, где имелся уже и довольно обширный бассейн. Но слоновый мастер Леонтий нашел, что место то хоть и сухое, да вода в канале известковая, твердая, и купаться слонам в реке Фонтанке куда полезительней. Пришлось подчиниться компетентному мнению специалиста, и «храмины» стали воздвигаться на старом слоновом дворе у Летнего сада, где содержался уже один слон, игравший столь видную роль полтора года назад в национальной процессии на свадьбе карликов покойной царицы. Самый крупный из шаховых слонов, как предварил персидский посланник, отличался своим крайне буйным нра-

вом, особенно в пьяном виде, и кое-кого уже искалечил. А так как старому слону отпускалось (кроме белого виноградного вина к обеду) в летнее время по ведру водки в неделю, а в зимнее по четверти ведра в день, и новым слонам нельзя было отказать в такой же порции, то под действием винных паров большой буйный слон мог натворить еще всяких бед. Поэтому для его слонихи возвели отдельную «храмину». Перед «храминами» была очищена площадка для прогулки шаховых слонов, а к реке оттуда был сделан скатный мост, с которого слоны с удобством могли спускаться в воду для купанья.

Незадолго до прибытия слонов спохватились проверить прочность Аничкова моста, который, по своей ветхости, чего доброго, мог провалиться под их тяжестью. Настил моста, в самом деле, оказался насквозь прогнившим. Тогда нашли нужным освидетельствовать и остальные столичные мосты, по которым предстояло шествовать слонам, и еще четыре моста были признаны неблагонадежными. На всех пяти мостах был закрыт для обывателей проезд, и днем и ночью стучали топоры.

Весь город заговорил вдруг о шаховых слонах и о сватовстве шаха к цесаревне.

Выдача родной дочери царя Петра замуж за нехристя, очевидно, против ее воли, не могла не вызвать в народе новые, враждебные немецкой партии толки. Всего более, конечно, были возмущены преданные Елизавете Петровне гвардейцы. Однажды как-то старого слона водили гулять мимо Царицына луга. Гвардейцы высыпали из своих палаток и принялись поносить слоновых вожаков отборной бранью. Когда же слоновщик Ага-Садук не остался у них в долгу, в него полетели камни. На другой день главная полицейская канцелярия выпустила публикацию, в которой предлагалось всем жителям столицы, под страхом строжайшего взыскания, "в провожании слона слоновщику помешательства не чинить".

Видеть шаховых слонов всем, однако, хотелось, и когда разнесся слух, что слоны прибыли уже в Царское Село и наутро будут в Петербурге, с раннего утра навстречу им, как водится, двинулись толпы зевак.

В это самое время в Зимнем дворце, при за-



мкнутых дверях, с глазу на глаз происходили объяснения между правительницей и нарочно приехавшей к ней цесаревной. Что говорилось между ними, так и осталось неизвестным. Но вот в дверях показалась опять цесаревна, лицо ее пылало, голова была гордовскинута. Следовавшая за ней с заплаканными глазами принцесса напрасно умоляла ее:

— Да уверяю же вас, милая тетя, что сама я на это не была бы капабель (способна)... Все этот Остерман...

— Кто первый подал вам мысль — мне решительно все равно, доискиваться интриганов я не стану, — сухо отвечала цесаревна.

— Но как же нам быть с посланником шаха?..

— Чтобы не было вам конфузий, я его с подарками, пожалуй, приму, без особых, конечно, реверансов, а что скажу ему, о том весь свет потом узнает — и вы с другими.

Никогда еще, казалось, у дочери великого преобразователя России не было такой царственной осанки, с какой она, удаляясь, кивнула на прощание правительнице.

— Вот видишь ли, Юлиана! — жалобно об-

ратилась та к своей наперснице. — Бог знает, что она теперь наговорит посланнику!

— Чем больше эта история наделает шуму, тем лучше, — отвечала Юлиана.

— Нет, нет, довольно! Я не допущу до нее посланника, да и сама не хочу уже видеть ни его, ни его слонов.

— Слонов видеть вам и не нужно, они сделали свое дело. Но аудиенцию посланнику вам все-таки дать придется.

— Ты думаешь?

— Непременно!

Таким образом, слоны были направлены прямо на слоновый двор, аудиенция же персидского посланника состоялась два дня спустя. Приняв присланные ей и ее царственному сыну от шаха драгоценные подарки, правительница заявила посланнику, что подарки для цесаревны могут быть доставлены также в Зимний дворец.

— Но я имею точное приказание от моего повелителя лично вручить их ее высочеству цесаревне, — возразил посланник.

— Ваше превосходительство напрасно только себя беспокоите, — вступилась тут

присутствовавшая при аудиенции Юлиана. — Никого из дипломатического мира цесаревна теперь не принимает.

— Вот именно, никого не принимает! — поспешила подтвердить принцесса.

Посланнику ничего не оставалось как откланяться, а подарки, предназначенные для суженой его повелителя, доставить в Зимний дворец. Так-то эти подарки были получены цесаревной не из рук самого посланника, а из рук обер-гофмейстера правительницы, графа Миниха-сына, на которого вместе с генералом графом Апраксиным было возложено это щекотливое поручение. Елизавета Петровна, полагая, что это новое оскорбление придумано ее заклятым недругом Остерманом, объявила посланцам:

— Вы, господа, исполнители чужой воли, и против вас самих я ничего, разумеется, не имею. Но тем, кто послал вас и кто не в первый уже раз ставит меня в такое амбара, передайте от меня, что всякому долготерпению есть конец.

— Но ваше высочество жестоко ошибаетесь, — счел долгом оправдать свою госпожу

Миних. — Правительница питает к вам самые родственные чувства...

— Верю. По своей сердечной доброте она сама никогда не придумала бы тех унижений, которым подвергает меня по совету своего злого гения — графа Остермана. Скажите ему от меня, что он напрасно забывает, кто он и кто я, забывает, чем он обязан моему родителю, который вывел его в люди. Я же никогда не забуду, что мне дано милостью Божией и на что я имею невозбранное право по моему происхождению!

— А самой правительнице ничего больше не прикажете сказать?

— Скажите, что иной раз одна последняя капля переполняет чашу.

— Одна последняя капля переполняет чашу... — раздумчиво повторила Анна Леопольдовна, когда выслушала доклад молодого Миниха. — Что тетя Лиза понимает под этой последней каплей?..

## Глава двадцать шестая

### ЧЕТЫРЕ МАНИФЕСТА

Тем временем из двинутой в Финляндию русской армии графу Остерману был прислан экземпляр зажигательного манифеста шведского главнокомандующего Левенгаупта к нашей армии. В манифесте этом говорилось, что война предпринята с целью "избавить достохвальную русскую нацию от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить свободное избрание законного и справедливого правительства".

Страдая опять сильными подагрическими болями, Остерман поручил своему другу, обер-гофмаршалу графу Левенвольде, показать манифест правительнице. Прочитав манифест, принцесса спросила Левенвольде, что он сам думает. Тот пожал плечами и отвечал с обычной осторожностью:

— В манифесте, ваше высочество, прямо не упоминается ни о вас, ни о цесаревне, говорится только о чужеземном притеснении и

избрании законного правительства. Нетрудно, однако, прочесть между строк, что под этим разумеется, хотя прицепиться как будто и не к чему. Вообще, надо отдать шведам справедливость: манифест написан тонко и остро.

— Очень остро, — согласилась Анна Леопольдовна и заговорила о чем-то другом.

Остерман на этом не успокоился. Через того же Левенвольде он представил правительнице проект письма к шведскому главнокомандующему от имени главнокомандующего над русскими войсками, в котором сообщалось, что в одной финляндской деревне найден некий возмутительный манифест к русской армии, якобы подписанный им, Левенгауптом; но так как подобные манифесты от неприятеля не приняты у христианских народов, то оный манифест, нет сомнения, выпущен без его ведома, а потому не благоволят ли он, Левенгаупт, объявить его подложным.

— Хорошо, оставьте это у меня, — сказала принцесса, отодвигая ящик стола, чтобы положить туда бумагу.

— А ваше высочество не прочтаете те-

перь же? — спросил обер-гофмаршал. — Граф Остерман считает дело неотложным.

— Как он мне надоел, ваш Остерман! Скажите, что когда прочитаю, то и попрошу его к себе.

День шел за днем, а приглашения от правительницы все не было. Между тем, благодаря своим шпионам, Остерман узнал, что у принцессы были уже какие-то таинственные совещания, сперва с архиереем новгородским Амвросием Юшкевичем, потом с его близким приятелем, действительным статским советником Тимирязевым, что Тимирязев, в свою очередь, отправился к своему приятелю, секретарю иностранной коллегии Познякову, до-ке по сочинению правительственных сообщений, и тот просидел после того целую ночь напролет над какими-то двумя бумагами, которые поутру отвез к Тимирязеву. Несколько дней спустя во дворец был вызван новый кабинет-министр Бестужев-Рюмин. А его, Остермана, главу кабинета, все еще не вызывают! Почва, видимо, уходила у него из-под ног. Он счел нужным испросить себе экстренную аудиенцию.

Анна Леопольдовна, принимая его, не могла скрыть легкого замешательства, что еще более подтвердило в опытном дипломате возникшие в нем подозрения.

— Вашему высочеству благоугодно было доверить господину Тимирязеву, помимо меня, составление двух, первостепенной важности, государственных актов, — приступил он прямо к делу. — Ранее их опубликования не дозволите ли мне как первому министру познакомиться также с их содержанием, чтобы потом не потребовалось опровержения или разъяснения.

Правительница еще более смутилась и поспешила оправдаться:

— Я не хотела, граф, вас беспокоить, потому что... потому что вы же сами ведь писали манифест, где мои дочери обойдены вовсе от наследования престола...

— Манифест о престолонаследии, ваше высочество, писался действительно у меня на дому, но не мною единолично, а сообща несколькими государственными мужами. Притом дочерей у вас тогда ни одной еще не было...



— А теперь есть дочь. Как же было не восстановить ее в правах?

— Не стану спорить, может быть, и желательно дополнить эту недомолвку. Так, наобум, высказаться сейчас по столь серьезному вопросу я не берусь. Об этом, следовательно, трактует один из манифестов, сочиненных господином Тимирязевым? А другой?

— Другой...

Анна Леопольдовна запнулась.

— Другой предусматривает возможность смерти и дочерей? — наугад продолжал допытывать Остерман.

Догадка его, по-видимому, была близка к истине, потому что принцесса растерянно оглянулась на притворенную дверь.

— Где моя Юлиана?..

И она потянулась к серебряному колокольчику на столике около ее оттоманки. Но Остерман задержал ее руку.

— Дозвольте, принцесса, обойтись нам без посторонних советов, которые напрасно усложнили бы только дело. Раз вы признали нужным пересмотреть вопрос о престолонаследии, то не прикажете ли обсудить его в

небольшой комиссии, в которую можно было бы пригласить, например, князя Черкасского и архиерея новгородского Юшкевича.

— Хорошо... Пригласите тоже графа Головкина...

— Слушаю-с. Новым манифестом, который был бы выработан комиссией, взамен обоих проектов господина Тимирязева, можно было бы достойно ознаменовать день вашего рождения, девятого декабря. Не знаю только, не противоречил ли бы этому манифесту, последний проект кабинет-министра Бестужева-Рюмина?

Такое заявление захватило правительницу совсем врасплох. Вся вспыхнув, она пробормотала:

— Так вы слышали и об этом проекте? Кто вам выдал?..

У Остермана почти не оставалось теперь уже сомнений в справедливости дошедшего до него, через его ищеек, слуха о намерении Анны Леопольдовны, еще при жизни сына, самой занять престол.

— Ваше высочество! — заговорил он зловец-строгим тоном. — Вы играете с огнем. На-

рушая права вашего сына, всеми признанного уже государя, вы даете вашим врагам возможность возбудить кандидатуру цесаревны Елизаветы, на стороне которой, несомненно, более симпатий русского народа, особенно же гвардии. Как любительница фантастических историй вы читали, разумеется, арабские сказки "Тысяча и одна ночь"?

— Еще бы.

— Есть там одна сказка про злого духа, закупоренного в бутылку. Бутылку разбили, и заключенный в ней злой дух вырос в один миг в громадного исполина. Наш злой дух — русская гвардия и русское простонародье: дайте им волю, и борьба станет для нас непосильной. Что тогда нас всех ожидает, тому есть в недавнем прошлом немало примеров.

Туго поддаваясь до сих пор на все рассудочные резоны Остермана, правительница была побеждена последним его образным аргументом.

— Ах, Боже мой, Боже мой! — воскликнула она. — Эта ужасная гвардия будет теперь моим вечным кошмаром! Но что же нам теперь делать?

— Единственное радикальное средство — немедленно удалить всю гвардию из Петербурга, чтобы прервать всякие сношения с ней цесаревны.

— Удалить? Но куда?

— Куда как не в Финляндию. Пускай проливает там свою кровь во славу вашу и вашего царственного сына.

— А что ж, и в самом деле! Так вы, любезный граф, устройте это с фельдмаршалом Минихом?

— Миних вашему высочеству по-прежнему верен, но со мной он в контре, а потому оставим его в стороне. Приказ о выступлении гвардии должен последовать для всех совершенно неожиданно, чтобы не дать русской партии опомниться.

— Но как отнесется к этому тетя Лиза? Она будет наверное очень огорчена и рассержена. Как бы уладить мне это с ней по-родственному?

— При всем уважении к вашим родственным чувствам, принцесса, я должен настаивать на соблюдении строжайшей тайны относительно удаления гвардии.

— Но тетя мне этого не простит... А мне хотелось бы сохранить с ней добрые отношения...

— Так при первой же встрече с ней затроньте родственные струны. Вы, дамы, на этот счет ведь большие мастерицы.

— Попытаюсь...

— Попробуйте, ваше высочество, попробуйте, — сказал Остерман и, очень довольный достигнутым результатом, откланялся.

## **Глава двадцать седьмая**

### **ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ**

**В** понедельник, 23 ноября, в Зимнем дворце был простой куртаг, то есть съезд придворной знати для карточной игры под звуки итальянской музыки. Прибывшая также на куртаг цесаревна играла за одним столом с правительницей. Но партнеры их, иностранные посланники, не могли не заметить, что настроение той и другой было совсем необыкновенное: Елизавета Петровна была задумчива и печальна, Анна Леопольдовна же выказывала несвойственную ей нервность.

Когда в игре наступил небольшой перерыв, обе они, как по уговору, встали из-за стола, и принцесса взяла цесаревну по-родственному под руку.

— Что это ты, тетя Лиза, такая грустная? — начала она сердечным тоном. — И зачем ты, скажи, всегда в этакое полутрауре?

Елизавета Петровна действительно давно уже изо дня в день появлялась в самых простых платьях из белой тафты на серой подкладке.

— Радоваться мне нечему, — отвечала она со вздохом. — А что до моих нарядов, то богатые, как твои, знаешь, мне не по средствам, долги делать я не желаю.

— Но в иностранных курантах уже пишут, что ты почти не показываешься в публике, ходишь во вретнице, точно недовольна своим положением.....

Говоря так, правительница незаметно направилась с цесаревной в свои внутренние покои.

— Милая Анюта! — заговорила тут же с горечью цесаревна. — Скажи сама, могу ли я быть довольной, когда со всех сторон окруже-

на шпионами Остермана?

— Да он воображает, что у тебя тайные альянсы и корреспонденции со шведским королем...

— И ваше высочество этому верите?

— Дорогая тетя! Зачем этот официальный тон?

: — И через кого, позвольте спросить, я веду те альянсы и корреспонденции? — продолжала не менее официально Елизавета.

— По словам Остермана, через маркиза де ла Шетарди. Впрочем, утверждает это не один Остерман...

— А кто ж еще?

— Мне пишут о том же из Дрездена и советуют...

— Что советуют?

— Советуют просить французского короля отозвать маркиза, а его приятеля Лестока арестовать.

— Этого-то вы, принцесса, не сделаете. Лесток мой лейб-хирург, и за него я отвечаю. Да и какая мне надобность в посредничестве Лестока, когда сам, Шетарди и без того навещает меня.

— Так зачем же, chère tante,[40] вы его принимаете? Прошу вас, в виде особого одолжения, не принимайте его.

— Рада бы сделать вам приятное, но с посланником шутить не положено. Можно сказать ему раз, другой, что меня нет дома, в третий раз он уже не поверит.

— Он должен поверить, если ему так сказано, или, по крайней мере, показать вид, что верит.

— А правительству своему он донесет другое. Да вот не далее еще как вчера, маркиз подъезжает к моему дворцу в ту самую минуту, когда я выхожу из саней. Тут не помогли бы никакие декларасьоны.

— Вы могли бы отговориться мигренью.

— Нет, лгать не в моих правилах. Но если у вашего высочества уж такой каприз, то прикажите Остерману объявить напрямую маркизу, чтобы он перестал ездить ко мне...

— Так вот Остерман сейчас меня и послушает!

— А зачем же ты, душечка, его слушаешь, коварного и присяжного врага России?

— Но ведь он мой главный министр!



— Если уж он, главный министр, не решится это сделать, то как же я-то решусь? Ты меня, Анюта, так расстроила, что я ночи спать не буду...

Слезы заглушили голос цесаревны, и она прижала к глазам платок. Этого было достаточно, чтобы и принцесса прослезилась.

— Милая тетя Лиза! Ну, прости меня, не обижайся...

— Я не памятозлобна, но мне было так больно, что ты меня супсонируешь (подозреваешь)...

Мир между ними был закреплен объятием и несколькими звучными поцелуями. Минуту спустя они, с влажными еще глазами, но с улыбкой на устах, вышли опять рука об руку к другим.

На другой день, 24 ноября, Елизавета Петровна была немало удивлена визитом своего лейб-хирурга в неурочно ранний час. Вид у него был такой разгоряченный, что она с усмешкой спросила, не заезжал ли он уже к Иберкампфу. Лесток был известный гастроном и один из самых усердных посетителей модного тогда ресторана Иберкампфа на Мил-

лионной, где, впрочем, к услугам петербургских модников имелись также парижские парики и венские кареты.

— Да, ваше высочество, — пропыхтел Лесток, утирая фуляром струившийся у него солба пот. — Я сейчас от Иберкампа...

— Что ж, пришла свежая партия фленсбургских устриц?

— Теперь, ваше высочество, мне не до устриц... Я застал уже там нескольких знакомых гвардейских офицеров. Они встретили меня с полными бокалами:

— А, доктор! Пожалуйста сюда, пожалуйста. Мы пьем прощальную чашу.

— Прощальную чашу? Что это значит, господа?

— Это значит, что мы завтра выступаем в Финляндию, под предлогом, будто бы Левенгаупт подошел к Выборгу. Сейчас только получен приказ от имени правительницы.

— И это после всех вчерашних слез и поцелуев! — воскликнула цесаревна, гневно сверкая глазами. — Знаете ли, доктор, что принцесса уже советовала вас арестовать?

Лейб-хирург весь даже побледнел от испу-

га.

— Меня? Да за что, за что?

— За посредничество между мною и Шетарди. Надо решить что-нибудь теперь же.

— По соглашению с Шетарди?

— Нет, пока мы и без него обойдемся. Приезжайте ко мне вечером как бы на карточную партию. Будут только мои камер-юнкеры. Вместе все и обсудим.

Карточная игра у цесаревны в тесном кругу близких ей лиц не могла возбудить подозрения даже у тех из соглядатаев Остермана, которые сумели втереться в число прислуги елизаветинского дворца. Когда играющим подали чай и игра на время прекратилась, царственная хозяйка заговорила вполголоса:

— Все вы, господа, конечно, уже знаете, что моих гвардейцев удаляют завтра в Финляндию. Тогда я буду беззащитна и руки у врагов моих развязаны. Так вот, я хотела поговорить с вами, что теперь предпринять. Вам, любезный доктор, как старшему, принадлежит слово.

— В принципе переворот ведь уже решен, — начал Лесток. — Ожидалось только ге-

неральное сражение со шведами, и если бы шведы одержали победу, то при их содействии, по мнению маркиза де ла Шетарди, не представилось бы уже затруднений устранить правительницу с Остерманом. Но наши войска, усиленные гвардией, могут теперь победить шведов...

— И слава Богу, если победят! — прервал лейб-хирурга Воронцов. — Вообще я, признаться, всегда был против этой комбинации маркиза, столь унижительной для нашей храброй армии.

— Но мы должны дорожить союзом с Швецией и Францией...

— Которые, поверьте, преследуют только свои собственные интересы.

— Пожалуйста, Михайло Илларионович, дай досказать доктору, — вмешалась тут цесаревна. — Продолжайте, доктор.

— На чем я, бишь, остановился? — заговорил снова Лесток. — Ах да, на перевороте. Предполагался он не ранее как во второй половине января. Но гвардия уходит, — и, как совершенно справедливо заметили только что ваше высочество, руки у врагов наших бу-

дут развязаны. Правительнице советовали уже арестовать меня, и если меня посадят в застенок, то я ни за что не отвечаю: один из ста, а то и из тысячи человек имеет настолько твердой воли, чтобы мужественно вынести пытку. Я чувствую уже на спине своей кнут, а под кнутом в чем не признаешься! Даже в том, чего вовсе и не было.

— Что это вы говорите, доктор! И как вам не совестно? — раздались кругом негодующие голоса.

— Эх, господа, господа! Вы люди молодые и не знаете человеческой природы, а я сужу как старый врач. Если бы у любого из вас стали вытягивать на дыбе жилы, ломать кости, то в припадке умопомрачения, чтобы поскорей только избавиться от нестерпимых мучений, вы точно так же, пожалуй, рассказали бы такие вещи, которые вам и во сне не снились.

— Оставим, любезный доктор, ваши соображения о слабости человеческой природы, — сказала Елизавета Петровна, заметив, как от откровенного мнения лейб-хирурга молодых придворных ее невольно покорило. — Так что же вы предлагаете с своей стороны?

— Ускорить поворот.

— Вот это так! — подхватил с жаром Воронцов. — Завтра же преданная вашему высочеству гвардия уходит, и насколько времени — одному Богу известно. Таким образом, в нашем распоряжении остается всего одна ночь до утра. Обстоятельства нам в том отношении также благоприятствуют, что в эту самую минуту большой съезд у графа Головкина по случаю именин его жены, графини Екатерины Ивановны. Будет ужин, будут танцы. Не успеют гости разъехаться, как все будет уже окончено, и врагам нашим придется примириться с совершившимся фактом, вдобавок и Швеция, и Франция останутся с носом, что будет им за их интриги очень здорово.

— Ты, Михайло Илларионович, как человек военный, ни перед чем не оетановишься, — возразила цесаревна. — Но ты забываешь, что я — женщина, а предприятие это требует необычайной мужской отваги...

— Да кому и быть отважной, как не той, в жилах которой течет кровь Великого Петра! Верно ведь, господа?

— Верно! Воронцов, ваше высочество, со-

вершенно прав! — подхватили братья, Шува-  
ловы и принялись оба в свою очередь доказы-  
вать необходимость немедленного решения.

— А ты, Алексей Григорьевич, что ска-  
жешь? — обратилась цесаревна к молчавше-  
му до сих пор Разумовскому.

— Крый, Маты Божа! Шо я тобі скажу, моя  
матусенька? — был ответ. — Боюсь я за драго-  
ценную жизнь твою, как станешь деклоро-  
вать себя на царство, нехай Бог тебя милуе:  
пойдет стрельба, кроволитие...

— Да, господа, — сказала Елизавета, — я са-  
ма не выношу вида крови. Отвечаете ли вы  
мне за то, что не прольется ни капли крови?

— Примем к тому все меры, ваше высоче-  
ство, — уверил Воронцов. — Я сам упрежу  
гвардейцев.

Во второй половине своего тайного сове-  
щания заговорщики наши перешли с фран-  
цузского языка на русский. Поэтому Лесток,  
высказавший уже определенно свое мнение,  
не принимал участия в дальнейшем разгово-  
ре. Достав из своей записной книжки каран-  
даш, он рисовал что-то сперва на одной иг-  
ральной карте, потом на другой.

— А доктору нашему и горя мало, — заметила цесаревна. — Занимается картиночками!

— Угодно вашему высочеству взглянуть на эту картинку? — сказал Лесток, подавая ей первую карту. — Вот что ожидает вас, если вы не решитесь сейчас же.

На карте была изображена легкими контурами, но схоже, сама цесаревна с обрезанными волосами и в иноческой одежде, среди нескольких других монахинь.

— Этого никогда не случится! — воскликнула она и скомкала в руке карту.

— Так вы мало еще знаете Остермана и принца-супруга. Принц прямо-таки высказал, конечно, со слов Остермана, что вы не первая русская женщина, которую заточили в монастырь. А вот что предстоит вам, если вы не будете колебаться, — продолжал хирург-художник, подавая второй рисунок. — От вас самих зависит-выбирать то или другое.

На этом рисунке Елизавета была представлена восседающей на престоле в короне и порфире, со скипетром в руке, и окруженной ликующим народом. Решимость великого ро-



дителя блеснула в глазах дочери Петра.

— Так вы, господа, все за немедленное действие? — спросила она, глубоко переводя дух, и на общий утвердительный ответ набожно перекрестилась. — Значит, будем действовать! Господь нас не оставит.

Воронцов наклонился к Разумовскому и стал с ним о чем-то шептаться.

— Оце добре, — согласился Разумовский.

— Да вы о чем это, господа? — спросила цесаревна.

— К Зимнему дворцу ваше высочество должна самолично повести деташемент[41] преображенцев, а для сего вам придется побеспокоить себя в их казармы, — объяснил Воронцов. — Но если бы среди ночи было приказано заложить для вас ваш придворный экипаж, то об этом сразу узнали бы здесь многие из нижней прислуги, а уверены ли вы, что в вашем дворце нет ни одной души, подкупленной Остерманом?

— Кто может отвечать теперь за всех своих людей!

— Так не разрешите ли вы мне повезти вас в моих собственных санях?

— А в своем кучере ты, Михайло Илларионыч, совсем уверен?

— Вот об этом-то мы и толковали сейчас с Разумовским. На облучок мы посадим самого верного человека, на которого мы оба с ним полагаемся, как на самих себя.

Надо ли говорить читателям, кто был тот верный человек?

## **Глава двадцать восьмая**

### **ПЕРЕВОРОТ 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА**

**М**омент для государственного переворота был выбран как нельзя более удачно. Правительница и принц-супруг, убаюканные тем, что на следующий день вся враждебная им гвардия будет уже за пределами Петербурга, отправились преспокойно ко сну. Не пользовавшийся благорасположением принцессы первый кабинет-министр, граф Остерман, со своей стороны был крайне доволен, что раз-то хоть предложенная им радикальная мера — удаление гвардии — беспрекословно приводится в исполнение. Чтобы доказать своему антагонисту, графу Головкину, что он

не прочь первый протянуть руку примирения, Остерман не отказался прибыть к нему на семейное торжество — именины его супруги, графини Екатерины Ивановны, к которой ведь, благодаря ее родству с царствующим домом,[42] съехались и другие русские вельможи, и все представители иностранных держав. Сам Головкин, однако, как назло, не был в состоянии оценить такую любезность своего товарища по кабинету: несколько ночей уже он провел без сна вследствие мучительных подагрических болей и мигрени. После же всех дневных передраг из-за спешного выступления гвардейских полков нервы его до того расходились, что он не вышел даже к гостям из спальни. Гостям его тем менее могло прийти в голову, что они веселятся здесь в последний раз, празднуя как бы тризну хозяев.

Из «Записок» бывшего бироновского полицеймейстера, а в данное время сенатора, князя Якова Петровича Шаховского, видно, что "все комнаты, кроме той, где сожаления достойной хозяин, объятый болезнями, страдал, наполнены были столами, за коими как в обеде, так и в ужине более ста обоего пола пер-

сон, а по большей части из знатнейших чинов и фамилий торжествовали, употребляя во весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и русскую пляску с музыкою и песнями, что продолжалось до 1-го часа за полночь, по домам разъехались".

Сам автор «Записок», как свой человек, временами "делал компанию хозяина, одному в своей комнате с болезнями борющемуся", по разъезде же гостей зашел еще раз проститься, и хозяин "слабым голосом, но весьма ласковыми словами" благодарил его и пожелал ему "скорее в дом свой ехать благополучно к успокоению".

Ни тот, ни другой, очевидно, нимало не подозревали готовившегося исторического момента.

Между тем в 12 часу ночи во дворец цесаревны явились посвященные в дело Воронцовым семь человек преображенцев из грендерской роты, то есть самых рослых молодцов целого полка. Войдя к ним, Елизавета обратилась к выступившему вперед сержанту:

— А! Это ты, Грюнштейн? Что же вам, дети

мои, нужно?

— А мы за тобой, матушка, — отвечал Грюнштейн. — Собирайся! Время дорого.

Несмотря на принятое уже раньше решение, цесаревну взяло опять как будто раздумье.

— Чего тут, матушка, еще раздумывать! — настаивал бравый сержант. — Не пойдешь доброй волей, так ведь мы уведем тебя силой!

— Да что-то страшно мне...

— С нами тебе чего страшиться? Мы за тебя, матушка, рады наши головы сложить! — в один голос уверили все семь человек.

Цесаревна была растрогана.

— Обождите тут минутку, — сказала она и вышла, чтобы помолиться у себя перед образом Спасителя.

Как узнали впоследствии ее приближенные, она дала себе при этом клятвенное обещание никогда в жизни не подписывать смертного приговора.

Окончив молитву, она взяла крест и вышла опять к ожидавшим ее гренадерам.

— Поклянитесь мне, дети мои, на сем кресте, что будете служить мне верой и правдой.

Те поочередно приложились ко кресту, повторяя один за другим:

— Клянусь!

— Когда Бог явит Свою милость нам и всей России, я не забуду вашей верности, — сказала Елизавета. — А теперь ступайте и соберите роту во всей готовности и тихости, чтобы не было алярма. Сама я немешкотно за вами приеду.

Самсонов был немало удивлен, когда тем же вечером Разумовский, возвратясь домой от цесаревны, вызвал его к себе и велел ему ровно в полночь быть у Воронцова.

— Письмо отнести? — спросил он.

— Нет. Там Михайло Илларионович на месте тебе уже скажет, какая в тебе треба.

С последним боем полуночного часа Самсонов входил к Воронцову.

— Ну, Григорий, твой час настал, — объявил ему Воронцов. — Ты вздыхал ведь все по воле...

Сердце в груди у Самсонова екнуло.

— Цесаревна дает мне вольную?

— погоди, не торопись. Волю свою ты должен еще заслужить. Ведь править лошадьми

ты не разучился?

— Помилуйте! Разве любимой забаве своей можно разучиться?

— Ну, вот. Так через час времени ты пове-  
зешь нашу матушку цесаревну...

— К Зимнему дворцу! — подхватил Самсо-  
нов с сияющими глазами.

Воронцов опасливо огляделся.

— Ч-ш-ш-ш! Громко таких вещей не выго-  
варивают. Кучер мой третьего дня отпросился  
к жене в деревню. Конюх же править парными  
санями еще не мастер. Так вот на сей раз  
ты будешь у меня за кучера.

— Не знаю, как и благодарить вас, Михай-  
ло Ларивоныч...

— Долг платежом красен. Надеюсь, ты нас  
с цесаревной не вывалишь из саней?

В ответ Самсонов только улыбнулся.

Таким образом во втором часу ночи к ели-  
заветинскому дворцу на Миллионной из-за  
угла со стороны Царицына луга подъехали  
парные сани, в которых сидел Воронцов, а на  
облучке Самсонов в кучерском платье. У  
подъезда ожидали уже другие парные сани.  
Воронцов вошел во дворец, а немного погодя

оттуда показалась цесаревна с немногими приближенными. В сани к Самсонову села сама Елизавета вместе с Лестоком, на запятки вскочили Воронцов и один из братьев Шуваловых.

— На Кирочную к Преображенским казармам! — вполголоса приказал Воронцов Самсонову — и сани полетели.

При повороте Самсонов заметил, что и другие сани с остальной свитой несутся за ними.

Сколько раз ведь он правил так лошадьми, но теперь ему сдавалось, что он летит вольной птицей не только к своему собственному счастью, но и везет с собой всю судьбу, все счастье России.

Вот он завернул на Кирочную, а вот и Преображенские казармы, состоявшие тогда из нескольких деревянных строений. У главного здания в ожидании своей «матушки» стояла толпа гренадер. В числе их был и барабанщик. Завидев «матушку», он забил было тревогу. Лесток выскочил из саней и кинжалом перерезал кожу на его барабане. Часть гренадеров разбежалась по соседним домам сзывать товарищей, а остальные, ликуя, прово-



дили цесаревну к себе в казармы.

Как охотно последовал бы за ними и Самсонов! Но лошадей ему не на кого было оставить, да его туда и не пустили бы. Впоследствии уже узнал он подробности, о которых будет сейчас рассказано.

Офицерство Преображенского полка, не имея казенных квартир, жило по частным домам в центре города, в казармах же дежурило по очереди. В эту ночь единственный дежурный офицер спал в дежурной комнате главного здания сном праведных, ничего не чая, почему в столовую этого здания, куда вошла цесаревна, стеклись одни нижние чины.

Когда от нее приняли шубу, она оказалась в латах, а рука ее опиралась на трость, как на саблю. Поводя кругом орлиным взором, она спросила:

— Ребята! Вы знаете, чья я дочь?

В ответ загудел хор голосов:

— Как не знать, матушка! Ты родная дочь незабвенного царя Петра Алексеевича.

— Так вы все идете со мною?

— Все идем, матушка! Веди нас против твоих недругов, мы всех их перебьем!

В голосе и чертах лица воспламененных воинов было столько неистового зверства, что в искренности их намерения перебить недругов нельзя было сомневаться.

— Если вы так жестоки, то я не пойду с вами, — объявила цесаревна. — Убивать я нико-со не позволю. Но если вам самим пришлось бы умереть, готовы ли вы отдать жизнь за меня?

— Готовы, матушка, все готовы!

— Помолимся же вместе Богу, чтобы Он не отвернулся от нас.

Все, по ее примеру, опустились на колени. Поцеловав бывший у нее крест, она дала торжественную клятву:

— Клянусь перед Всевышним Богом умереть за вас! Клянетесь ли вы точно так же умереть за меня?

— Клянемся! — был единодушный ответ.

— Идем же, и пусть каждый из нас думает лишь о том, что делает это для счастья своего отечества.

Поднялся такой шумный радостный гомон, что проснулся наконец и безмятежно спавший рядом в дежурной комнате молодой

офицер. Протерев глаза, он вбежал к своим подчиненным с обнаженной шпагой. Но при виде цесаревны он остановился как вкопанный.

— Вы, сударь, арестованы, — объявил ему Воронцов, отнимая у него шпагу. — Извольте возвратиться в дежурную и не выходите отсюда, пока вас не выпустят из-под ареста.

Цесаревна, приказав на всякий случай разрезать кожу на всех барабанах, вышла со своими спутниками опять на улицу и села в сани.

— На Невскую перспективу и к Зимнему дворцу! — крикнул Воронцов Самсонову, вскакивая сам на запятки.

— Только потише, братец, потише, — добавила от себя Елизавета, — а то мои молодцы-гренадеры за мною не поспеют.

— Не бойсь, матушка, — весело отозвались окружающие сани гренадеры. — Бегом за тобой поспеем хоть на край света!

Еще в казармах Воронцов отдал необходимые приказания унтер-офицерам, и теперь дорогою от роты в триста гренадер отделялись небольшие отряды в 20, в 30 человек,

чтобы произвести на дому аресты главарей немецкой партии: Остермана, Головкина, Левенвольде, а также старика Миниха, который в силу присяги, данной им правительнице, чего доброго, помешал бы еще успешному окончанию предприятия.

Когда сани цесаревны с Невской перспективы выехали на Дворцовую площадь, площадь оказалась совершенно пустынной, и покрывавшая ее снежная пелена едва освещалась мерцавшими в отдалении масляными фонарями около Зимнего дворца. Чтобы не возбудить подозрения дворцовой стражи, Елизавета вышла из саней и пошла пешком. Но глубокий снег и женское платье замедляли ее шаги.

— Так, матушка, мы не скоро доберемся, — заметили ей гренадеры. — Поторопись маненько!

Когда же она, при всем старании, не могла приноровиться к размашистому шагу рослых молодцов, двое подняли ее на руки и донесли так до дворца. Четверо караульных у главного входа, окоченев на морозе, не успели прийти в себя, как были обезоружены. В самой же

караульне как солдаты, так и их начальники поголовно спали. Когда гренадеры растолкали спящих и объяснили, что вот-де перед ними матушка-цесаревна, те спросонок не могли вначале даже сообразить, в чем дело.

— Не бойтесь, друзья мои, — заговорила Елизавета. — Хотите ли служить мне, как отцу моему и вашему служили? Вам ведомо, каких я нужд натерпелась и еще терплю от немцев, сколько терпит от них и весь наш русский народ. Освободимся от наших мучителей!

Тут солдаты ее поняли и отвечали единогласно:

— Давно мы этого дожидались, матушка, и что повелишь, то и сделаем!

Офицеры же нерешительно переглядывались, а один из немцев вздумал было призывать подчиненных к долгу службы. Но ему не дали договорить. Один гренадер повалил его на пол и тут же приколол бы штыком, не отклони сама цесаревна штык его в сторону.

— Замкнуть этих господ в их комнате! — приказала она. — Занять все лестницы и выходы, а принца и обер-гофмейстера принцес-

сы взять под стражу! Сама я иду к принцессе. Десять человек за мной!

И впереди десяти гренадер будущая императрица поднялась во второй этаж, где находились собственные апартаменты правительницы. Подойдя к двери спальни, Елизавета нашла ее только притворенной. Дверь растворилась без всякого шума. Погруженные в мирный сон, Анна Леопольдовна и Юлиана Менгден, спавшая в последнее время при ней, очнулись только тогда, когда над ними раздался голос цесаревны:

— Пора вставать, принцесса!

Та в первую минуту была только озадачена:

— Как! Это вы, тетя Лиза?

Но тут взор ее упал на стоящих на пороге гренадер, и вдруг все ей стало ясно. Глаза ее наполнились слезами, и, сложив руки, она начала умолять не делать зла ее малюткам.

— Ни им, ни вам самим ничего не будет, — уверила ее цесаревна.

— Так вы не разлучите меня с ними?

— Нет, они останутся при вас.

— А Юлиана? Я без нее жить не могу!.. По-

жалейте меня!.. Оставьте ее тоже мне...

— Хорошо. Теперь вставайте, только поскорее. Я беру вас к себе.

Сама Елизавета вместе с принцессой села в одни сани, двое других саней были поданы для арестованных между тем принца Анто́на-Ульриха и Миниха-сына и для Юлианы, Лили и Юшковой с двумя младенцами принцессы. По прибытии всех в елизаветинский дворец маленький Иоанн Антонович, проснувшись, расплакался. Цесаревна взяла его на руки и стала целовать.

— Бедняжечка! Ты-то ни в чем не виновен, виноваты во всем твои родители.

## Глава двадцать девятая

# ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Аресты указанных Воронцовым главных приверженцев принцессы и принца состоялись не без протестов со стороны арестуемых. Памятуя требование своей матушки-цесаревны — не проливать ни капли крови, гренадеры действительно не прибегли к своему воинскому оружию, но сочли себя вправе убедить сопротивляющихся логикою своих дюжих гренадерских кулаков.

Сам Воронцов, Лесток и старый учитель музыки цесаревны Шварц разъезжали между тем по городу, чтобы оповестить о случившемся знатнейших безобидных вельмож и сановников, с приглашением незамедлительно пожаловать к цесаревне.

В то же время двадцать гренадер, оседлав себе в дворцовых конюшнях верховых коней, помчались к казармам других гвардейцев с приказом двинуться со знаменами к елизаветинскому дворцу, а по пути кричали всем слу-



чайным встречным о счастливом исходе переворота. Не прошло и часу времени, как пустынные в глухую ночную пору улицы невиской столицы стали все более оживляться гвардейскими полками, экипажами царедворцев и пешеходами из простых обывателей.

Упомянутый уже выше сенатор князь Шаховской был поднят среди ночи с постели сильным стуком в оконный ставень и зычным окриком сенатского экзекутора Дурново, звавшего его наискорее во дворец цесаревны, изволившей принять престол российского правления. В его «Записках» мы находим такое безыскусственное и вместе с тем картинное описание тогдашних его впечатлений:

"Хотя ночь была темная и мороз великий, но улицы были наполнены людьми, идущими к цесаревнину дворцу, а гвардии полки с ружьем шеренгами стояли уже вокруг одного в ближних улицах, и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни, а другие, донося друг другу, пили вино, чтобы от стужи согреться, причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов "Здрав-

ствуй, наша матушка, императрица Елизавета Петровна!" воздух наполняли. И тако я до одного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не мог, вышел из оной, пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, вошел на первую с крыльца лестницу и следовал за спешащими туда же в палаты людьми, но еще прежде входа, близ уже дверей, увидел в оной тесноте моего сотоварища, сенатора князя Алексея Дмитриевича Голицына. Мы, содвинувся поближе, спросили тихо друг друга, как это сделалось, но и он так же, как и я, ничего не знал. Мы протеснились сквозь первую и вторую палату и вошли в третью, увидя многих господ знатных чинов, остановились и лишь только успели предстоящим поклониться, как встретил нас ласковым приветствием тогда бывший при дворе ее величества камер-юнкером Петр Иванович, Шувалов. Он, в знак великой всеобщей радости, веселообразно поцеловал нас и рассказал нам о сем с помощью Всемогущего начатом и благополучно оконченном деле и что главнейшие

доньне бывшие министры, а именно: генерал-фельдмаршал граф Миних, графы Остерман и Головкин — уже все из домов своих взяты и под арестом сидят здесь же, в доме".

Не так дружелюбно отнесся вначале к приспешнику Бирона выбежавший в это время из другой палаты бывший при Бироне генерал-полицеймейстером, а теперь отставной генерал-аншеф (полный генерал) Василий Федорович Салтыков. Схватив Шаховского за руку, он рассмеялся ему в лицо:

— Что скажете теперь, сенаторы?

Когда же оскорбленный Шаховской спросил его, атакует ли он его по высочайшему повелению, Салтыков перешел с насмешливого тона на приятельский:

— Я, друг мой, теперь от великой радости вне себя, и сей мой поступок по дружеской любви, а не по какой иной причине...

Пожелав ему еще всякого благополучия и поздравив со всеобщей радостью, он расцеловал Шаховского в обе щеки.

Такое же приподнятое настроение замечалось и у огромного большинства присутствующих. Не было видно только троих: канцлера

князя Черкасского, остермановского кабинет-секретаря Бреверна и недавно вызванного из опалы прежнего кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Но те заперлись в одном из внутренних покоев, чтобы составить манифест о перемене правления, а также формулу присяги и титулов.

В восемь часов утра состоялся высочайший выход. Новая императрица, в голубой Андреевской ленте и радостно взволнованная; при входе своим милостиво наклоняла голову направо и налево, озаряя всех и каждого своей сияющей улыбкой, а затем стала принимать поздравления, допуская поздравителей по очереди к своей руке.

— Теперь ваше величество не покажетесь ли и народу? — тихонько напомнил ей Воронцов.

— Правда! — согласилась она и вышла на открытый балкон.

Появление молодой царицы было встречено восторженными кликами толпившегося внизу народа и выстроенного вокруг дворца войска. Елизавета не уставала кланяться в ответ на все стороны, пока Воронцов не заме-

тил ей опять, что при таком морозе ей легко и простудиться.

— Я вся огнем горю, так где уж тут простудиться! — отвечала она. — Надо мне поблагодарить еще и моих гвардейцев.

И, спустившись вниз к кирасирам, конной гвардии и трем гвардейским пехотным полкам, она прошла по их рядам, приветствуемая оглушительным "ура!". Когда же она объявила, что принимает на себя звание полковника их полков, восторг гвардейцев не знал уже предела.

По возвращении в свои покои новая императрица приняла знатных дам, после чего приказала собираться всем в Зимний дворец. Когда она с ближайшей свитой садилась в большую открытую линейку, из стоявшей тут же гренадерской роты выступил опять сержант Грюнштейн:

— Матушка государыня, а мы, гренадеры, к тебе еще с просьбицей.

— Если могу, то непременно ее исполню, — отвечала Елизавета. — В чем ваша просьба?

— Не откажи нам, матушка, в милости, объяви себя капитаном нашей роты!

— С удовольствием, дети мои.

— Ура! Ура! Ура!

— А теперь, — продолжала она, — за мной в мой императорский дворец отслужить благодарственный молебен и принять присягу в верности.

Молебен в придворной церкви Зимнего дворца, а затем и присяга совершились с требуемой торжественностью при громогласной пальбе орудий с Петропавловской крепости. Все закончилось только в пятом часу дня.

Еще, однако, до общего разъезда государыня велела привести к себе взятого в плен под Вильманстрандом адъютанта главнокомандующего шведской армией капитана Дидерона, который, к немалому недоумению придворных, был вызван ко двору еще с раннего утра.

— Вот, господин капитан, ваше оружие, — обратилась она к нему по-французски, вручая ему отнятую у него шпагу. — Вы свободны и можете ехать к себе домой во всякое время. На путевые издержки вам будет выдано от нас пятьсот червонцев. Как очевидец, вы можете с полной достоверностью рассказать ва-

шему главнокомандующему о нашем благополучном воцарении. Надеюсь, что он теперь же прекратит неприязненные действия, дабы дать нам время войти вновь в дружественные отношения с его королевским величеством.

## **Глава тридцатая**

### **БОЛЬ ВРАЧА ИЩЕТ**

Со времени перемены правления прошло три дня. Бывшая правительница была водворена вместе со своим семейством в смежное с Зимним дворцом здание. Не только их самих держали в строгом заключении, но и их приближенным было запрещено выходить на улицу или принимать посторонних. Так и Лили Врангель не имела никакого общения с внешним миром, когда ее вдруг вызвали в приемную и она увидела перед собой молоденькую кузину императрицы.

— Аннет... — пробормотала она, но не тронулась ей навстречу.

Скавронская быстро сама подошла к подруге и крепко ее поцеловала, после чего под-

вела к дивану и усадила рядом с собой.

— Дай-ка посмотреть на тебя, — говорила она, повертывая ее голову к свету. — Ай-ай! Куда девался твой свежий румянец, твои блестящие глазки? Верно, все время проплакала?

— Да как же не плакать! — упавшим голо-сом прошептала Лили. — Мою милую принцессу, говорят, высылают в Германию...

— Да, нынче вышел об этом высочайший манифест. И слава Богу! Могло бы быть хуже.

— Еще хуже!

— Да вот старик Миних, Остерман, барон Менгден, дядя Юлианы, посажены в крепость и будут лишены, как я слышала, чинов, орде-нов, всего имущества. Принцессе, во всяком случае, сохранится ее брауншвейгский орден, а принцу — и высший русский Андрея Первозванного. На дорогу им дадут денег, сколько нужно, и до границы проводят их со всем почетом.

— Но зачем же теперь-то с ними обходятся как с арестантами? К ним не доходят никакие вести...

— Да может ли их еще что-нибудь интере-совать? Коли хочешь, то передай им, что ко



всем иностранным дворам посланы курьеры с известием о восшествии на престол новой государыни, сделаны уже шаги, чтобы заключить прочный мир со Швецией, Долгорукие, Голицыны и другие опальные возвращаются из ссылки...

— Да, все это для принцессы теперь, конечно, не представляет уже ни малейшего интереса.

— Ну, вот. Пришла я к тебе, впрочем, не из-за этих новостей, а из-за тебя самой. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя планы в будущем?

— У меня планы? — со вздохом повторила Лили. — Принцесса хочет взять меня с собой в Германию.

— Вместе с Менгденшей?

— А то как же.

— Но ладишь ли ты с этой интриганкой?

— С Юлианой? Сказать правду, ей ужасно трудно угодить...

— Потому что она ревнует тебя к принцессе?

— Вероятно...

— Так тебе, бедняжке, там от нее просто

житья не будет. А в душе признайся, ты все-таки больше русская, чем немка?

— Я очень люблю Россию. Россия — моя родина, и я ни за что бы не уехала, если б не принцесса и ее крошки. Сыночек ее особенно ко мне привязался...

— Все это прекрасно, но и принцесса, и ее сынок тебя скоро забудут, как и ты их.

— Я-то их никогда не забуду, никогда!

— Ну, не забудешь, так со временем все же утетишься. Там, у себя в неметчине, они в тебе не будут уже нуждаться. Оставайся-ка, милочка, у нас, в России! От добра добра не ищут.

В тусклом взоре Лили блеснул какой-то свет, но мгновенно он опять погас.

— Кому здесь до меня какое дело!

— Как кому? Прежде всего мне: мы с тобой, кажется, так дружны...

— Ах, милая Аннет! Когда ты выйдешь за своего Мишеля, никаких подруг тебе уже не надо будет.

— Вздор говоришь, душечка, муж — одно, подруга — другое. Пока ты сама не выйдешь замуж, мой дом будет и твоим домом...

— Я тебе, Аннет, сердечно благодарна. Но о замужестве я и не думаю.

— Зато другие думают. Один претендент просил меня даже быть посредницей.

— Уж не Шувалов ли?

— Именно. Я не подала большой надежды, потому что хотя ты ему чрезвычайно нравишься, но он льстится, кажется, и на твое приданое. Государыня обещала уже ему дать за тобой не меньше, чем дала бы принцесса.

— Да я-то про него и слышать не хочу! Не говори мне о нем, пожалуйста.

— Молчу. Но сердце у тебя болит, а боль врача ищет. Неужели в целой России нет человека, который бы тебя вылечил?

Легкая краска выступила на щеках Лили.

— Нет, — пробормотала она. — Такого человека я не знаю.

— И нет вообще никого, кроме меня, с кем бы тебе было жаль расстаться?

— Один-то есть...

— Гриша Самсонов?

— Да, я люблю его почти как брата. Но он крепостной человек...

— Государынин. Так могу сказать тебе по

секрету, что государыня только колеблется еще, дать ли ему вольную прямо от себя или уступить его тебе за свой старый долг.

— За какой долг?

— Да разве ты забыла, что одолжила ей свой заветный грош для покупки того же Самсонова. В реконесанс она отдала бы тебе его самого. Тогда от тебя зависело бы отпустить его на волю или оставить его при себе вечным рабом. Но все это, разумеется, только при одном условии, чтобы ты сама оставалась в России. Ну, что же, выбирай: Менгденша или Самсонов?

Вся зардевшись, Лили вместо ответа бросилась на шею подруги:

— Ах ты милая!

— Стало быть, Самсонов?

— Да...

Вечером того же дня Воронцов послал за Самсоновым.

— Ну, Григорий, — сказал он, — чаял я, что с воцарением государыни нашей Елизаветы Петровны тебе выйдет вольная, ан вышло-то иначе. Отдает тебя государыня в чужие руки.

На лице Самсонова изобразилось такое

разочарование, что Воронцов не мог сохранить своего притворно-серьезного вида.

— Да ты слишком-то не полошайся, — продолжал он с улыбкой. — У твоей новой госпожи ручки нежные...

— У госпожи?

— А ты не догадываешься, кто эта особа?

— Может, невеста ваша, графиня Анна Карловна?

— Нет. Неужели тебе сердце твое ничего не вещает? У нее тоже по тебе сердце болит, а боль врача ищет...

Вся кровь хлынула Самсонову в голову.

— Вы говорите про Лили... то есть про Лизавету Романовну?

— Угадал. Но ты словно и не особенно рад?

— Да уж какая радость! Ведь она, слышно, уезжает навсегда с принцессой?

— Собиралась, точно. Но когда ей предложили на выбор либо уехать к немцам, либо остаться здесь у одного русского, который отдается ей в рабы, она ни минутки не задумалась и выбрала — остаться. Ну, что, полегчало немножко?

— Полегчало. Она все-таки считает меня

как бы за молочного брата.

— А если ты ей милее не токмо молочного, но и родного брата?

Самсонову почудилось, что его толкнули с крыши многоэтажного дома и он стремглав летит вниз.

— Да статочное ли это дело, Михайло Ларивоныч?.. — пробормотал он.

— Говорю я с тобой душевно, не блажно. Ты вот по ней сохнешь и сокрушаешься и сам тоже присушил сердце девичье.

— Но от кого вы о том уведали?

— Из первого источника: от подруги ее, а моей невесты. Свадьбы наши будут тогда в один и тот же день.

— Не могу я поверить в такое счастье... Да и счастье ли то? Лизавета Романовна — баронесса, а я что — человек серый.

— Не красна на молодце одежда, сам собою молодец красен. Потерпи еще до послезавтра: по случаю великого дня ожидаются разные монаршие милости и тебя, сдается мне, не совсем обойдут. Тогда пойдешь к своей зазнобушке не с пустыми руками, напрямик ей скажешь: так, мол, и так...

— Да у меня, Михайло Ларивоныч, и смелости неостанет...

— Полно тебе малодушествовать! Не ровен час, еще кто другой ее у тебя перехватит. Сам, чай, знаешь кто.

— Это уж не дай Бог!

— То-то же. Смелость, брат, города берет. Гляди весело!

И Самсонов глядел весело, хотя сердце в груди у него все еще и трепетало, и замирало.

## **Глава тридцать первая**

### **"НУ, ПОДУМАЙТЕ!"**

**Н**аступил и великий день 30 ноября, орденский праздник Андрея Первозванного.

На Самсонова напало опять сомнение.

"После литургии посыплются монаршие милости высоким придворным чинам, — думал он про себя. — Какое ж тут дело государыне до нас, мелкоты?"

Дома ему, однако, не сиделось, и в ожидании окончания службы в придворной церкви он отправился к Зимнему дворцу.

На дворцовой площади растянулся ряд ка-

рет. В разных местах, по случаю лютого мороза пылали костры. Около толпились кучера, продрогшие на своих козлах. Проходя мимо костра, он расслышал такую фразу:

— Тихомолком, поди, увезли, чтобы лишнего, значит, шуму в городе не было. Скатертью дорога!

— Кого увезли, братцы? — спросил, подходя, Самсонов.

— А бывшую правительницу, — отвечал один.

— Со чады и домочадцы, — добавил другой.

Самсонова точно обухом по голове хватило, он даже пошатнулся.

— Когда ж их успели увезти?

— А нонче, бают, в два часа утра.

Далее он уж не спрашивал, боясь услышать, что в числе увезенных «домочадцев» была и его зазнобушка.

"Михайло Ларивоныч, наверно, все доподлинно знает, ужо у самого спрошу..."

И со слабым лучом надежды он поплелся восвояси, а под вечер завернул опять на квартиру к Воронцову. Тот еще не возвращался из



дворца. Наконец раздался резкий звонок, и Самсонов бросился в переднюю отпереть дверь.

— А, Григорий! Ты уже здесь? — весело заговорил входящий. — А я только что хотел за тобой послать. Полюбуйся-ка на меня.

Он повернулся спиной к огню и хлопнул себя по пояснице.

Там красовался на светло-голубой розетке длинный золотой ключ.

— Да это камергерский ключ! — заметил Самсонов. — Вы пожалованы в камергеры?

— И я, и братья Шуваловы, и Разумовский. Обещана нам также малая толика из конфискованных поместьев. Желаете ты, братец, быть тогда в моем новом поместье управляющим?

— Как не желать!

— Так считай себя уже у меня на службе; прижимать я тебя не буду и жалованьем не обижу. Но хотел я тебя видеть теперь не за этим. Нынче во дворце бал. Ты поедешь со мной и можешь надеть мой новый синий кафтан. Мы с тобой ведь одной комплекции.

— А для чего мне ехать, сударь?

— Благоверная государыня-царица, думается мне, допустит тебя к безмену и поднесет тебе также золотое яблочко на серебряном блюде.

Надежда в сердце у Самсонова готова была опять вспыхнуть ярким пламенем.

— Михайло Ларивоныч, скажите мне одно: Лизавета Романовна, значит, еще здесь и не уехала с принцессой?

Воронцов с трудом подавил улыбку и отвечал с притворно рассеянным видом:

— Лизавета Романовна? Гм... Признаться, я о ней и не справлялся, не до того мне, братец, было.

— Наверное вы знаете! Не мучьте меня, Бога ради, скажите!

— Будем вместе во дворце, там и справимся. А теперь примерь-ка кафтан.

Так-то к началу придворного бала в восемь часов вечера из подкатившей к главному крыльцу Зимнего дворца двухместной кареты вслед за Воронцовым вышел и Самсонов в воронцовском, с иголочки, синем кафтане. В вестибюле они застали уже лейб-хирурга Лестока, охорашивавшегося перед зеркалом.

— Новому камергеру земной поклон! — приветствовал он Воронцова с преувеличенно почтительным поклоном. — А о нас, грешных, так и забыли?

— Не совсем, — отвечал Воронцов. — Скоро и вас мы будем иметь честь поздравить.

— О! С чем?

— Пока это тайна.

— Какие уж тайны между такими приятелями, как мы с вами? Шепните мне на ушко.

— Разве что на ушко. А дальше вы не перескажете?

— Ни-ни.

И Воронцов наклонился к его уху. По всему широкому лицу Лестока расплылась блаженная улыбка. Он обеими руками потряс руку приятеля.

— Вот это так! Ну, спасибо вам, добрейший мой. Никогда вам этого не забуду.

Какая награда ожидала лейб-хирурга, Самсонов тогда так и не узнал, да нимало этим и не интересовался. Впоследствии уж, когда вышла награда, оказалось, что Лесток сделан первым лейб-медиком с чином действительного тайного советника, а также главным ди-

ректором медицинской канцелярии и медицинского факультета с жалованьем в семь тысяч рублей.

— А слышали ли вы, дорогой друг, — продолжал словоохотливый Лесток, — что у маркиза де ла Шетарди была уже депутация от гвардейцев благодарить за то, что он давал ее величеству такие добрые советы? Со своей стороны маркиз напоил их шампанским, ну, а они, по русскому обычаю, давай с ним обниматься, целоваться, кричать виват за свою государыню и за его короля. Дипломатический механизм, как видите, опять заведен. А правда ли, скажите, — продолжал болтун, понижая голос, — правда ли, будто Салтыкову дана еще секретная инструкция?

— Какому Салтыкову? — спросил Воронцов.

— Тоже ведь дипломат! Хе-хе-хе! — засмеялся Лесток и похлопал его дружески по спине. — Про какого Салтыкова может быть теперь и речь, как не про того, который сопровождает брауншвейгцев за границу.

— Если дана секретная инструкция, так как же мне-то знать?

— Еще бы! А в дополнение к той секретной инструкции дана ему еще будто бы секретнейшая.

— В самом деле?

— Да, и такого содержания, чтобы он не торопился, а делал в дороге растяги дня на два, на три. С какой целью, спрашивается? Не затем ли, чтобы вернуть с пути всю фамилию и отправить в места российские не столь отдаленные?

— Тише, доктор! Вы забываете, что у стен здесь есть уши.

Действительно, и по лестнице, и у каждой двери парадных покоев дворца торчали придворные камер-лакеи, раболепно преклонявшиеся перед этими двумя общепризнанными любимцами молодой царицы.

— Иди-ка за мной, — сказал Воронцов следовавшему по пятам его Самсонову и провел его боковой анфиладой в отдаленную горницу. — Тут и подожди.

Ждать Самсонову пришлось довольно долго. Издали доносился сперва смутный гул от многоголосого говора и шарканья ног. Потом этот гул покрыт был гармоничными звуками

оркестра. Бал начался, по обыкновению, английским променадом, который сменился затем французским контрдансом. А Самсонов в своем уединении слонялся из угла в угол, временами лишь останавливаясь перед той или другой из украшавших стены масляных картин. Но, глядя на картины, он их словно и не видел. В голове у него перекрещивались всевозможные и невозможные предположения о том, для чего его сюда вызвали, а потом всплывала вдруг секретнейшая инструкция генералу Салтыкову.

Тут послышались шаги, и через комнату прошел из одной двери в другую камер-лакей.

— Постой, любезный! — остановил его на пороге Самсонов. — Не знаешь ли, что делает теперь государыня?

— Что делает государыня? — повторил тот, свысока озирая вопрошающего, как бы сообщая, отвечать ли ему вообще. Потом с подобающим своему званию достоинством промолвил:— Ее величество изволили пройтись в аглицком променаде с маркизом Шетарди, а теперича сели за карты с тремя другими по-

слами: Финчем, Мардефельдом да Ботта.

Молвил — и проследовал далее.

Протекло еще с полчаса — для Самсонова полвечности, когда приближающийся шелковый шелест заставил его быстро обернуться.

"Вот оно!"

В дверях показалась сама императрица в сопровождении своей фрейлины-кузины и ее жениха. Самсонов низко склонился и замер.

В роскошном светлом бальном наряде, с бриллиантовой диадемой на высокой, посыпанной пудрой прическе, с веером, как с магическим жезлом, в руке и с чарующей улыбкой на устах, вся олицетворение здоровья, красоты и изящества, она представлялась ему неземным видением, сказочной волшебницей, от воли которой зависело даровать ему все, о чем бы он когда-либо ни мечтал.

— Здравствуй, Самсонов, — заговорила она, заговорила так милостиво и просто, точно не была повелительницей многомиллионного народа, а он одним из самых скромных ее подданных. — Я тебя еще не поблагодарила. Не думал ли уж ты, что я оставлю тебя без всякой награды?

— Я имел счастье возить ваше величество. Это для меня самая дорогая награда, — отвечал Самсонов.

— Для тебя, но не для меня. Ты наравне с молодыми гренадерами помог мне в достопамятную ночь добраться до Зимнего дворца. Награды моим гренадерам выйдут не раньше Нового года. Тебе же, сказывали мне, очень уж к спеху (шутливая усмешка заиграла на лице царственной волшебницы). Так вот, я решила теперь же сверстать тебя с ними в награде.[43] От поместья, которое я подарила Михаиле Илларионовичу на свадьбу его с моей любезной сестрицей, я отрезала для тебя небольшую усадобку, дабы, управляя тем помещьем, ты мог жить по соседству и своим собственным домком. А дабы и всему будущему потомству твоему жилось столь же вольготно, я жалую тебя потомственным дворянством.

— Ваше величество наградили меня выше всяких заслуг...

— Теперь, Аннет, твоя очередь, — сказала государыня.

Когда он тут поднял голову, она с Воронцо-



вым выходила уже. Осталась одна Скавронская.

— Идем со мной, — предложила она ему и пошла вперед,

"Нет, нет, этого же быть не может..." — говорил себе Самсонов, следуя за ней, а у самого от ожидаемого несбыточного счастья сердце сладко ныло и голова кружилась.

Но несбыточное оказалось возможным. Они вошли в собственный будуар Скавронской, слабо освещенный висящим с потолка розовым, матового стекла, фонарем. Сквозь розовый полумрак Самсонов различил лишь стройную женскую фигуру, которая при входе их быстро поднялась с диванчика, но на полпути, как и он сам, приросла к полу.

— Что, деточки, не узнаете уже друг друга? — спросила Скавронская. — Познакомьтесь опять, не буду мешать вам.

И она удалилась, неслышно притворив за собою дверь.

Недаром назвала она их деточками. Как двое малюток, которым приходится в первый раз свести знакомство, они стояли друг против друга, не зная, с чего начать. Самсонов

первый нарушил молчание.

— Вы еще здесь, Лизавета Романовна? А я было уже думал, что вас увезли...

— И увезли бы, если бы... — тихим голосом начала тут и она, не поднимая на него глаза, но, смутившись, поспешила на полуфразе заговорить о другом. — Ах, вот что, Гриша, скажи, был ты у Ломоносова?

— Был. Что это за умная голова! Что за душа-человек! Он достал мне из академии разных хороших книг...

— Чтобы сделать из тебя тоже ученого?

— Нет. "Не всем быть учеными, — говорил он мне, — матушке-России нужны также и деловые люди". А так как у меня больше всего склонности к деревенскому хозяйству, то и книг он раздобыл мне по этой же части.

— А где ж ты займешься опять своим деревенским хозяйством? Не в Лифляндии же?

— Зачем в Лифляндии, когда Михайло Ларивоныч делает меня управляющим своим новым поместьем да когда рядом у меня будет и своя собственная усадьба.

— Господи, как я за тебя рада! Но кто же и когда подарил тебе эту усадьбу?

— А сейчас вот только государыня императрица.

— И дала тебе также вольную?

— Не только вольную, но возвела меня и в потомственные дворяне.

— Правда? Теперь тебе, Гриша, кажется, желать уж нечего...

— Кроме одного, главного, Лизавета Романовна...

Он не договорил. Она подняла на него глаза, и взоры их встретились. Тут она поняла и, чтобы скрыть свое замешательство, спросила:

— А что твоя рука? Я все не могу забыть, что тебя тогда ненароком укусила.

— Она давно зажила.

— Покажи-ка.

На руке у него оказался только маленький белый рубец. Не успел он отдернуть руку, как Лили прижала губы к этому рубцу.

— Что вы делаете, Лизавета Романовна! — вскричал Самсонов.

— Теперь совсем заживет! А в деревне у себя один ты не соскучишься?

— До смерти соскучусь.

Она протянула ему обе руки.

— Так я поеду с тобой. Но дворянство твое, знай, ни при чем. Ты и так был мне всегда люб, и я пошла бы за тебя даже за крепостного...

Когда немного погодя Самсонов вышел из дворца на свежий воздух, он был как в хмельном чаду. Без определенной цели пошел он бродить по двадцатиградусному морозу. Будь тридцать, сорок градусов — внутренний жар в нем и тогда не остыл бы. Ему надо было во что бы то ни стало поведать кому-нибудь о свалившейся на него с неба благодати. Но кто поймет его? К Ломоносову ночью не толкнешься. Разве завернуть к старику Ермолаичу?

Немало удивился тот, когда в полночную пору к нему ворвался его прежний юный товарищ. Но когда старик узнал еще от него про царские милости да про его предстоящую женитьбу на родовой баронессе и писаной красавице, он руками развел:

— Вот счастливчик-то! Ну, подумайте! И что же, ты повел себя с нею заправским женихом, обнял ее и расцеловал? Аль не дерз-

нул, духу не хватило?

Счастливчик в ответ смущенно только улыбнулся.

— Так что же, сказывай.

— Я вот что скажу тебе, старина, — признался тут Самсонов. — Стой тогда позади меня палач с отточенным топором, чтобы мне сейчас голову срубить за мою продерзость, я точно так же обнял бы, расцеловал бы ее крепко-накрепко, мою ненаглядную и желанную!

— Ну, подумайте!

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С воцарением Елизаветы Петровны национально-русское направление окончательно и окончательно восторжествовало, и основная тема нашего рассказа, таким образом, исчерпана. Остается сказать только несколько слов о дальнейшей судьбе главных действующих лиц рассказа.

Свадьбы двух подруг — Аннет Скавронской и Лили Врангель — состоялись, вопреки первоначальному предположению, в разное время. Скавронская венчалась с Воронцовым

еще 31 января 1742 года с подобающей пышностью в придворной церкви в присутствии самой государыни и всего высочайшего двора. Самсонова тогда не было уже в Петербурге. Он находился за тысячу верст, чтобы принять пожалованное Воронцову поместье, а также и отрезанный от этого поместья ему самому небольшой участок. Вернулся он в Петербург уже в Великом посту, а потому венчаться с Лили ему можно было только на Красную горку. По желанию обоих, свадьба была самая скромная и тихая в приходской церкви, в присутствии лишь посаженных отца и матери — супругов Воронцовых да двух свидетелей — Ломоносова и Ермолаича. На другой же день молодые собрались в путь-дорогу к своему новому пепелищу, где остались уже навсегда. Мужа приковывало не столько его собственное маленькое хозяйство, сколько управление большим, довольно запущенным, имением Воронцовых, которое постепенно, однако, было приведено им в цветущее состояние и служило затем образцом по всему Поволжью. Жене его было вдоволь забот с воспитанием своих деток. О столичных новостях

они узнавали из выписываемых ими "Санкт-Петербургских ведомостей". Так, осведомились они, например, что 25 мая в Москве императрица Елизавета, торжественно короновалась и что в числе награжденных по этому случаю орденом Святого Александра Невского были также Воронцов и оба брата Шуваловы, что не далее как через два года Воронцов был возведен в графское достоинство и назначен вице-канцлером, а в 1758 году и канцлером, что Петр Иванович Шувалов в 1746 году сделан также графом, а впоследствии оба брата дослужились до звания генерал-фельдмаршала. Особенно порадовало Самсонова назначение в 1745 году Ломоносова академиком-профессором химии, с чем он, конечно, и не преминул его письменно поздравить. Переписывались они вообще довольно редко (у того и другого было слишком много дел), но сам Ломоносов не забывал Самсонова, высылая ему как свои собственные сочинения, статьи и стихи, так и вновь выходящие книги по сельскому хозяйству и популярные издания.

Из тех же "Санкт-Петербургских ведомостей" наши провинциалы узнали также о

ссылке врагов императрицы: Остермана — в Березов, Миниха — в Пелым, Левенвольде — в Соликамск...

О бывшей правительнице и ее семействе до них доходили только смутные, разноречивые слухи, которые затем так и замолкли. В действительности злосчастная брауншвейгская фамилия, остановленная в пути еще до германской границы, содержалась в заключении сперва в Риге, потом в Динамюнде и отсюда была отправлена в Раненбург, захолустный городок Рязанской губернии. Два года спустя признано было нужным сослать их еще дальше — в Холмогоры, Архангельской губернии, где принцесса Анна Леопольдовна скончалась уже в 1746 году, на 28 году жизни. Тело ее было доставлено в Петербург и в пятницу на Вербной неделе предано земле в Александро-Невской лавре.

Супруг ее, принц Антон-Ульрих, остался с детьми в Холмогорах и, под старость ослепнув, дожил до 1774 года, так и не дождавшись свободы.

Старший сын их, бывший император Иоанн Антонович с первого же дня прибытия



В Холмогоры был отделен от родителей, братьев и сестер и томился в одиночестве в нескольких шагах от них двенадцать лет. В 1759 году его перевезли на новое заточение — в Шлиссельбургскую крепость, где в 1764 году он и отдал Богу душу...

Остальные дети «брауншвейгцев», пережившие отца, были отправлены в 1780 году на жительство в Данию, в Дорсен, где пользовались уже относительными удобствами жизни, так как из русской казны им отпускалось до самой смерти по восьми тысяч рублей на каждого.

Бывшая статс-фрейлина и главная фаворитка правительницы, баронесса Юлиана Менгден, первое время не разлучалась со своей госпожой. Но когда принцесса с супругом и детьми была удалена в Холмогоры, Юлиана была оставлена в Раненбурге под строгим караулом и возвращена из ссылки только в 1761 году императором Петром III. Поселившись в Риге, она вошла вновь в переписку со своим бывшим женихом, графом Линаром. Но тот и слышать не хотел уже о женитьбе, точно так же не спешил возвратить невесте получен-

ные от нее для вклада в дрезденский банк деньги и бриллианты. Тут, к ее счастью, императрица Екатерина II, разбирая бумаги, оставшиеся после бывшей правительницы, нашла между ними расписку Динара. Расписка была переслана Юлиане, которой по ней и удалось наконец вернуть свое добро, хотя без процентов. Замуж она так никогда и не вышла, дожив до преклонных лет...

Регентству Бирона, а затем и принцессы Анны Леопольдовны будет посвящена особая повесть, в которой читатель встретит снова многих из действующих лиц настоящей повести.

[^^^]

## 2

Твоя любящая тебя кузина Мизи Врангель  
(нем.).

[^^^]

# 3

Сын дочери Петра Великого, Анны Петровны,  
впоследствии император Петр III.

[^^^]

Тревога (фр.).

[^^^]

Помощь (лат.).

[^^^]

# 6

То же, что гауптвахта (фр.).

[^^^]



# 7

На войне как на войне (фр.).

[^^^]

В манифесте, именем императора Иоанна объявлялось всем верноподданным, что "хотя, по предписанию императрицы Анны, регентом был назначен герцог курляндский, но ему велено было свое регенство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено не токмо о ближайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного тому исполнения, он дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которым не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой, и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли, по усердному желанию и

прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина, оно́го герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оно́е правительство поручить нашей государыне матери".

[^^^]

Неравный брак (фр.).

[^^^]

Остроты (фр.).

[^^^]

Да, мосье, нет, мосье (фр.).

[^^^]

Маленькие игры (фр.).

[^^^]

Визави (фр.).

[^^^]



Делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

[^^^]

Спасибо, мадемуазель (фр.).

[^^^]

В самом деле, мой дорогой граф! (фр.).

[^^^]

Между нами говоря (фр.).

[^^^]

Гарпагон — главное действующее лицо в комедии «Скупой» Мольера (1630–1673).

[^^^]

Пышная скупость (лат.).

[^^^]

Эльба желта. (нем.).

[^^^]

21

\* \* \*

[^^^]



\* Моя душа принадлежит Богу, моя жизнь — королю, мое сердце — дамам, моя честь — мне самому! (фр.).

[^^^]

Тысяча извинений, мосье! (фр.).

[^^^]

Вот (фр.).

[^^^]

Черт возьми! (фр.).

[^^^]

Черт возьми! (нем.).

[^^^]

Главных пунктов было пять, и цесаревна ими обязывалась:

1. Вознаградить Швецию после войны за все ее военные издержки;
2. В течение всего своего царствования давать Швеции известную субсидию;
3. Предоставить шведам в России те же преимущества, какими пользовались уже там англичане;
4. Отказаться от всех трактатов и конвенций, заключенных Россией с Англией и австрийским домом, и не вступать впредь в союзы ни с кем, кроме Швеции и Франции;
- и 5. Содействовать во всех случаях выгодам Швеции и ссужать ее деньгами, когда она будет в них нуждаться.

[^^^]

Вперед! Вперед! (нем.).

[^^^]

Вперед! Вперед! (нем.).

[^^^]



Христина!

[^^^]

Эй, Христина!

[^^^]

**32**

**\* \* \***

[^^^]

\* Спи, дитя, спи (нем.).

[^^^]

Пивная (нем.).

[^^^]

Номинальная цена рейхсталера на русские деньги — 93 коп.

[^^^]

Иоганн-Христиан Гюнтер (1695–1723) — придворный поэт курфюрста саксонского, составил себе громкое имя главным образом похвальными одами на разные случаи. Стихи его для того времени, когда еще не было ни Гете, ни Шиллера, отличаются звучностью и проникнуты искренним чувством.

[^^^]

Черт возьми! (нем.).

[^^^]



До 1871 года, когда создалась Германская империя, Германия состояла из множества государств, совершенно независимых друг от друга.

[^^^]

Официант, пива! (нем.).

[^^^]

Дорогая тетя (фр.).

[^^^]

Отряд (фр.).

[^^^]

Графиня Е. И. Головкина, по отцу княжна Ромодановская, приходилась принцессе Анне Леопольдовне двоюродной теткой, а императрице Анне Иоанновне двоюродной сестрой, так как ее мать, урожденная Салтыкова, была родной сестрой царицы Прасковьи Феодоровны, супруги царя Иоанна Алексеевича.

[^^^]

По высочайшему указу 31 декабря 1741 года гренадерская рота Преображенского полка была переименована в лейб-компанию, причем весь состав роты до последнего рядового был возведен в потомственное дворянство и всем были отписаны деревни с крестьянами из конфискованных имений приверженцев немецкого лагеря: рядовым по 29 душ, а сержанту Грюнштейну 927 душ.

[^^^]